



---

В.В. МИКОША

РЯДОМ  
С СОЛДАТОМ



Владислав Владиславович  
**МИКОША**



---

В. В. МИКОША,  
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РСФСР,  
ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ СССР

# *РЯДОМ С СОЛДАТОМ*

ЗАПИСКИ  
ФРОНТОВОГО КИНООПЕРАТОРА

МОСКВА  
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1983

ББК 63.3(2) 722

М 59

**Микоша В. В.**

**М 59 Рядом с солдатом.— М.: Воениздат, 1983. — 224 с.,  
с портр. (Военные мемуары).**

В пер.: 1 р.

Автор рассказывает о работе военных кинооператоров на разных фронтах и флотах, в частности, при обороне Одессы и Севастополя, освобождении Северного Кавказа и Крыма, в ходе морских конвоев в Англию и США.

Книга рассчитана на массового читателя.

**М 1304010000-232  
068(02)-83**

— 61-84

**ББК 63.3(2)722**

**9(с)27**

**© Воениздат, 1983**

## **ПРЕДИСЛОВИЕ**

Почти сорок лет назад грохнула последняя бомба, разорвался последний снаряд, последняя пуля оборвала жизнь солдата на последнем рубеже Великой Отечественной войны.

Почти сорок лет... Но стоит оглянуться назад — будто это было вчера... Гудело небо от «юнкерсов» и «мессершмиттов», железной лавиной неслись на головы людей бомбы, снаряды, мины, и стальной ураган автомата-пулеметного огня косил солдат в боях, атаках, наступлениях. Все мы выдержали, все испытали, прошли сквозь смертельный огонь, сквозь горечь отступления, познали радость и гордость побед и никогда не забудем, чего это нам стоило, какой ценой мы обрели мир. Какое короткое, но удивительно емкое слово «мир»... Солнце, цветы, улыбки, голубое небо, синее море, детский смех, радость свершений, счастье творчества...

Я оглядываюсь назад.

Передо мной пожелтевший монтажный лист, взятый из архива кинохроники, — запись, перечень снятого по эпизодам материала:

«6 марта 1945 года.

Второй Белорусский фронт.

Фронтовые кинооператоры В. Микоша, Л. Качурян.

Снято — 830 метров нег. пленки СЧС-2 панхром.

Польша, город Грауденц...»

...Две недели длилась блокада гарнизона противника, окруженнего в городе-крепости Грауденц. Квартал за кварталом очищался город от врага, и наконец 6 марта 1945 года город и крепость были полностью очищены от противника.

«...Снято:

общие планы горящего города и крепости;  
взорванный мост через реку Вислу;

ледоход на фоне крепости;

«илы», штурмующие крепость;

бомбёжка корпусов завода, в котором оборошаются фашисты;

артиллерия большой мощности прямой наводкой ведет огонь по целям с расстояния 400—500 метров;

орудия 76- и 45-мм ведут огонь прямой наводкой;

ряд планов, показывающих артиллерийский и уличные бои на предельно малых расстояниях (менее 100 метров от противника).

Описание съемок:

минометы ведут огонь по засевшему около домов противнику. Крупнокалиберные пулеметы ведут огонь из окон домов. Автоматчики, ведущие стрельбу по противнику из окон и на крышах;

наблюдательный пункт 37-й гвардейской дважды Краснознаменной, ордена Суворова и ордена Кутузова стрелковой дивизии. На НП — генерал-майор Рахимов. Генерал Рахимов разговаривает с немецкимunter-офицером, перешедшим на сторону Красной Армии. Сейчас он помогает нашим артиллеристам, корректируя огонь по дому, в котором находится штаб немецкого полка. Ряд планов уличных боев. Упряжки собак со специальными лодками вытаскивают раненых с переднего края.

Местное польское население уже освобожденных кварталов, находясь непосредственно на передовой, помогает нашим бойцам подносить боеприпасы... Колонна пленных, идущих по городу из крепости. Герой Советского Союза летчик Светличный и летчик Ефимов знакомятся с результатами своего налета на крепость».

Все это, как кинокадры на экране, возникает в памяти эпизод за эпизодом...

Нет, такое не должно никогда повториться!

Когда я оглядываюсь назад и вспоминаю эпизоды прожитых на войне дней, невольно хочется пересмотреть все заново, «кадр за кадром». И вот, словно из вчера, всплывают из глубин памяти горячие точки, в которых пересекалась свой твоя судьба...

Первые налеты немецкой авиации на Москву, первые, никогда не забываемые волнения, страхи, переживания. Первые съемки войны в Севастополе. Первые кадры, снятые при обороне Одессы, боевое крещение на крейсере «Коминтерн». Снимал, не скрою, дрожащими от страха руками, с ощущением ужаса от всего происходящего. Казалось, что вдруг на тебя обрушилась лавина, страшная, необъяснимая,

никакой логикой не оправданная. И если не успеть разобраться, понять, что к чему, если не найти как можно скорее свое место в происходящем, не унять, не пересилить страх, эта лавина тебя раздавит — и всему конец.

Но все это прошло, прошло крещение огнем и кровью, и я стал находить свое место в сложных боевых событиях, ушла навсегда растерянность, но остался страх, правда другой — не обезоруживающий, как раньше, а предупреждающий об опасности и оберегающий. Я понял, что бесстрашие — это, конечно, преодоление себя, но, преодолевая себя, нужно помнить об этом «предупреждающем механизме», иначе бесстрашие гибельно.

Много прошло времени с тех давних боев под Перекопом, на Ишуньских позициях, но, как вчера, вижу Гнилое море и наше отступление по пояс в соленом «рассоле» под огнем противника. Как вчера, вижу гибель «Абхазии», крестовину ее мачты в голубом небе. Никогда не забыть уходящий на дно эсминец «Свободный», окруженный всполохами зенитного огня. Как вчера, вижу руины Севастополя, покрытые красными маками. А разве можно забыть ночной Архангельск, объятый пожаром, и обрушиившийся на него с темного неба огонь?..

Будто вчера я вернулся из плавания вокруг света с конвоями. Горящие, тонущие корабли в Баренцевом море и в Атлантике. Ночные бомбежки Лондона. Горящие и тонущие корабли в Тихом океане и на Черном море. Великая битва за Кавказ — Туапсе, Новороссийск, Таманский полуостров и десант в Керчь. Как вчера, вижу понтоны с бойцами, тонущие при луне в ледяных волнах Керченского пролива... Разве можно когда-либо забыть такое?.. Будто вчера я смотрел на руины Варшавы и рухнувшие в Вислу мосты. Разве с этим можно мириться, разве можно представить себе новые Майданек, Освенцим, Треблинку?.. Разве Сталинград и Ковентри не взывают к памяти тех, кто помнит, и к разуму тех, кто помнить не хочет?

Никогда не забудется мне маленький городок с высокой колокольней на берегу Одера — Грайфенсхаген. Апрель сорок пятого, форсирование Одера, ранение на левом берегу. Колокола, журавли, летящие на север. Залитое кровью лицо, красное солнце. Скоро войне конец, а я отвоевался. Потом Москва, День Победы, волна переполняющей радости и салют в ночном небе... Разве это было не вчера?

На этом война с фашистами для меня окончилась, не прошло и месяца, как она окончилась для всех оставшихся в живых.

Вместе с солдатами вернулись с войны и фронтовые кинооператоры, но каждый пятый остался на поле боя. Наша немногочисленная армия кинохроников сняла больше трех миллионов метров пленки — эдакое свидетельство о Великой Отечественной.

Великая битва кончилась. Но многие годы не сходит с экранов войны, запечатленная навечно фронтовыми кинооператорами, живыми и мертвыми. И все новые и новые поколения, не знавшие войны, приобщаются к истории и могут пережить все так, словно это было с ними, могут понять, как дорог мир, какой ценой куплен он и как важно сберечь его и сохранить навечно.

...Прошло столько лет. Я снова возвращаюсь в то далекое и близкое вчера. Оживают передо мной кадры, которые я снимал для фильма «Возрождение Сталинграда» вскоре после освобождения города.

Бесконечные руины, как современная Помпейя, плывут подо мной. У-2, с которого я снимаю, летит от изуродованного, обгорелого вокзала над черной пустой коробкой универмага, где был штаб генерал-фельдмаршала Паулюса, над Домом сержанта Павлова, к мельнице на Волге.

— Мне нужно, чтобы ты повторил свой кадр из прошлого сегодня. Точь-в-точь! И чтобы так же летела по городу тень от самолета! — напутствовал меня режиссер Анатолий Колошин. — Мы должны столкнуть в нашем фильме, в тех же самых местах, кадры войны с кадрами сегодняшнего мира.

Тогда мы начинали снимать большой фильм — «Трудные дороги мира». Этот прием — чередующиеся кадры минувшего и настоящего — был для нас главным, очень конкретно и убедительно выражавшим идеальный смысл ленты.

В конце сорок второго года, снимая конвой из Англии и Америки, я видел, как горел и рушился от немецких бомб Лондон. В семьдесят четвертом я снова полетел в Лондон и в Ковентри, чтобы точно по кадрам военной хроники снять заново те же улицы, дома и площади. Ни Лондон, ни Ковентри теперь не горели — всюду была жизнь, солнце и радость мирной жизни. Так же мы снимали в Ленинграде. Взяли интервью у оборонывшего Ленинград ополченца — музыканта из оркестра, впервые исполнившего Седьмую симфонию Д. Шостаковича. Его рассказ Анатолий Колошин положил на кадры, которые были сняты нашими товарищами в блокадном городе, а я по ним снял современный Ленинград.

Мог ли я, снимая войну — оборону Севастополя, Одессы, Кавказа, — подумать, что мои кадры и кадры других фронтовых операторов через десятилетия будут служить борьбе за мир на нашей планете? Тогда мы мало думали о том, что когда-нибудь над планетой снова сгустятся черные тучи, о том, что некоторые люди на земле, потеряв память, забудут передать своим детям строгий наказ никогда не браться за оружие.

Прошло почти сорок лет. Это огромный промежуток времени для жизни одного поколения. Но тем, кто добывал мир на земле, тем, кому он дорог, кто отстаивает его сейчас, кажется, что все было только вчера. Было и никогда больше не должно повториться...

## Часть первая

### ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

Над аэродромом голубой рекой плыл зной. Ничем не прикрытое солнце испепеляло плоскую крымскую землю. Готовая к вылету эскадрилья бомбардировщиков ожидала команды «По самолетам!».

Лежа на спине в высокой траве, я следил за полетом двух желтых бабочек, вновь и вновь ловил себя на одной и той же мысли: как трудно все-таки верить, что идет война... Сладкие ароматы полевых цветов курились вокруг. Опустившись ниже, надо мной кувыркались две лимонно-желтые бабочки. И с пронзительным криком, как черные молнии, мелькали низко над травой стрижи. «Как «мессеры», — подумал я. И не зря: мгновение — и одной бабочки не стало. Теплые струи ветра пахнули пряным ароматом шалфея. Упал в них и закачался на былинке мотылек. «И все же война...» Низко над землей замер, маскируясь от черного пирата, желтый лепесток.

Над херсонесским аэродромом наконец прозвучало: «По самолетам!» Второй день ждал я этой команды, теперь уже обращенной и ко мне. Самолеты отрывались от земли, возвращались на базу или не возвращались совсем. А я все сидел на аэродроме и ждал подходящего «рейса». Мне нужно было сесть налет нашей авиации на румынский порт Констанцу или на нефтяные базы Плоешти...

Самолеты, базировавшиеся на удобные аэродромы Крыма, не только охраняли от налетов города, но и поражали военные объекты врага. В августе 1941 года Гитлер сказал, что Крым был «авианосцем Советского Союза в его борьбе против румынской нефти».

Каждый налет наших самолетов на Плоешти и Констанцу, рискованный и смелый, был подвигом авиаторов. Вот такой налет мне и хотелось снять.

Чумазый механик помог мне забраться в кабину стрелка-радиста. Прозрачный купол захлопнулся над головой, и я очутился в тесном зеленоватом аквариуме, из которого не было выхода. Резкий дурманящий запах спирта и бензина ударил в голову. Я остро ощутил свою оторванность от летчиков. Они были впереди, мне не увидеть их ободряющей улыбки, жеста, мне не с кем было разделить в случае чего своей тревоги. Время тянулось. От долгого ожидания бодрое настроение испарилось, в голову полезли невеселые предположения об исходе нашей летной операции. Сквозь плексиглас снова мелькнул желтый мотылек и исчез...

Над раскаленными самолетами дрожал и переливался прозрачными струями горячий воздух. Солнце, казалось, вот-вот воспламенит бензиновые баки. Атмосфера в кабине стала невыносимой. Пришлось снять шлем и китель. Они были мокрыми едва не насквозь. Настроение стало еще хуже...

«Полет отменяется!» — донеслась команда и сразу за ней другая: «Не расходиться!»

Выбравшись паружу, я снова залег в траву и, утомленный тревожным ожиданием, незаметно заснул. Снился мне долгожданный полет на Констанцу. Наша эскадрилья бомбила скопление войск в порту; как на киноэкране, возникали кошмары воздушного боя. Я снимал все это почему-то незаряженным аппаратом. Срывались и падали вниз объективы, и подо мной бушевало пламя, оглушительно ревели моторы... Все сильнее и... меня действительно разбудил грохот моторов. Самолеты, тяжело отрываясь от земли, уходили в небо, звено за звеном. «Проспал! Проспал полет!»

Вскочил, надел раскаленный китель. Он обжег тело. Солнце склонилось над горизонтом. Самолеты, набирая высоту, оставили над аэродромом золотое облако пыли. «Мой» самолет уходил последним. Я, проглотив горькую обиду, побрел к командному пункту.

— Почему не разбудили? Как можно?

Командир, к которому я подошел, очевидно, понял мое состояние и, не дав мне высказаться, спокойно сказал, что эскадрилья получила другое срочное задание, поэтому было изменено время вылета и маршрут.

— Бомбить они будут в сумерки, почти ночью! Насколько я понимаю, снимать будет поздно. Даже глазами ни черта не увидишь. Так ведь, товарищ оператор? — спрашивал авиатор, как бы оправдываясь.

У столовой меня встретил начальник штаба и предложил лететь на Плоешти.

— Вылет перед рассветом. Цель на восходе. Шансов на удачное возвращение больше, чем в этом, — он махнул рукой на запад.

— Да... Но только бы снять!

— Конечно, конечно, — язвительно усмехнулся он. — Это очень важно. Если учесть, что пленка может сгореть вместе с вами. Устроит вас такая перспектива? Кроме того, мы лишаем машину стрелка-радиста, и вам придется его заменять как раз тогда, наверное, когда нужно бы спимать. Разве не так я представил себе вашу работу?

Несмотря на мрачноватый юмор начальника штаба, он сразу расположил меня к себе. Майору было за сорок, и я понял, что он «по старшинству» хочет уберечь меня от всяких неприятных неожиданностей.

— Не беспокойтесь, товарищ майор, я заменю стрелка-радиста, если нужно будет. Не первый раз лечу, — соврал я, и мне самому от этого стало неловко. Наверное, начальник штаба почувствовал это, дружелюбно посоветовал:

— Не торопитесь лезть в пекло... Ведь война только начинается, а вам, судя по всему, еще доведется рисковать...

Да, он, видно, прав. Хороший малый этот майор и такой заботливый...

В столовой было шумно и оживленно. Обед затянулся. За окнами сгустилась синева.

Неподалеку заходят на посадку самолеты — один, другой, третий. Вернулась с боевого задания эскадрилья. Мы выбежали, стали считать машины. Из двенадцати только семь. Прошло несколько томительных минут, и еще один приземлился — прямо на «брюхо». Стрелка-радиста вынимали, раненного, из кабины. Четыре бомбардировщика не вернулись. Наши истребители были отрезаны на подходе к цели. Не вернулись... За этим ведь судьбы людей, потеря самолета, гибель экипажа... А еще днем мы сидели все вместе на траве, шутили, смеялись. Как сейчас, вижу перед собой их лица — молодые, веселые, задорные. И вот — не вернулись...

На багрово-красной подпалине горизонта застыла, как траурный флаг, мрачная черная туча.

За полночь меня вызвали к начальнику штаба. Он показался мне совсем иным, чем днем. Строго и официально, стоя за столом над картой, майор сообщил:

— Самолет, на котором вы должны были лететь, не вернулся. Мы решили отменить ваш полет на Плоешти.

Я не сразу понял, что не случайно остался жив. Проспал, да... Но начштаба ведь просто запретил летчикам будить меня и брать в полет. И вот сейчас он еще раз пытается убедить меня. Отказаться было так просто и совсем не постыдно: никто бы не обвинил меня в трусости. А лететь страшновато, конечно, и я чуть не поддался минутной слабости, но вовремя спохватился:

— Товарищ майор! Не могу поверить, что и этот полет будет таким неудачным. Я очень везучий. Если полечу, все будет в порядке!

— Не верю я в приметы. И вообще, бросьте меня уговаривать, черт возьми!

Мы проспорили до самого старта. И вдруг терпение майора, кажется, лопнуло, он ожесточенно бросил:

— Летите, черт бы вас побрал! — Майор встал из-за стола, подошел ко мне, обнял за плечи и неожиданно мягко добавил: — Летите, упрямец, и благополучного вам возвращения! — Начальник штаба крепко пожал мне руку, и я еще раз подумал, какой он все же хороший и добрый человек.

...Мои волнения были настолько сильны, что я стал приходить в себя лишь тогда, когда увидел далеко впереди сверкающее холодным блеском море. Оно медленно наплывало, заполняя все пространство под нами. Надкусанная луна смотрела на меня сквозь поцарапанный купол кабины. Холодные блики густым слоем лежали на вороненом стволе пулемета.

Равномерный рокот моторов, голубые огоньки выхлопов, лунная дорожка на выгнутом море успокоили меня.

Мы летели на большой высоте. Было холодно, мне все время хотелось вдохнуть полной грудью, но все попытки сделать это были тщетными. Несмотря на холод, я не мерз, очевидно, влияло первое возбуждение. Ночное море под луной переливалось бликами. За прозрачным куполом величественно проплывала неповторимой красоты панorama мира и спокойствия. Только темный ствол пулемета зловеще напоминал о войне. «Наверное, когда человек в опасности, он особенно остро чувствует природу», — подумал я.

На востоке слегка полиняла ночь. Вместе с зарей пришла тревога. Скоро цель. Начали лезть в голову непрощенные предположения. Мы летим в тыл врага, нападение «мессеров» неотвратимо. И еще стена огня, о которой мне рассказывали летчики: «Непроходимый заслон заградительного зенитного огня поднимается перед нами. Ребята пробовали прорваться, но пришлось отвернуть и сбросить груз в море».

Почему все это вспоминается так некстати? Сейчас надо все-все забыть и сосредоточиться только на полете, на съемках.

Небо начало сереть. Я увидел наши машины — слева, справа, сзади. Их девять. Пробую представить цель. Город нефти Плоешти. Как он выглядит? Мне не терпится снимать. Пробую «Аймо». Работает...

Бомбардировщики идут близко, то проваливаясь в воздушные ямы, то снова выравнивая линию полета. Растворилась и исчезла почная тьма. Под нами серое море. Впереди неясная графитная дымка — будто карандашную пыль на стекле размазали пальцем. Бражеская земля. Сильно забилось сердце. Наверное, пора действовать. Я внимательно осмотрелся, сосчитал: «Семь, восемь, девять» — и начал снимать свою летящую рядом эскадрилью. Только бы хватило экспозиции. На общие плапы полета, подумалось, хватит, а дальше станет светлее.

Тянувшееся, как сонное, время с появлением берега посплось вскачь. Земля, таиншая в себе смертельную опасность, стремительно надвигалась. Вылетела из головы созерцательная чепуха страхов и предположений. Во мне, как в моем киноавтомате «Аймо», начала сама по себе действовать, разматываясь, туго заведенная пружина нервов.

Повесив рядом на ручном ремне аппарат, я взялся обеими руками за пулемет. Он был холодным, почти ледяным. Будто камера, так же надо смотреть в прицел-визир, высматривая кадр-цель. Вправо, влево, вверх... Только результат другой.

Опасности еще не видно, а первы на пределе. Я всматриваюсь до боли в глазах в поголубевшую даль, но ничего подозрительного не вижу.

Вдруг в стороне, немного ниже нас, блеснули короткие вспышки огня. Черные всплески дыма стремительно улетали назад. Я оглянулся, еще не совсем понимая, что происходит. Вокруг, насколько позволяло зрение, все голубое пространство было заполнено бегущими назад всплесками дыма и пламени.

«Вот она, стена огня», — мелькнула у меня мысль. Я знал, что бояться истребителей во время зенитного обстрела не следует, и, оторвавшись от пулемета, схватил дрожащей рукой кинокамеру. Дрожали не только руки, я весь дрожал так, что думал — не смогу снимать. Но то ли холодный металл камеры, плотно прижатый к горячему лбу, охладил меня, то ли победил профессиональный инстинкт оператора-хроникера — мне было трудно разобраться, — но

вдруг ко мне вернулось рабочее состояние, появилась привычная острота зрения. Все, кроме желания во что бы то ни стало снимать, отлетело, как всплески разрывов, назад.

«Только бы не отказал аппарат! Только бы не отказал!» — глядя в визир, мысленно повторял я.

Рев моторов заглушал работу механизма камеры, и, нажимая пусковой рычажок, я не слышал ее обычного рокота,

«Снял или нет?» В ушах звон, гул, стук... Откуда стук? Я отнял камеру от глаз, мне показалось, что она не работала. Все пропало! Лихорадочно сунув «Аймо» в перезарядный черный мешок, я убедился, к своей радости, что отснял всю кассету.

Заряжая новую кассету, я неотрывно следил за летящими бок о бок бомбардировщиками. Вдруг наш самолет резко подбросило, и он задрал нос кверху, а идущий рядом слева круто, со снижением отвалил в сторону. За ним потянулся черный шлейф дыма, у правого мотора забилось пламя.

«Горит! Теперь все. Пропал! Почему же выбрасываются люди? Почему?» Я кричал, ругался, мной овладела такая злоба, что хотелось послать из пулемета длинную очередь. Но в кого? Наконец далеко внизу вспыхнули белые венчики парашютов.

«Здорово! Ребята спаслись!» Впрочем, до спасения, конечно, было далеко. Внизу ведь чужая земля, и по ней ходит враг. Мои мысли прервал сильный звенящий удар. Я упал на дюралевый шпангоут, раздался свист, и несколько светящихся рваных пробоин появилось в обшивке самолета. Казалось, ветер неминуемо разорвет ее. Она вибрировала и стонала, как живая.

Вынув камеру из мешка, я снова стал снимать: без дела становилось невыносимо страшно и неуютно... Прильнув к аппарату, я сквозь пелену дымки увидел в визире далеко внизу ровные квадраты города. Оттуда неслись в нашу сторону огненные струи трассирующих снарядов. Все они, как мне казалось, были направлены в наш самолет.

До начала зенитного огня в самолете было очень холодно, а теперь я совершенно взмок от жары. Лицо горело, и пот заливал глаза. В кабине, конечно, теплее не стало: резкие струи холодного воздуха, шипя и посвистывая, врывались в пробоины. Не успел я перезарядить камеру, как получил сигнал от пилота. Приближался самый важный момент, мгновения, из-за которых я напросился в полет. Их нельзя прозевать, эти несколько секунд. Сигнал означал, что через минуту бомбы пойдут на цель.

Слившись с визиром и сделав пятьдесят бесконечно длинных отсчетов, я нажал на пусковой рычажок камеры. Нажал так сильно, что едва не согнул его. Как работала камера, слышно не было, не было слышно вообще ничего. Я только стремился чувствовать работу аппарата: он должен работать!

Оторвав «Аймо» от слезящихся глаз, я попробовал завести пружину. Она поддалась — камера работала. Глядя в визир, я ясно увидел, как на далекой земле сверкнули всполохи пламени и поползли вверх черные сultаны разрывов.

Я обрадовался, начал кричать. Что? Не помню. Самолет стал легче. В чем это выразилось? Не знаю! Но это было так. И вот подтверждение — машина вертко развернулась и, меняя высоту, легла на обратный курс. Навстречу поднималось из моря солнце.

Осмотревшись вокруг, я стал искать взглядом наши бомбардировщики. Впереди, резко теряя высоту, дымил еще один. Мы вышли из зоны зенитного огня. Разрывы таяли позади, а новые не возникали. Ну вот теперь, как объяснял мне комэск, нагрянут «мессеры». Я отложил камеру, взялся за пулемет и начал внимательно оглядывать небо. Как правило, нападения жди от солнца, они любят им прикрываться.

Далеко справа, чуть выше солнца, показались быстро плывущие в сторону от него черные черточки. Мгновение — и черточки превратились в «мессершмитты». Еще мгновение, и они... Я не успел развернуть пулемет за истребителями. Нападение началось. Черные силуэты крыльев, огонь по обе стороны винта. Всего на миг он привлек мое внимание. Грозный, мигающий, острый огонь вражеских пулеметов... Мгновение... «Пронесло, не задело», — подумал я и тут же увидел слева другой самолет. Он пикировал, увеличиваясь в размерах. Я поймал «мессер», словно в визире кинокамеры. Замигал его огонь. Моя очередь была очень короткой. Так мне показалось. В ушах от нее сильно был пульс. Все звенело, хотелось глубоко зевнуть, «продуть» заложенные уши.

В коротком перерыве между новым заходом я почувствовал в кабине запах гари: не то паленой краской потянуло, не то горящим машинным маслом. Но разбираться было некогда: снова ринулись на нас «мессеры». Еще несколько раз с разных сторон выныривали они из синевы, с остервенением бросаясь на нашу поредевшую эскадрилью. Я старался вроде бы вовсю, делал все, как учили меня на земле

стрелки-радисты, но результатов своей стрельбы так и не увидел...

Патроны кончились. Неужели я все расстрелял? Так мало и так много прошло времени... Я схватил камеру. Но она не заряжена. Пока возился с перезарядкой, «мессеры» исчезли. Неужели это все? До рези в глазах всматриваюсь в небо — там ни черточки. Только в ушах звенела, пульсируя, высокая нота. Мы будто висели над сверкающим водным простором без движения. Почему так медленно? Нас легко догнать. Далеко впереди летят наши. Обогнали нас и уходят все дальше.

Только теперь я заметил, что кабина заполнилась едким чадом. Из пробоины в левом двигателе выбивалась, дрожа, какая-то сизая струя. Она то исчезала, то густела, оставляя за стабилизатором темный жирный след. Мне стало не по себе.

Видимо, мотор стал работать с перебоями. Самолет терял скорость и высоту. Оглядевшись вокруг, я понял, что мы остались в небе одни. И тут же вспомнил о парашюте. На мне его не было. Он лежал в стороне с перепутанными лямками. Когда же я освободился от его неудобных пут? Совсем не помню. Очевидно, он сковывал мои движения и мешал снимать... Я торопливо надел парашют и, оглядевшись, увидел далеко впереди окутанный сизым маревом берег. Только бы дотянуть... Как медленно течет время и как неохотно приближается к нам берег! Мотор явно доживал свои последние минуты. Жаль, если все это зря — и полет, и съемка... Скорей! Берег близко, но мотор, кажется, совсем заглох. Черная лента дыма повисла позади над морем.

Берег совсем близко, но высоты уже нет. Мы идем на бреющем над морем. Дотянуть бы! Только дотянуть... Мотор неожиданно перестал дымить. Оборвалась черная лента, оставшись позади.

Мы летим на одном двигателе. Ему тяжело. Он гудит, надрываясь, кажется, вот-вот захлебнется и замолчит. Не надо бы об этом думать, но и не думать невозможно...

Как бы мне в эту минуту хотелось заглянуть в лица пилота, штурмана — я бы по их глазам определил, что дотянем... Меня снова бросило в жар, парашютные лямки перекосили китель, он промок. Сбросить бы его и вздохнуть свободно без всей этой сбруи.

Самолет резко теряет высоту. Впереди песчаная коса. Я мысленно советую летчику: сажай, сажай на воду немедленно! Иначе будет поздно. Сейчас мы, как на глиссере, вы-

скочим из воды на песок. И не затонем, сохраним самолет. Впрочем, пилот все, конечно, понимает лучше меня. Но я, кажется, предугадал его действия. Удар оказался не очень сильным. Командир осторожно, не выпуская шасси, посадил машину на брюхо.

В первое мгновение хлестнула вода, все потонуло в матовом густом тумане. Жесткая струя из пробоины полоснула меня по лицу, заставила зажмуриться. Когда я открыл глаза, крупные капли воды стекали с плексигласа. В этот момент произошел сильный толчок. Я грохнулся грудью и подбородком о турель и сообразил: это удар от встречи с песчаной косой, на которую мы выскочили из воды.

Машина остановилась и завалилась набок, обмакнув левое крыло в воду. Мы погрузились в густую голубую тишину. Море было совершенно спокойным, только длинная глянцевая волна накатила и пропитала золотой песок прозрачной влагой. А в ушах продолжали звенеть ушедшие звуки...

Меня вернул к реальности обеспокоенный голос летчика:  
— Ты жив? Что с тобой? Почему молчишь?..

Мне помогли выбраться из кабины. Я стоял на горячем песке перед двумя незнакомыми парнями и не мог произнести ни слова. На меня нахлынула радость, и я совсем растерялся, не зная, что им сказать, как благодарить их за жизнь, в которую несколько минут назад перестал верить.

— Перепугался здорово, а? Страху-то было на всех нас с перебором! Палил ты, как настоящий стрелок... А кино, запачит, не снимал?

— Брось, Коля! Видишь, малый не в себе! А ты пристал с расспросами... Если и не снимал, так стрелял вполне прилично... — Летчик с петлицами старшего лейтенанта, участливо улыбаясь, взял меня под руку: — Меня зовут Васей... Пойдем посмотрим, как фрицы разделяли нашу дорогою птичку.

Перед нами на узкой песчаной косе, распластав перекошенные крылья с почерневшим левым мотором, от которого полыхало жаром, лежала на брюхе наша «птичка».

— Как это она не сгорела и дотянула до земли? — спросил я Василия.

— Николай дотянул, командир. Если бы не он... А скажи все-таки, ты успел снять, как мы им шарахнули?

— Не все, правда, но до нападения «мессеров» кое-что успел...

— Да ну! И огневой заслон успел?

— Даже разрывы бомб внизу прихватил, жаль, очень высоко мы летели. Чуть бы пониже...

— Если бы пониже, то не досчитались бы в штабе ни нас, ни тебя. Командир! Он, оказывается, все снял!

— Подожди! — Николай сосредоточенно считал в корпусе машины пробоины. — Ну вот и 62, 63 и последняя — 64-я... Неплохо пас разделали фашисты. Чудом ни одну тягу не перерубило. Хана бы нам была!.. Ну и когда же мы увидим твою съемку? — спросил он меня вдруг.

— Если завтра пленка будет в Москве, то через неделю, глядишь, и увидим на экране. Только мне еще предстоит вас обоих подснять, когда вернемся на аэродром. Жаль, пленку всю израсходовал, а то бы сейчас поснимал и вас, и вот эти дырки.

Я вытащил из кабинки кофр со снятой пленкой и камерой, надел китель, подошел к моим новым друзьям. Они смутились.

— Товарищ капитан третьего ранга! — козыринул мне Николай. — Извините! Мы-то с вами все на ты... Не успели с вами там, на аэродроме, познакомиться, да и темно было...

— Ну и хорошо, что не разглядели!

Нам всем было очень легко и радостно. Так бывает, наверное, когда человека миновала беда. Радует все — и типина, и теплое ласковое море, и сама возможность дышать, двигаться, жить...

В конце августа меня вызвали в политуправление Черноморского флота. Дивизионный комиссар Петр Тихонович Бондаренко сказал:

— Вам надлежит на теплоходе «Абхазия» идти в осажденную Одессу. Там явитесь к командиру крейсера «Коминтерн» капитану второго ранга Ивану Антоновичу Зарубе. У него будете «базироваться». Сегодня Севастополь надо защищать в Одессе. Вам все ясно?

«Неужели так плохи дела, что уже пришло время защищать Севастополь?» — подумал я. До Одессы целую ночь надо идти на корабле. На сердце стало тревожно.

В начале августа была осаждена Одесса. Это были первые шаги фашистов к Севастополю. Не верилось: неужели можно пустить врага в Крым? Было горько думать об этом, но тем не менее я приготовил камеру, пленку и ждал, когда дадут команду ступить на борт теплохода «Абхазия». На этом комфортабельном курортном лайнере мне приходилось не раз ходить из Одессы в Батуми, снимать самые мирные

сюжеты для нашей кипохроники. И вот теперь «Абхазия» неузнаваема — всюду зенитные орудия и спаренные крупноналиберные пулеметы.

...Из Южной бухты медленно выходила «Абхазия». На четырех палубах в задумчивом молчании стояли красноплотцы.

Поплыла, удаляясь, Корабелка, Исторический... И, словно очнувшись от нахлынувшего оцепенения, моряки, спачала один, другой, затем все замахали бескозырками. Замелькали на ленточках названия кораблей Черноморского флота: «Парижская Коммуна», «Красный Кавказ», «Коминтерн», «Невзаможник», «Ташкент». Бригада морской пехоты шла защищать Одессу. Весь ее личный состав был укомплектован из добровольцев. Сильные, мужественные, с торжественно-сердечными лицами прощались они с родным городом. Медленно проплывала Минная пристань, где у стенки стояли их родные корабли. С палуб махали руками уходящей «Абхазии» экипажи.

— Прощай, Коля! — слышится с эсминца «Беспощадный». — Не подкачай! Береги честь корабля!

— Не бойсь, я им дам, гадам, — откликается с «Абхазии» гигантского роста краснофлотец, увешанный гранатами и перевитый пулеметными лентами, с гитарой в левой руке. — А ты, Сашко, заходь до мамы, щоб дуже не журчалась. — Он с яростью нахлобучил па самые глаза бескозырку и под аккомпанемент гитары тихо запел: «Наверх вы, товарищи...» Стоящие рядом матросы начали понемногу подтягивать, песня росла, набирала силу, и скоро уже пели все, кто был на палубе. Проплывали совсем рядом знакомые набережные, дома, улицы, покрикивали па прощание белые чайки, и город оставался за кормой.

...Как ни старалась «Абхазия» догнать уходящее на покой солнце, оно успело нырнуть в море. Всихнул край неба рубином и погас. Сразу с востока навалилась теплая южная ночь. Гудит, постукивает машина. Теплоход идет в полной темноте. Дымят на юте заядлые махорочники, пряча огоньки в ладонях. На баке завели под гитару песню, и сразу повеяло на судне миром, несложным морским уютом.

Долго в ночи под качающимися звездами пели матросы грустные песни и только под самое утро затихли. Гудит, стучит в монотонном ритме машина, и тянется за «Абхазией» непрерывный, голубой фосфорический след. Да! Впереди война. И это — только начало...

Потом все стихло. Палубы, щлюпки, спардеки плотно покрыты рядами лежащих в глубоком сне бойцов. Спят моря-

ки, позякивает оружие, амуниция, гремят, катаются между спящими гранаты-лимонки.

Еще не наступил полный рассвет, когда на горизонте показалось зарево пылающей Одессы. Заныла, завибрировала какая-то тонкая струна в груди. Мне вспомнилась мирная Одесса, и вот она перед нами в огне и дыму. Время от времени в небо устремлялись трассы зенитных снарядов, а беспокойные прожектора будто хотели стереть с неба звезды. Глухой и протяжный гул канонады нарастал все сильнее и сильнее. Из серой предрассветной муты выплыл, как призрак, Одесский маяк. И тут враг, кажется, обнаружил нас. Завыли снаряды, заухали вокруг «Абхазии» взрывы, вздымая тяжелые столбы воды. Но все обошлось. Видимо, вход в порт был плохо пристрелян, и немецкая артиллерия била вслепую.

Одесса горела. Тяжелые черные дымы грязными сгустками низко висели над городом и никак не хотели смешиваться с синевой осеннего неба. «Абхазия» благополучно прошла заградительные боны и ошвартовалась за Холодильником.

Быстро и молча, без громких команд, спускались по трапам моряки, тяжело нагруженные оружием и амуницией. Воздух был насыщен гарью, и черные хлопья пепла медленно опускались на пирс и воду. Снова, теперь уже в бухте, начали рваться снаряды. Один из них угодил в мостик стоявшего неподалеку сухогруза, но никто на это не обращал никакого внимания. Мне было не по себе все время, пока завывал очередной снаряд. Хотелось лечь, вжаться в землю... Но это замешательство было коротким. Я быстро выхватил из кофра «Аймо», крепко прижал холодную камеру ко лбу и, нажимая на пусковой рычажок, начал ловить в визир попеременно то моряков, сходящих по трапу, то взрывы на воде. В работе легче гасилась тревога в душе, и я довольно быстро справился с нею.

Морская пехота длинным черным потоком вливалась в озаренный пламенем пожарищ город...

Вдруг меня кто-то тронул за плечо. Я оглянулся. Передо мной стоял генерал в пенсне.

— Чем это вы заняты, товарищ командир? — спросил он меня несколько раздраженно.

— Снимаю артобстрел и выгрузку «Абхазии», товарищ генерал.

— А что, у вас других занятий нет?

— Я военно-морской кинооператор, и это мое основное занятие, товарищ генерал.

— А вам известно, что осколки снарядов не щадят никого и что при обстреле надо немедленно ложиться на землю?

— Конечно. Но если я буду каждый раз ложиться, то...

— Да, вы, пожалуй, правы. Кто-то ведь должен и снимать... Как ваша фамилия?

— Микоша.

— Микоша? Это что же, вы чех или венгерец?

Завыл совсем рядом снаряд и разорвался довольно близко в воде. На этот раз я, видимо, просто не успел среагировать и, как говорится, не поклонился снаряду. Генерал же Иван Ефимович Петров — это, как я узнал потом, был он — не шевельнулся и ни одним мускулом лица не показал, что мы были в опасности.

— Так вот, дорогой товарищ оператор, кто бы ты ни был, но беречься надо, — сказал Иван Ефимович. — Война только начинается, до Берлина путь еще далек и, видно, тяжел. Надо выжить. Иначе кто же будет снимать? Ну Трояновский, Коган... Мало вас, кинооператоров-то. Трояновского, кстати, знаете?

— Да. Он и Коган здесь, в Одессе. Хочу с ними встретиться, только не знаю, доведется ли.

...Мой крейсер, к которому я был приписан еще в Севастополе, стоял на причале у гранитного пирса. Туда я и направился после съемки высадки морской пехоты. Я сразу увидел этот корабль-красавец. Он выделялся среди других: динамичный, со склоненным вперед форштевнем, стоял, прижавшись к пирсу, готовый к стремительному броску. Его три высокие трубы слегка дымили.

Сколько в этот день было объявленных и необъявленных тревог! Я сбился со счета. Мне было не до съемок: нужно было познакомиться с командиром крейсера Иваном Антоновичем Зарубой, стать на довольствие, освоить незнакомый мне корабль, как говорится, осмотреться. Незаметно наступила ночь. В районе Молдаванки глухо ухали тяжелые фугасы и время от времени вспыхивали ярким магниевым светом зажигательные бомбы. Загорались все новые и новые кварталы города. Красные искры летели ввысь, смешиваясь со звездами. Я стоял рядом с командиром корабля на палубе, и мы оба молча наблюдали, как красавица Одесса превращалась в огромный костер. Во мне кипела бессильная злоба, хотелось кричать, протестовать.

— Что же делать? Как это остановить? — вырвалось у меня.

— К сожалению, сейчас это уже невозможно. Останавливать надо было намного раньше. У нас впереди тяжелые,

судя по всему, испытания. Хотел бы я знать, где мы сможем остановить врага, заставить его повернуть вспять. — Заруба посмотрел на меня грустными глазами, спросил неожиданно: — Вы читаете сводки Совинформбюро? Вот, посмотрите флотскую газету «Красный черноморец»: «После упорных боев оставлен город Новгород», «Нашиими войсками оставлен город Днепропетровск»...

— Нет, уж лучше не читать, Иван Антонович, на сон грядущий.

— Вы собираетесь спать в каюте?

— Да.

— Не советую, там очень душно. Ложитесь лучше вот здесь, под этой шлюпкой: и дышать легко, да и в случае чего... — Заруба не договорил, пожал мне крепко руку и растаял в темноте.

Я действительно крепко уснул на свежем воздухе, и только на рассвете меня разбудили корабельные склянки.

...На востоке, за морем, медленно подтаивало темное небо, и наконец море неторопливо выплеснуло из-за горизонта помятый апельсиновый диск. Заговорила артиллерия, заторопилась, и трудно было в этой сумятице разобраться, какому из снарядов необходимо поклониться в первую очередь.

Ощетинившись дулами зенитных батарей, «Коминтерн» стоял в готовности отразить воздушный налет. Я ходил по палубе, высматривая удобную для съемки позицию.

Вдруг зенитки ожили и все сразу направились в сторону восходящего солнца. Я не успел сориентироваться — все произошло так неожиданно и быстро. Оглушительно застучали, валаяли зенитки. Нестерпимо заболело в ушах. И тут же раздался сильный свист. Я растерялся и не знал, куда мне направлять объектив камеры, страх сковал мои движения. Бомбы, оторвавшись от первого самолета, через несколько секунд высоко вздыбили пенные фонтаны недалеко от «Коминтерна». Стальной корпус его, как огромный резонатор, усиливал звуки и вгонял их в мозг и сердце. Наконец, преодолев самого себя, я стал снимать. Работа камеры не была слышна. Грохот был невообразимый, непрерывный. Я ожесточенно нажимал на спуск и едва успевал заводить пружину. Мой киноавтомат «Аймо» работал безукоризненно, но самочувствие у меня, признаюсь, было прескверное. Я не в состоянии объяснить, что же меня удерживало на палубе, какие внутренние силы заставляли снимать. Я никак не был готов к тому, что вдруг так сразу, внезапно обрушилось на меня, на мою психику.

Война, увы, ничем не напоминала рассказы о ней, все то, что печаталось в газетах, журналах, книгах...

Я не видел, когда «юнкерс» сбросил бомбы. Мое внимание привлекла команда зенитного расчета на корме. Орудия изрыгали огонь. Он мелькал, рябил и слепил глаза, краснофлотцы в ожесточении делали свое дело. Я, прислонившись к стальной мачте спиной, чувствуя ее горячую опору, снимал этот смертельный поединок зенитного расчета с «юнкерсами». «Когда же копец? Когда же они улетят?» — Эти мысли преследовали меня, и время, казалось, замерло.

Вдруг три зенитки разом замолкли, а номера расчетов упали на палубу и, корчась, поползли в разные стороны. Сильный взрыв потряс корабль и оглушил меня. Я осел на горячую палубу, камера опустилась на колени. Снимать уже не было сил.

Корма окуталась дымом, и из его густой черноты выползали, обливаясь кровью, моряки. Один из них поднялся и побежал в мою сторону. Почему я не снимаю? Почему? Чем со мной? Я никогда не забуду расширенных от ужаса предсмертных глаз этого парня.

— Братцы! Братищечки!.. Бра-а-а... — Не добежав несколько метров до меня, он упал замертво. Самым страшным было собственное бессилие, полнейшая невозможность чем-либо помочь человеку, что-то изменить.

Вся кормовая палуба была залита кровью. Только новый свист бомб и сильный взрыв вывели меня из оцепенения. Стальной ствол мачты заслонил меня от осколков, и я начал снимать.

Взрывы, стон металла, визг бомб, крики раненых постепенно притутили мое первое обостренное восприятие происходившего.

Это было мое боевое крещение в осажденной Одессе. Я остался цел, невредим и, казалось тогда, полностью привык к войне...

Прошло много дней, прежде чем я понял, что помогает мне подавить в себе страх на передовой, под бомбами, в опасном полете. Это — мой киноаппарат. Гадкое чувство ужаса, вызываемое происходящим, оставляло меня в тот самый миг, когда я нажимал спусковой рычажок и слышал работу механизма. Я как бы заслонялся камерой от смерти. Наверное, так же себя чувствует солдат, прижимая к себе автомат.

Отправляясь в горящий город, я так и двигался по его изуродованным улицам — от съемки к съемке. И так день за днем, ночь за ночью водила меня камера по пылающей

Одессе, и я действовал от сюжета к сюжету все решительнее, научился видеть и опознавать опасность раньше, чем она на меня навалится.

Последние дни лета были особенно жаркими, и слабый ветерок не в силах был вытеснить удушливую гарь и грязные дымы из горящего города. Всех томила жажда, вода становилась неотвязчивой мечтой каждого. Фашисты захватили водонапорную станцию на Днестре, питавшую Одессу питьевой водой. Воду стали выдавать по карточкам. Над осажденными нависла страшная угроза — погибнуть от жажды.

Раскаленный воздух дрожал от густой канонады. Землю лихорадило от тяжелых взрывов. С обгорелых закопченных руин с шумом осыпался золотисто-желтый ракушечник. Немцы штурмовали Одессу с каждым днем злее и ожесточеннее. Жизнь города и боеспособность оборонительных рубежей всецело зависели от порта. И когда фашисты, выйдя в район Чебанки, начали обстреливать из крупнокалиберной артиллерии порт, снабжение города и его защитников очень осложнилось.

Зная, что в самом городе ведут съемки Марк Трояновский и Соломон Коган, я решил работать исключительно в порту и на морских подступах к Одессе. Дела для меня там было более чем достаточно. Докеры, выгружая из прорвавших блокаду кораблей боеприпасы, непрестанно подвергали себя смертельной опасности. Из порта отправляли на Большую землю и раненых. А эта операция была необычайно трудной и опасной. Приходилось под обстрелом ради спасения жизни раненого рисковать собственной жизнью. Не менее 200 снарядов, не считая авиабомб, попадало на портовые сооружения только днем. На сигналы воздушной тревоги уже никто не реагировал. Многие не покидали место работы сутками, и если человеку удавалось вдремнуть там же, на пирсе, пару часов, то и это, случалось, стоило ему жизни. Ведь при разгрузке боеприпасов передко взлетали на воздух целые грузовики.

...На рассвете в порту ошвартовался большой транспорт. Началась выгрузка снарядов. Тут же появились «юнкерсы», заработала вражеская артиллерия. Заняв позицию на корме крейсера «Коминтерн», я снимал ход работы в порту, снимал, как юркий «мессер» пикировал на корабли, едва не задевая мачты и поливая их свинцом. Был выведен из строя большой порталный кран. Работы на судне приостановились, а каждая минута была дорога. Примчалась, завывая сиреной, машина с аварийной бригадой. Но прилетел еще один

«мессер». Он, видимо, израсходовал весь свой боезапас, атакуя ремонтников, но те не покинули кран. Никто не ушел в укрытие, пока он не был восстановлен.

Артобстрелы все чаще и чаще срывали работы в порту, выводили из строя зенитные расчеты на стоящих у пирса судах. Необходимо было принимать срочные меры для подавления вражеских огневых точек и обнаружения наблюдателей-корректировщиков на противоположном берегу Одесской бухты.

30 августа поступил приказ отправить на разведку торпедный катер. Я начал уговаривать командира взять меня на борт. Но это был совсем небольшой катер с высокой рубкой и двумя торпедами бортового сбрасывания на низкой корме, и командир вполне резонно отрезал:

— Ну куда я вас посажу? Видите ведь, что совершиенно негде пристанться. А оставить на берегу кого-либо из команды не имею права. Вы же не согласитесь пристроиться вот здесь! — Он показал мне на узкое пространство между торпедами.

— Соглашусь! Только мне не за что будет держаться при маневрировании, и я скочусь в море...

— Вот именно... — не дал мне договорить командир и приказал старшине расчехлить торпеды. Они были густо смазаны тафтом, и пристанться между ними значило быть измазанным и при первом повороте неминуемо оказаться за бортом.

Я заколебался.

— Не расстраивайтесь так, товарищ капитан третьего ранга, сейчас будет полный порядок, — сказал мне старшина, когда командир отошел в сторону по своим делам. Он принес огромный кусок пакли и стал им до блеска вытирая однушку из торпед.

— Вот сюда и садитесь.

— А как я на ней удержусь? Может быть, у вас найдется какой-нибудь конец?

— Вы меня не поняли... Садитесь на торпеду верхом, скрестите под ней крепко ноги, и тогда при любом маневре вы никуда не денетесь. Вот сюда, поближе к бугелям.

Действительно, когда я забрался верхом на торпеду, руки мои были совершенно свободны и я мог держать «Аймо» двумя руками без риска вывалиться за борт. В это время подошел командир катера, и я продемонстрировал ему, как без помех буду снимать во все стороны. Он с упреком посмотрел на старшину и сказал:

— Ладно, будь по-вашему... Если окажетесь за бортом,

ко мне никаких претензий! А со старшиной я еще поговорю... Вы готовы? Отдать концы!

Мы не отвалили, а отскочили от ширса, и не поплыли — полетели по зеркальной поверхности бухты. Как стрела из тугого натянутого лука, катер выскочил из-за одесского мола. Промелькнул и остался далеко позади маяк.

Катер мчался на полном ходу к противоположному берегу залива, в сторону Дофиновки. Недалеко от входа в порт вели огонь по позициям врага два эсминца и лидер «Ташкент», видимо помогая отражать непрерывные атаки фашистов на рубежи морской пехоты. Вокруг огнедышащих кораблей вздымались высокие столбы воды — они сами были под обстрелом.

Я успел снять, как длинные стволы «Ташкента» метали молнии. Выстрелов и гула уносящихся снарядов не было слышно, хотя они и летели над нами: так гулко ревели моторы торпедного катера. Это было хуже канонады, но я к ним привык. Меня охватило необычайно приподнятое настроение. Все тревоги и страхи за исход нашей операции растворились. Увлекшись съемкой, я пиши о чем другом не думал.

Корабли тоже остались далеко позади, и на нас с удивительной быстротой надвигался покрытый синей дымкой берег.

«Где же немцы? — думал я. — Пусто, никого...»

Песчаная отмель. И нигде, насколько хватает взгляда, ни души... Берег совсем близко. Начинаю снимать. Вдруг — крутой поворот, и я едва не вылетел из «седла». И тут же рядом по волне полосонула пулеметная очередь — одна, и еще ближе — другая. Соленые брызги, как бичом, стегнули меня по лицу. Рулевой бросал катер из стороны в сторону, и я еле-еле держался на скользкой торпеде. Ноги мои от напряжения одеревенели, но камеру я из рук не выпускал.

На удаляющемся берегу появилась цепь немецких автоматчиков. Они бежали, неуклюже подпрыгивая, к берегу. Я снимал, судорожно сжимая рукоятку «Аймо». Через мгновение густая дымовая завеса с нашего катера закрыла берег. Я, конечно, не знал о задуманной операции, ее деталях. Но она, видимо, удалась, немцы были обнаружены.

Не успел еще рассеяться дым, как наша артиллерия накрыла плотным огнем большой квадрат побережья, где были замечены гитлеровцы.

На обратном пути, когда мы приближались к нашим кораблям, я заметил, что зенитные батареи «Ташкента» ведут непрерывный огонь. Небо над ним покрылось частым накра-

пом разрывов. Снимая, я видел через визир камеры, как на лидер пикировала эскадрилья вражеских самолетов.

Корабль на мгновение укрылся за высокой стеной вздыбленной воды. «Юнкера» повторили заход, и на этот раз было видно, как одна бомба попала под корму лидера. И тут же с корабля высоко в воздух взлетело что-то темное и упало в море. Уж не человек ли?

Когда мы приблизились к «Ташкенту», то заметили плывущего нам навстречу краснофлотца. Он хорошо держался на воде и бодро приближался к погасившему ход катеру. Когда моряка подняли на палубу, выяснилось, что он совершенно невредим, только полностью оглох. Взрывная волна, как оказалось, выбросила его из отсека в пробоину, сделанную бомбой.

Удивительно, как человек остался жив...

«Ташкент» с дифферентом на корму медленно уходил в порт. Я невольно подумал о командире корабля капитане З ранга Василии Николаевиче Ерошенко, человеке удивительно бесстрашном. Мы с ним были давними друзьями.

Наш катер, описав большую дугу, на полном ходу проскочил под разрывами мимо мола и стал у стенки рядом с крейсером.

Я промок до нитки, но это не беда. Главное, что и на этот раз все обошлось благополучно. Только бы пленка в камере осталась сухой!

День за днем я был занят полностью — с восхода до заката солнца, а если бы позволяла чувствительность пленки, то, наверное, прихватывал бы и ночь. Ночные события, пожалуй, для кино были самые фееричные — просто фантастика. Но то, что видел глаз, пленка отказывалась воспринимать.

Ночью, когда вой и взрывы бомб прерывали сон, одному, без близкого друга, товарища по профессии было очень тоскливо. Обычно операторы работали спарено — так было просто необходимо. Здесь же, на крейсере «Коминтерн», я оказался один. Моряки были по горло заняты своими делами, не имеющими ничего общего с моей профессией. На корабле я был единственным командиром, который не имел ни подчиненных, ни начальства и ни перед кем не отчитывался в своих действиях. Главным начальником была собственная совесть.

Мне было просто необходимо встретиться с кем-либо из своих. Тем более что бывший в то время в Одессе кинохро-

никер Соломон Яковлевич Коган был участником советско-финляндской войны, за съемку фильма «Линия Маннергейма» имел боевой орден и стал бы для меня, едва-едва «обстрелянного», добрым советчиком и наставником. В паре с ним работал еще один мой приятель Марк Антонович Троицкий, с которым мы встречались еще на съемках Челюскинской эпопеи. Мы не виделись с момента объявления войны. С. Я. Когана, Л. В. Варламова, Л. Т. Котляренко — моих друзей — она застала в альпинистском лагере под Эльбрусом, откуда все они отправились на фронт. Я привез ребятам посылку, письма и с первого дня в Одессе тщетно пытался их найти.

Шли дни. Одесса на моих глазах варварски разрушалась. Фашистские снаряды и бомбы терзали город. Я продолжал снимать боевые операции наших кораблей, делал пешие вылазки в горящий город, но друзей не находил. Мне пришлось побывать на съемках во многих частях и подразделениях, на кораблях. Наконец я снова встретился с генералом И. Е. Петровым. Он сразу узнал меня:

— А, Микоша! Жив?! Ну какой молодец! Так вот и держать!

Мы встретились второй раз в жизни, а мне после этой встречи показалось, будто я знаю этого человека всю жизнь.

Иван Ефимович сам на своем «виллисе» отвез меня к командиру 1-го полка морской пехоты полковнику Якову Ивановичу Осипову.

— Вчера я видел твоих друзей-киношников здесь, у Осипова на КП. Он сейчас на передовой. Без него никуда не высовывайся — обстановка сложная, все время меняется, можешь нечаянно и к немцам попасть. Пока! Будь осторожен! — Петров пристально посмотрел мне в глаза, кивнул, поправил пленсне и зашагал к ходу сообщения. Где-то совсем рядом в пыльных кустах короткими очередями работал «максим», а за кукурузным полем трещали автоматные очереди и взметывались взрывы мин. Было жарко, и нестерпимо хотелось пить.

— Товарищ капитан третьего ранга, пойдемте в блиндаж, — предложил мне старший лейтенант, — сейчас будет артиллерия, фрицы очень пунктуальны — обед кончился.

Он повел меня в густые заросли акаций, где был уютный маленький блиндаж с полевым телефоном. Не успели мы присесть на доску, заменившую скамейку, как наверху начался обстрел.

— Вчера ваши кинооператоры тут снимали, чуть взрывом мины одного не пришибло...

— Они еще здесь, у вас? — спросил я с надеждой.

— Нет, на рассвете я их проводил. Они подались, на-  
верное, в Чапаевскую. Вы подождите полковника. Он к вече-  
ру вернется.

Осипова я ждать не стал, а как только кончился артна-  
лет, отправился назад.

Я искал друзей и в 25-й Чапаевской дивизии, но все бы-  
ло тщетно. Шел по их следу, они были где-то здесь, рядом.  
Они ходили по тем же улицам, лежали в тех же окопах,  
подчас я буквально «наступал им на пятки», но встретиться  
нам так и не удавалось.

...Немцы захватили Чебанку и Дофиновку. Положение  
в городе становилось все тревожнее. Улицы пересеклись  
баррикадами, жители, не жалея жизни, под бомбами и сна-  
рядами укрепляли свой родной город.

— Ой, Одесса-мама! Што воны, гады, с тобой робят? —  
причитала пожилая женщина, водруженная на верх баррикады  
корыто для стирки.

С оглушительным треском разорвался снаряд на крыше  
оперного театра. Здание скрылось в облаке пыли и черного  
дыма.

— Ой! Запалили! Запалили! Он же второй в мире! И что  
теперь з нами будет? Побойтесь бога!.. Гады... — запричита-  
ла на всю улицу, утирая слезы, все та же женщина.

Я снимал работающих на улице Ласточкина одесситов,  
когда ко мне подошел какой-то моряк в измазанной глиной  
форменке.

— Разрешите обратиться!

Я опустил «Аймо».

— Старшина первой статьи Шейнин!

Тут только я узнал своего старого товарища по съемкам  
на маневрах Черноморского флота фотокорреспондента га-  
зеты «Красный флот» Бориса Шейнина, которого в 1939 году  
на линкоре «Парижская Коммуна» научил снимать ФЭДом.

— Борис, дорогой, и ты здесь? Откуда такой красивый,  
по уши в глине?

— Ты знаешь, натерпелся я страху! Прополз на брюхе  
несколько километров... Свист — грохот, грохот — свист, и,  
честно говоря, ничего кругом, кроме едкого дыма и пыли с  
песком, ничего не видел, но наслушался досыта. В ушах  
звенит, гудит, и тебя я не слышу ни черта... — Борис, ка-  
жется, был так рад встрече, что говорил, говорил и никак  
не мог остановиться. Это было на него похоже.

Вечерело. Над городом сгущались сумерки. Канонада  
почти затихла. Изредка в районе Пересыпи тяжело вздыха-

ли одиночные взрывы. Мы удобно расположились на бухте причального каната. Борис рассказывал о виденном, и казалось, запас его впечатлений был неиссякаем.

Вскоре наши с Шейниным пути разошлись, я снова остался один. Настроение было скверным. Командир корабля передал мне распоряжение политуправления перебазироваться с крейсера «Коминтерн» на эсминец «Незаможник» для следования в Севастополь. Мое желание остаться в Одессе до конца вызвало раздражение Ивана Антоновича Зарубы.

— До какого конца? — спросил он резко.

— Конца обороны!

— Считайте, что он наступил, и не обсуждайте приказ.

На израненном осколками бомб и снарядов эсминце я вернулся в Севастополь. Одесса пала. Еще на корабле, в море, я услышал по радио, как Левитан строго и печально сообщил об этом.

Так и не нашел я ни Трояновского, ни Когана. Не удалось рассказать Когану, что я видел его фронтовой сюжет, вошедший в первый военный киножурнал. Я хотел рассказать ему, как аплодировали зрители в кинотеатре, когда увидели на экране падающий горящий «юнкерс», сбитый нашими бойцами. Эти кадры были сняты оператором Коганом.

Наши сюжеты встречались на экране — в «Союзкиножурнале», а мы не могли найти друг друга...

Тревожные мысли не давали покоя. Одесса пала... В голове никак не укладывалось это мрачное событие, а гитлеровцы уже подступали к Перекопу.

Снимая на Минной пристани, я не заметил, как ко мне кто-то подкрался сзади и крепко обнял.

— Димка! Ты ли? Вот здорово!

Передо мной стоял, улыбаясь, мой товарищ по институту оператор Союзкинохроники Дмитрий Рымарев. Крепкий, белокурый, в очках на добрых голубых глазах, в новенькой форме капитана, которая еще не была обношена и сидела на нем непривычно.

— Ты надолго?

— До конца войны — если доживу, — ответил Дмитрий. — Познакомься — мой ассистент Федя Короткевич, надеюсь, вы будете друзьями. Теперь он будет ассистентом для нас обоих.

Встреча была неожиданной и радостной как для меня,

так и для Рымарева. Плохое настроение улетучилось мгновенно, и мы с этого часа стали неразлучны. Наша киноавтоматы заработали вместе, дополняя друг друга, и все тяготы и невзгоды фронтовой жизни показались нам намного легче. Ведь теперь рядом были друзья.

Едва ли не на следующий день мы с предписанием Военного совета Черноморского флота выехали в 1-й батальон морской пехоты, который сдерживал написк гитлеровцев, прорвавшихся через Перекоп, у Армянска.

С трудом удалось получить в Военном совете флота старую полуторку с шофером матросом Чумаком.

Общими усилиями закатали мы в кузов полуторки железную бочку бензина на 200 литров и отправились в путь. Прихватили еще Николая Аснина, фотокорреспондента ТАСС. Я сел в кабину рядом с Чумаком, остальные уютно расположились на соломе в кузове, рядом с бочкой.

Кончался октябрь, в прозрачном воздухе искалились серебряные паутинки. Они легкой прозрачной сеткой обволокли нашу полуторку и тянулись за ней чуть видимым серебристым плейфом.

Когда мы, не доезжая Симферополя, остановились на минутку размяться, на нас обрушилась звенящая тишина глубокого неба и пахнуло пряным теплом крымской осени. Война... Какая нелепость: здесь тихая теплая осень, а там, впереди, огонь, грохот, кровь...

Я упрямно верил, что скоро наши войска перейдут в долгожданное наступление, отбросят фашистов за Перекоп, а там и Одессу отбьют. Как мы тогда были наивны и далеки от действительного положения дел...

До Симферополя мы докатили быстро, проехали без приключений по городу, а при выезде нас ждала неожиданность — щит с надписью «Стоп! Проезд закрыт!».

— Только с разрешения коменданта города, — сказал начальник патруля у закрытого шлагбаума.

— У нас предписание Военного совета флота, — показал я документ.

— Все это хорошо, но строгий приказ командующего пятьдесят первой отдельной армией запрещает всякую езду по Крыму в дневное время. Немецкие самолеты охотятся за каждой машиной, за каждым человеком. Прошу вернуться в город.

Чуть свет, объехав КП по известной только Чумаку дороге, мы отправились в путь. Прошел час, другой, стало совсем светло. Мы ехали, сперва посмеиваясь над предупреждением начальника патруля: дорога была прекрасной, спра-

ва и слева, насколько хватало глаз, расстилалась желтая, выжженная солнцем равнина. На небе ни облачка.

— Где же война? — перегнувшись через борт, весело крикнул Дмитрий.

Чем дальше катились мы по гладкому асфальту вперед, тем меньше встречали по дороге людей и скоро оказались в полном одиночестве. Вдруг вдали на дороге показался дымок. Все примолкли, веселую удаль Рымарева как рукой сняло. Когда мы подъехали к пожарищу, в кювете дрогорала перевернутая эмка. Другая машина стояла на обочине. Рядом лежали в неестественных позах двое убитых, около которых хлопотали трое военных, видимо, из второго автомобиля. Помочь мы ни погибшим, ни живым ничем не могли и, подавленные увиденным, поехали дальше.

Нами овладела тревога, тревога, смешанная с чувством ужаса от виденного, со страшным ощущением пустоты от совершенной нелепости, жестокости и подлости происходящего. Той пустоты, которая захлестывает тебя всего, когда ты чувствуешь, что не в силах не только изменить страшной действительности, но и не в твоих возможностях даже понять жестокого и нелепого ее смысла, ибо смысла этого нет. Ибо это противоречит самому человеческому разуму, самому существу человека. После этого ощущения приходит или опустошенность, или ярость и сила. В зависимости от характера. Наверное, именно эта точка в развитии многих человеческих характеров и судеб была сначала в подвиг или в предательство.

Дорога неслась вперед. Чумак, казалось, бесстрастно крутил барабанку и пристально смотрел вдаль. Только лицо, обычно лихое и беззаботное, стало жестким и суровым: обгоревшие машины, повозки, трупы людей попадались у дороги все чаще.

Поодаль от шоссе в одном месте валялись убитые коровы, овцы, лошади.

— Смотрите! Целое стадо! — кипел Федор Короткевич. — Сколько же пришлось сделать этому подлецу пилоту заходов, чтобы уничтожить все это?

— А мы не верили, что охотятся за каждым человеком...

Среди этого мертвого поля стояла лошадь в упряжке с отрубленными оглоблями, на трех ногах. Одна нога болтлась. Лошадь щипала траву. Это было и странно и удивительно. В этом теплом осеннем мире, под веселым, спокойным солнцем гибли люди, и ни в чем не повинное и никому уже не нужное животное, подчиняясь могучему инстинкту жизни, продолжало жить наперекор всему, и неведомо бы-

ло, что его ждет, что ждет эту несчастную землю. Но казалось — страшное. И вместе с тем было несомненно и неопровергимо, что простая, светлая логика жизни сильнее всех ужасов и что жизнь — удивительная, непонятная и непреодолимая штука...

Сейчас, спустя многие годы, те дни, те часы, мгновения возникают яркими вспышками ощущений, образов, деталей, которые тогда, может быть, даже не останавливали на себе внимания, откладываясь в мозгу на долгие годы — для переосмыслиния в будущем. Сейчас же я думаю: почему я не снимал всего виденного на этой страшной дороге смерти? Даже не поднял «Аймо». Казалось, мир гибнет. Он не может, никак не может существовать после всех тех кошмаров и глупостей, которые принял на себя. Так наступило, видимо, то самое ощущение пустоты. Но это было только в первые часы. Потом появились ярость, сила и ненависть. Но это, повторяю, потом. А тогда было лишь неверие в реальность происходящего. Впрочем, и потом очень-очень долго я не снимал дикой и бессмысленной гибели человека, страданий людей, которыми был куплен будущий мир. Почему? Мы все были твердо уверены, что надо снимать только героизм. А героизм, по общепринятым нормам, не имел ничего общего со страданием... Надо снимать врага, а враг — это солдат в кованых сапогах, офицеры в бутылочной форме. Только спустя много-много времени я понял, что геройизм — это преодоление страха, страдания, боли, бессилия, преодоление обстоятельств, преодоление самого себя, и что с врагом мы столкнулись задолго до того, как встретились с ним лицом к лицу. Мы стремились увидеть его человеческое лицо, но это было глупо — у него не было человеческого обличья, а сущность его была перед нами во всем, содеянном им на земле.

Все это пришло значительно позже, а пока была дорога, и не было ей конца и края.

Проехав еще несколько километров, мы остановились. Надо было решать, что делать. Коротко обменявшись мнениями, упрямо поехали дальше — никто из нас, видимо, не хотел сознаться, что охотнее бы вернулся. Не успели мы продвинуться и на километр, как неожиданно появился «мессер».

— Ложись! — гаркнул Чумак, и мы все очутились в кювете.

Пули хлестнули по дороге, по самому ее краю, между нами и машиной, выбили желтую пыль и плеснули в нас осколками асфальта.

— В машину! Скорей! Сейчас он вернется, надо маневрировать! — крикнул водитель.

Мы бросились назад к машине, но, когда она лихорадочно рванулась вперед, самолет отвернул в сторону и не вернулся.

Надолго ли? Мы с надеждой смотрели вперед, высматривая хоть одинокое деревце или какое-нибудь укрытие, но только голая ровная степь и серая змейка асфальта проплывали перед нашими глазами.

Скоро прилетел еще один «мессер», и тут появился наш истребитель И-16 — «ишацок». Вот сейчас он покажет фрицу, где раки зимуют! Но не успели мы затормозить и спрыгнуть на землю, как наш самолет, дымясь, пошел на снижение, скоро почти рядом с нами коснулся шасси земли, потом, неуклюже подскочив на рыхвине, скапотировал. Летчик, похожий на мультипликационного человечка, выбравшись из-под фюзеляжа, побежал в сторону от машины. «Мессер» из пике прострочил еще раз, хлестнул по «ишацку» пулеметной очередью, и он вспыхнул ярким пламенем.

Все это произошло так быстро и неожиданно, что мы не успели даже вымолвить слова. Вражеский истребитель вернулся и после еще одной длинной очереди по горящему уже самолету взмыл свечой вверх и исчез под солнцем.

Мы прихватили летчика и отправились дальше. Полуторка мчалась вперед. Чумак оказался блестящим водителем. Мы были начеку и зорко следили за небом, а Чумак научился виртуозно маневрировать. Услышав сигнал из кузова или увидев самолет, он останавливал полуторку и выжидал, пока «мессер» не начнет пикировать, потом резко бросал машину вперед, и фашист вгонял очередь в пустое место на дороге. Упрямый вражеский пилот снова заходил, разгадав маневр Чумака, а тот в момент пикирования самолета быстро сдавал назад, и немец еще раз разряжал пулемет по асфальту. И так при каждом новом заходе, при каждом новом налете.

Насмотревшись до боли в глазах на небо, предельно устав и измучившись, мы добрались наконец до маленького разбитого бомбами хуторка. Не успевши убежать жители сидели в глубоких, вырытых в земле щелях. Наш приезд не вызвал у них радости: полуторка привлекала внимание фашистских стервятников. Пришлось ехать дальше. Через пару километров мы обнаружили в стороне от дороги несколько деревьев с кустарником, но свободного места не оказалось — большая группа крестьян отсиживалась там, спасая детей и мелкий скот от авиации. Мы даже не решились остановиться.

День подходил к концу. Солнце катилось с нами рядом по горизонту, освещая наши похудевшие и измученные лица. Наконец неподалеку от шоссе мы увидели стог сена и полуразрушенные саманные стены. Полуторку можно было очень удобно замаскировать между трех стен. Здесь мы решили ночевать. Натаскали душистого сена, устроились. Все так намучились и устали, что, даже не перекусив, заснули спать.

Ночь опустилась низко-низко, Млечный Путь перепоясал черное небо пополам, а на севере горизонт полыхал зарница-ми, гудел громом тяжелой артиллерии. Вот она, война, совсем рядом содрогает землю. Мы хоть и переутомились, но никак не могли уснуть. Скребла сердце каждого тревога: а что же нас ждет завтра?

Наконец все незаметно провалились в сон. Еще один день войны ушел в прошлое...

На следующий день с утра все повторилось. Мы медленно продвигались вперед, маневрируя под непрерывными палетами «мессеров». Удалось снять их штурмовку. Самолеты подходили так близко, что сквозь прозрачный колпак можно было рассмотреть лица немецких пилотов. Это были лица врагов, впервые мы видели их рядом.

Вскоре нам удалось найти 1-й батальон морской пехоты. Он расположился неподалеку от деревни Ассы, не так уж далеко от нашей ночной стоянки. Было решено полуторку с вещами оставить в деревне, а дальше, взяв необходимую аппаратуру, идти пешком. Мы с Рымаревым отправились к морякам, а Короткевич с Асининым пошли в другом направлении.

Пройдя несколько километров, мы попали на позиции морских пехотинцев.

— Что вы тут бродите в полный рост? — шумнул на нас какой-то старший политрук из маленького окопчика, оторвавшись от стереотрубы. — Нас демаскируете и сами рискуете...

Действительно, мы шли рядом с окопами, в которых укрылись краснофлотцы с пулеметами и автоматами. Неужели фашисты рядом? Мы тоже спрыгнули в щель. Вскоре к нам пробрался старший политрук.

— Комиссар первого батальона морской пехоты Аввакумов, — представился он.

Мы разговорились, рассказали о задаче, ради которой прибыли сюда. Комиссар внимательно слушал нас, он ока-

зался не таким уж строгим и мрачным человеком, как мы вначале подумали.

— Почему в нашем хозяйстве такая тишина? — спросил он. — Передышка, видите ли, немцы подтягивают резервы. Ждут танки. Подойдут они, тогда и зашумят.

— Товарищ комиссар, кого бы вы могли назвать из ваших моряков, особо отличившихся в бою? — спросил я.

— У нас есть еще немного времени. — Аввакумов взглянул на часы. — Пойдемте на КП. Там я вас познакомлю с одним краснофлотцем. Кое-где придется ползти. Сегодня снайперы ранили у нас двоих лихачей. Одного смертельно...

Весь путь на КП мы проделали молча. Болели руки и колени от непривычного способа передвижения. Добрались до блиндажа, хорошо замаскированного выцветшей травой.

— Срочно вызовите автоматчика Ряшенцева! — приказал усатому старшине комиссар, и тот трижды крутнул ручку полевого телефона.

— Этот мальчик, я говорю о Ряшенцеве, спас мне жизнь, — сказал Аввакумов. — Кстати, он имеет какое-то отношение к вам, киношникам: не то работал на студии, не то учился...

— Товарищ старший политрук, автоматчик Ряшенцев прибыл по вашему приказанию!

Перед нами стоял совсем юный круглолицый моряк в каске и с повенцким автоматом на груди.

— Садитесь... Расскажите товарищам военным корреспондентам, за что вы представлены к ордену Красного Знамени.

— Ну, что уж там... — Парень смущенно помялся у двери, потом присел на ступеньки землянки, снял каску. Под ней оказалась помятая бескозырка. Золотом на черной ленте — «Беспощадный». Мы с Дмитрием невольно улыбнулись: настолько не соответствовало грозное имя корабля детскому выражению лица краснофлотца.

— Как вас зовут, товарищ Ряшенцев?

— Костя... Константин Михайлович, — поправился боец и залился румянцем.

— Так вы, кажется, тоже киноработник?

— Собственно нет, еще не успел им стать. Меня призвали с первого курса ВГИКа.

— Мы с капитаном Рымаревым тоже вгиковцы, только давно успели кончить. Ну, так как вы спасли жизнь комиссару, Костя?

Моряк снова покраснел. Встал, снял бескозырку, потом

снова ее надел. Было ясно, что если он даже и начнет говорить, то это будет не очень-то скоро. Комиссар улыбнулся:

— Ну что? В бою было легче, чем здесь?

Костя молчал.

— Ладно! Я сам расскажу, — улыбнулся Аввакумов. —

Наш батальон получил приказ перейти в контратаку и занять господствующую высоту. У немцев было довольно много пулеметных гнезд, и все-таки мы выбили их из деревни. Увлеченные преследованием врага, моряки выскочили на окраину. Белые саманные домики остались позади. Мы прочесывали сады и огороды. Неподалеку от меня бежали Ряшенцев и краснофлотец Ружанский. Пересекали капустные грядки. Вдруг где-то рядом резко затрещали автоматы, начали взвизгивать пули, кроша капусту. Мы упали между грядок. Только потом я почувствовал, что ранен.

— Да, я услышал, как вы позвали меня, — оживился Костя, — сказали: «Ряшенцев, следите за противником — он рядом...» Дальше я ничего не мог разобрать.

— Видимо, мой голос заглушила новая автоматная очередь. Почти одновременно с Ружанским Ряшенцев ответил гитлеровцам несколькими выстрелами. И снова наступила тишина.

— А потом Ружанский закричал: «Вижу фашиев! Они ползут к нам — двое... Берегитесь! Берегитесь, товарищ комиссар...» — снова стал рассказывать Костя, волнуясь.

— Автоматные очереди заглушили голос Ружанского, я его не слышал, — продолжал комиссар, — а когда наступила тишина, стал звать Костя. Он откликнулся и приподнял голову.

— Хотел увидеть, где немцы, — вставил Ряшенцев.

— Да... Но очереди еще плотнее прижали его к земле... А что дальше-то, Костя? — спросил комиссар.

— Дальше... Мне стало страшно. Я понял, что, если не придумаю выхода, погибну, а раненого комиссара — он стоял — возьмут в плен... Чуть приподняв голову, я увидел за большим кочаном капусты гитлеровца. Он целился в комиссара. Я спустил курок раньше и увидел, как дернулась голова фашиста. Вроде бы попал. Высматриваю, где другой. И вдруг еще длинная очередь... Вжался я в канавку между грядками, она была довольно глубокой и надежно укрывала. Комиссар снова застонал. А гитлеровец замер. Видно, соображал, что делать, или решил, что я убит. Надо было зарядить магазин, у меня была СВТ. Гляжу, затвор весь забит землей, может отказать. Но есть еще штык. Так мы лежали минуту-другую, не выдавая себя. Вдруг я услышал шорох

и увидел фашиста. Он стоял боком ко мне совсем близко и держал автомат на изготовку, искал взглядом Аввакумова.

Не знаю, какая сила подбросила меня, только штык моей самозарядной вонзился в бок немцу раньше, чем он успел оглянуться. Ну и вытянулся он между вилков капусты. А я бросился к комиссару. Он был жив, но потерял много крови. Неподалеку лежал мертвый Ружанский, у него была прострелена голова...

Костя стиснул обеими руками автомат. Вот сейчас он всем своим суровым обликом полностью оправдывал имя своего корабля — «Беспрецедентный».

— Скажите, Костя, как вы отнесетесь к тому, что вас переведут в качестве ассистента оператора в нашу военную киногруппу? Хорошо бы нам иметь помощником вас, бывшего студента киноинститута, а не другого, кто не смыслит ничего в кино...

— Нет, из своего батальона я никуда не хочу уходить. Спасибо вам за заманчивое предложение, но здесь я буду до конца. — Костя встал, медленно надел каску на бескозырку. — Разрешите идти?

Получив «добро» комиссара, Ряшенцев быстро выскочил из блиндажа.

— Жаль, отличный парень, надежный...

— А вы бы ушли из своей части? — спокойно спросил комиссар и, когда мы уже встали, добавил: — Хотя не скрою — обстановка здесь сложная. Едва ли мы выскочим из этого котла живыми...

Часа три мы ползали по траншеям, снимая окопную жизнь. Не успели немного передохнуть, как началась артподготовка. Гитлеровцы пошли в атаку. Поначалу мы еще снимали, как выхлестывают огонь и вздывают пыль пулеметы, как, прищурив глаза, строчат прильнувшие к брустверам автоматчики с серыми, как земля, лицами. Потом земля стала дыбом. Лежащий рядом Рымарев вдруг исчез в облаке пыли. Совсем рядом громыхнул снаряд. В ушах больно хрустнула какая-то тонкая звенящая нить, и на мгновение, только на мгновение я провалился в густую тишину. А потом с новой силой закипел, вспыхивая, оглушительный водоворот огня, пыли, треска и воя.

— Дима! Дима! Где ты? — кричал я, не слыша собственного голоса. Глаза были забиты пылью, и я ничего не видел. Наконец руками пашупал друга. Он схватил и крепко сжал мою руку.

— Жив?!

Огонь стал затихать. Подувший ветерок прогнал пыле-

вую завесу, я протер глаза и увидел Дмитрия. На его чумазом лице светилась улыбка: теперь вижу, что жив.

Приполз политрук:

— Приготовьтесь, сейчас будем контратаковать! — крикнул он мне в ухо.

Мины рвались повсюду. Я перестал снимать и, ожидая конца налета, прижался к земле так плотно, будто врос в нее. Больно врезался в бок мой наган. Было жутковато. В разгоряченный мозг стучались сомнения: кому я здесь нужен со своими дурацкими съемками? Был бы автомат в руках, я бы хоть стрелял, а то лежу прижатый к земле, даже снимать невозможно...

Вдруг, перекрывая грохот, совсем рядом возник сильный хриплый крик:

— Вперед! За Родину! Ур-ра!.. Полундра!..

Контратака моряков была смелой, неожиданной для немцев, наверное, безрассудной, но впечатляющей. Бойцы батальона, в котором не осталось и половины состава, в едином порыве встали во весь рост, сбросили бушлаты, надели бескозырки и в одних тельняшках лавиной ринулись в атаку.

— Ур-ра! Полундра!

Мы бежали вместе с моряками, останавливались, снимали и бежали дальше.

Я никогда не испытывал такого душевного подъема, такой опьяняющей радости, когда, кроме неудержимого порыва вперед, к достижению высокой цели, ничего не остается... Боялся ли? Кажется, нет. Там, в окопе, чувство тревоги меня раздавило, вжало в землю, но как только прозвучала команда «Вперед» и все встали в полный рост, меня охватило чувство легкости, крик «ура» сбросил с меня тяжесть страха, и я, ринувшись, как другие, вперед, не думал уже, что каждый мой шаг может быть последним.

Фашисты не выдержали натиска моряков и, бросая оружие, пустились наутек. Только мертвые остались в окопах да несколько совершенно обезумевших от страха немцев и румын. Когда мы их снимали, они дрожали с перепугу, громко лязгая зубами, а на допросе сказали, что больше всего боялись «черной смерти», как они называли нашу морскую пехоту.

Впервые нам удалось снять врага так близко в упор и так удачно: много трофеев и много уничтоженных гитлеровцев. Но радость наша была омрачена комиссаром.

— Уходите, а то будет поздно, — настаивал он. — Ночью мы отойдем на более выгодные рубежи.

- А где же эти рубежи? — недоумевал Дмитрий.
- Пока секрет! — улыбнулся комиссар.
- Все же разрешите нам остаться дней на пять?
- Вас, кажется, невозможно убедить в серьезности положения... Пусть это будет не совет, а приказ: уходите, пока есть такая возможность! Все, будьте здоровы, желаю удачных съемок! — И Аввакумов крепко пожал нам руки.

Мы уходили со сложными чувствами в душе. С одной стороны, были довольны как никогда богатым материалом, с другой — совершенно разбиты морально. Неужели наши дела здесь так плохи? Поверить в это было трудно, а разобраться в происходящем и совсем невозможно...

Аввакумов рекомендовал нам возвращаться прямо в Севастополь. Мы решили переночевать в километре от передовой в старом заброшенном сарае. Когда добрались туда и легли между рядами спящих бойцов, стало совсем темно. Подложив, как всегда, аппаратуру под голову и завернувшись в плащ-палатки, мы моментально уснули и ничего не слышали — ни писка и возни мышей, ни сонного бормотания измученных красноармейцев, ни их громового храпа.

Почему я проснулся, не знаю. Вдруг распахнулась большая дверь сарая и в него заглянули звезды. Кто-то вошел и громко сказал:

— Товарищи! Среди вас находится диверсант. Надо задержать его!

Легко сказать — «задержать»... Даже если бы у него на спине было написано, что он диверсант, все равно темно, хоть глаз выколи. На мгновение в сарае стало тихо. Вдруг рядом со мной кто-то вскочил и, больно задев меня за плечо сапогом, кинулся бежать. В темноте кто-то вскрикивал — видимо, бежавший наступал на лежавших людей. Дробно вспыхнула автоматная очередь. Поднялся шум, загадели. Засветилось сразу несколько фонариков.

— Отставить стрельбу! Проверить наличие людей по подразделениям! — приказал какой-то майор.

Почти до утра выясняли и подсчитывали, кого же нет. Исчез один красноармеец. Наконец добрались и до нас.

— Кто такие? Документы! Как сюда попали? Ваше предписание! Кто вас сюда послал? Обезоружить их!

У нас отобрали пистолеты раньше, чем проверили документы. Да и не очень-то собирались проверять. Видно, наши камеры вызвали сильное подозрение.

— С поддельными документами сколько угодно всякой

сволови в прифронтовой полосе шляется, — угрожающе сказал майор.

Дело оборачивалось скверно. Майор явно не желал с нами всерьез разбираться.

В это время мы увидели, что к сараю подъезжает верхом Аввакумов. Но нас он не замечал.

— Товарищ комиссар! — гаркнул во все горло Рымарев.

Аввакумов увидел нас, спешился, хотел подойти к нам, но автоматчики преградили ему дорогу.

— Что здесь происходит?

— Они арестованы!

В это время подошли капитан и майор и пригласили комиссара в сарай.

— Ну и дела! Неужели Аввакумов не убедит этого... майора, что мы не немцы? — срывающимся от злости голосом сказал Дмитрий.

Через минуту все вышли из сарая.

— Извините, товарищи командиры! — обратился к нам капитан. — Такая ерунда получилась с этой ночной заварухой, а майор, конечно, погорячился... Вернуть офицерам оружие и аппаратуру!

Мы поблагодарили комиссара, и он, прощаясь с нами, сказал:

— Я же советовал вам уходить. Положение скверное, все на первых. Хорошо, что все кончилось благополучно. Теперь вот о чем. Пока обстановка нам точно неизвестна. Судя по всему, Северный Крым полностью у немцев, а парашютный десант они высадили в районе Качи. Понимаете, что это значит? Отрезать нас от Севастополя хотят...

Аввакумов рекомендовал нам по пути в Севастополь посоветоваться на КП с командованием 51-й отдельной армии, которое днем раньше располагалось в районе деревни Джурчи.

До своей полуторки мы добрались усталые и опустошенные. Обеспокоенные нашим долгим отсутствием, Федор, Николай и Чумак встретили нас радостно.

— А мы уже отчаялись вас когда-либо увидеть! — обнимая нас, сказал Федя.

Все начали, перебивая друг друга, рассказывать о своих приключениях.

До отъезда в район Джурчи мы решили переночевать на старом месте и пока еще раз разойтись в разные стороны поспокойнее.

На этот раз я воспользовался попутным связным, на мотоцикле с ним, но без Рымарева — третьему не нашлось

места — умчался к Сивашу. Ехали мы недолго. Скоро показалось Гнилое озеро, и мы замаскировались в руинах разбитой станционной сторожки. Небо гудело от немецких самолетов. Низко носились «мессеры», выше — «юнкерсы», а совсем высоко кружилась «рама» — корректировщик.

Только когда стало темнеть, я сумел выбраться из спасительной сторожки и пошел в сопровождении матроса-мотоциклиста на передовую. Шли недолго. Перевалили два косогора, и стало ясно, что мы находимся на передовой. Где ползком, где по ходам сообщений мы вышли на небольшую возвышенность.

Ракеты то и дело освещали местность. Красно-зеленая сеть трассирующих пуль густо покрывала землю. Изредка ухали вдали орудия, и нарастающий звук летящего спарядя заставлял обнимать землю.

Когда ракета особенно ярко осветила все вокруг, я почти рядом увидел покрытые бурой плесенью воды Сиваша. Бойцы на правом фланге были прижаты к Гнилому озеру и отчаянно отбивали одну атаку гитлеровцев за другой. Батальоннес большие потери, нодерживал позиции.

На левом фланге наваливалась лавиной ружейно-пулеметная пальба — фашисты пошли в атаку.

До самой зари полыхал бой. Затем все стихло, и снова в небе засветились свечи ракет. На рассвете комбат позвал меня на КП, сообщил, что немцы прорвались на левом фланге, и мы окружены теперь с трех сторон. Единственный выход — пройти в темноте через Гнилое озеро. Следующей ночью, если будем живы, постараемся этим путем выйти из окружения.

Я остался в батальоне до следующей ночи.

— Проголодались, наверное, товарищ капитан третьего ранга? — спросил комбат. — Жрать совсем нечего... Вот, если сможете, погрызите! — Он дал мне сухарик, который оказался твердым как камень, и я подумал, что скорее зубы раскрошатся, чем эта еда.

День мне показался вечностью. Вражеское командование, очевидно, разгадало наш план уйти ночью и решило добить нас днем. Одиннадцать атак отбили моряки до наступления ночи.

Приказ держаться до темноты стоил многих жизней, но другого выхода не было. Матросы обливались кровью, умирали, но задачу выполнили.

Ночью остатки батальона отходили мелкими группами по пояс в холодной густой жижке. Фашисты усилили огонь из минометов. Минны, падая в воду, поднимали темные стол-

бы грязи. Видимо, соль разъедала раны — некоторые бойцы громко стонали. Тяжело раненых несли на руках. Люди падали от усталости в воду, поднимались и снова шли, шли вперед.

Я иду по грудь в воде. Плечо ноет от тяжести аппарата. Гибнут рядом матросы. Один, другой... Наконец луна закрылась серым облаком и больше не показывалась. Гитлеровцы прекратили огонь.

Только на рассвете вышли мы на сухую землю.

Наутро я кое-как дотащился до полуторки, где меня ждали не на шутку встревоженные моим отсутствием товарищи. Все были целы и невредимы, но осунулись, похудели, стали какими-то серыми, обмундирование потеряло всякий вид.

Я думал о людях, которые выходили со мной рядом из Гнилого озера, о комиссаре Аввакумове и о его батальоне. Что-то с ними теперь?

И еще я думал о том, как страшно и горько отступление...

После скучного завтрака мы двинулись в обратный путь по другой дороге, чтобы заехать в штаб 51-й отдельной армии. И на этот раз небо ревело двигателями самолетов, но «мессеры» нападали на нас редко. Бомбардировщики нескончаемыми армадами шли к нам в тыл, и слышно было, как там тяжко ухали бомбы. Над горизонтом плыли шлейфы дыма. Иногда мы чувствовали, как под нами вздрагивает земля. Слева и справа от дороги валялись убитые лошади и разбитые машины и повозки. По обочине вереницей таились, ковыляли, вели друг друга раненые. Вид у всех был серый, грязные бинты пропитались кровью. Мы несколько раз останавливались, предлагали подвезти особо уставших и тяжело раненных до медсанбата, но на нас безразлично махали руками. Мы понимали: людей угнетает происходящее, угнетает отступление.

Несколько раз на нас лениво нападали «мессеры», но Чумак легко обманывал их ловкими маневрами. Мы даже не высаживали из машины в кювет.

После многих перекрестков мы увидели вдали село. На дорожном столбике при въезде надпись мелом «Джурчи». Мы беспечно покатили по центральной улице. Она была пустынна и безлюдна. За поворотом пылало здание универмага. Зловеще гудело и трещало высокое пламя. Мы выскочили из машины, сделали несколько кадров и поехали дальше. Странно, почему нигде нет ни души... Чумак сбавил скорость. Стало тревожно.

Вдруг за несколько дворов впереди я увидел, как из-за угла выползали и пересекали шоссе камуфлированные самоходки — одна, другая, затем танк...

— Немцы! Немцы! Чумак, назад! Видишь крест на танке?

Шофер так бросил полуторку в сторону, что у него слетела с головы бескозырка. Я слышал, с какой силой в кузове ударилась о борт железная бочка, и вслед за этим — чей-то вопль, громкий, острый. Машина бампером сильно ударила в саманную стену домика. Посыпалась глина. Чумак резко дал задний ход, и бочка снова ударила о борт. В это время первая самоходка окуталась дымом, блеснуло пламя. Снаряд, просвистев мимо, врезался в дом, который «помешал» Чумаку при повороте. Он громко рванул внутри, высадив окна вместе со ставнями. Все окуталось густым облаком пыли. Чумак, развернувшись, дал полный газ. Немцы были наугад. Ухнули еще один за другим несколько снарядов, совсем близко. Взрывная волна сильно хлестнула земляным крошевом по ветровому стеклу. Чумак круто рванул машину вправо, и мы, выбив низкие ворота, въехали во двор. На улице продолжали рваться снаряды, была уже не одна самоходка. Мы пересекли длинный двор и выскочили на огороды. Полуторка запрыгала, заплясала как сумасшедшая по картофельным и капустным грядкам. Я слышал, как билась и подскакивала в кузове железная бочка с бензином. Мне было страшно за товарищем: как они там, целы ли? Так мы мчались до самого шоссе. Ведь враг мог быть и там, куда мы так стремительно неслись. Немцы, потеряв нас из виду, прекратили огонь. Так мы вместо штаба 51-й отдельной армии едва не попали в лапы к гитлеровцам.

Отъехав от Джурчей километра три, остановились. Мы с Чумаком кинулись к кузову. Аснин протяжно стонал. Дмитрий и Федор смачно сквернословили.

— Ну, Чумак, ты и давал! Как мы уцелели, одному богу известно! Спасибо тебе! — Рымарев подошел к водителю, обнял и расцеловал его.

Чумак заулыбался и стал осматривать машину. Ребята получили сильные ушибы, а Николай Аснин чудом остался жив: тяжелая бочка с бензином на одном из крутых поворотов прижала его к борту. В результате — огромная гематома от виска к глазу. Мы посадили Аснина в кабину рядом с Чумаком и помчались в Симферополь.

Солнце садилось, когда вдали появился город. Все в порядке — на КП наши бойцы и лейтенант. Увидев Николая

с перевязанной головой, они наскоро проверили наши документы и показали, как проехать в госпиталь. Мы повели Аснина к врачу.

— У вас серьезное сотрясение мозга, — заключил он. — Вас надо госпитализировать. Но не здесь. Как можно скорее добирайтесь до Севастополя. Мы ждем приказа об эвакуации госпиталя...

Николая перевязали, и мы вышли на улицу к нашей полуторке. Но у главного подъезда, где мы ее оставили, кроме масляного пятна на асфальте, ничего не было. Все замерли от ужаса. В машине было все наше богатство — киноаппаратура, отснятая пленка. Чумак стоял растерянный, белый как полотно и машинально крутил цепочку с ключами. Он-то уж знал, что ему будет за утрату машины в военное время... Нас не было всего несколько минут, и вот результат... Но рассуждать было некогда. Необходимо было принимать срочные меры.

Мы побежали к коменданту города. Нас встретил седой полковник, строгий и мрачный.

— Не завидую вам, товарищи. Как же вы могли оставить машину без присмотра? Сейчас диверсанты часто угояют машины, чтобы пробиться через линию фронта. Вы понимаете, в какую историю вы попали? — Он распорядился сообщить номер машины на все контрольно-пропускные пункты, потом сказал: — Положение сейчас такое серьезное, что вы лучше забудьте о своей машине и скорее добирайтесь до Севастополя. Но только по Алуштинскому шоссе. Прямая дорога, по данным разведки, перекрыта парашютистами. Их выбросили у Качи. Желаю удачи! О нашем разговоре никто не должен знать!

Мы вышли на улицу и побрали, совершенно убитые, сами не зная куда. Было почти темно. Вдруг показалась какая-то полуторка, остановилась недалеко от нас. Шофер — военный — выпрыгнул из кабины и полез в кузов с ведром и шлангом.

— Наша машина! — гаркнул я не своим голосом и, выхватив из кобуры наган, кинулся к шоферу. Мы окружили его со всех сторон.

— Слезай! Руки вверх!

Обыскали шофера, в кармане нашли заряженный наган. Никаких документов при нем не оказалось. Проверили в кузове свои пожитки — ничего не пропало.

Мы снова предстали перед комендантом.

Что было дальше с угонщиком, не знаем.

На прощание комендант сказал нам:

— Вы, товарищи, вроде как бы выиграли свой автомобиль в безвыигрышной лотерее... Ладно — на рассвете отправляться в Севастополь!

Рано утром мы покинули город и по Алуштинскому шоссе помчались к морю. Как мы ни отговаривали подвернувшихся знакомых журналистов не ехать прямой дорогой, они не послушали, прихватили Николая Аснина и отправились прямой дорогой. Ему было очень плохо, и он хотел скорее попасть в госпиталь.

Но случилось так, что всех, кто поехал тем путем, прихватили немцы. Только Аснию удалось убежать. Шофер в эмке и трое других были убиты сразу, одной очередью из пулемета. Николай, когда машина остановилась, быстро занял место убитого шофера, перетащив его вправо, и, дав полный газ, выскочил из-под носа окруживших эмку фашистов.

...Измученные, грязные, усталые, добрались мы до Севастополя. Горячо и приветливо сияло солнышко, густо синели бухты, призывающими кричали чайки, рисуя на синем небе белоснежные зигзаги. Не хотелось верить, что враг завершил окружение города и стоит под его неприменимыми стенами.

На первый взгляд, в городе ничего не изменилось — те же улицы, площади, набережные. Но, приглядевшись, мы вдруг ощутили разительную перемену. Она была в настроении и облике людей на улицах, в лицах военных моряков, в походке женщин и стариков, в играх детворы во время школьных перемен. Суровая сосредоточенность — как складка между бровей.

Тотлебен, Исторический бульвар с Панорамой, старые, видавшие виды, заросшие травой и мхом бастионы и форты снова разбужены звяканьем кирок и лопат.

Рядом с красноармейцами и моряками женщины и старики сооружают из тяжелых бревен прочные блиндажи, пулеметные и минометные гнезда, пробивают в каменистом грунте траншеи.

Строгими рядами проходит мимо Панорамы отряд морской пехоты. Гулкие шаги раскатистым эхом откликаются по всему парку, и в ритме марша плывет над городом: «Наверх вы, товарищи!..»

С вершины Малахова кургана видны стоящие в порту корабли. Сходят на берег по трапам войска, выгружаются танки, артиллерия, боеприпасы. Морская пехота, заполнившая порт, быстро растекается по улицам и направляется на оборонительные позиции. Небо звенит от рокота барражи-

рующих над Севастополем и заливом наших истребителей. У памятника Тотлебену расположились бойцы. Они чистят оружие, приводят себя в порядок после тяжелых боев под Ишунью. По Нахимовскому движется тяжелая артиллерия и с лязгом ползут танки. На Графской у бронзового монумента Ленину в часы передач сообщений Совинформбюро регулярно собираются толпы горожан.

И вдруг обрушивается и повисает над городом воздушная тревога. Короткие отрывистые гудки с Корабельной стороны. Это Морзавод предупреждает жителей Севастополя, что на подступах к городу вражеские самолеты. «Воздушная тревога!» — вторит ему радио. Эти полные грозной опасности слова как ураган сметают с площадей и улиц все живое. А издали уже доносится нарастающий гул зенитных залпов. Он все ближе и ближе, и вот уже весь город заполнен звуковой лавиной зенитного лая. Черные каракулевые стада разрывов заполняют небо.

Немецкие бомбардировщики стали наведываться все чаще и надоедливее, и вскоре Севастополь научился встречать их достойно. Все чаще и чаще траурные шлейфы стали сопровождать непрошенных посетителей до самого синего моря, и белый всплеск воды, как знак возмездия, ставил в их судьбе последнюю точку...

...Ночь черная, непроглядная, пропитанная запахом моря. Разноцветной стеной вырастает и тянется к звездам тонкими трассами пуль и снарядов заградительный огонь. Один за другим зажигаются десятки прожекторов... Будто невидимые руки в страшном гневе выхватывали из ножен голубые мечи и начинали рубить ими направо и налево. Гладь залива полностью дублировала ночное представление. Вдруг в одном из их лучей здимо возникает светлая точка. Мгновенно многие другие лучи пересекаются на ней. Обнаруженный «юнкерс» увиливает, стремясь нырнуть в спасительную темноту, но он схвачен крепко. Стихает зенитный шквал, и где-то в черной высоте возникает рокот наших истребителей. Они надвигаются, невидимые, на ярко освещенную в перекрестье лучей цель. Веером рассыпались красные и зеленые трассы пулеметного огня, и через несколько секунд вражеский самолет вспыхивает. Лучи прожекторов плавно склоняются к морю, не выпуская самолет, провожают его до последнего всплеска волны.

Наступает рассвет. Порозовевшую гладь залива рассекают стремительные торпедные катера. Они унеслись на дозорную вахту в заданный квадрат моря. За ними уходят траль-

щики — надо выловить из залива сброшенные за ночь немецкие мины.

Тяжелой поступью шло время — час за часом, день за днем, — оставляя глубокий след — раны на теле города. События нарастили медленно, грозно, и каждое «сегодня» было не похоже на «вчера». Каждый день был насыщен войной настолько, что казалось: одним выстрелом больше — и все рухнет, взорвется, не выдержит такого напряжения. Но день уходил в затемнение ночи, и все тот же неудержано нарастающий темп битвы рос и закалял в своем пламени характеры, мужество и волю людей, и они в кипении этого страшного котла обретали новые качества, невиданные доселе.

И какое бы ни было трудное время, какие бы ни приходили мысли — тревожные, горькие, тяжелые, печальные, — с одной мыслью никто не мирился — мыслью о том, что когда-нибудь немцы будут расхаживать по Севастополю.

Нас беспокоило лишь одно — как переправить снятую кинофильмку в целости и сохранности на Большую землю. Доверить кому-либо мы боялись, самим вывозить — совесть не позволяла покидать город в трудное для него время. Но ведь героическую оборону Севастополя хотели видеть на экране миллионы людей.

Город, повторяю, круглосуточно подвергался бомбежкам и налетам истребительной авиации. Связь с Большой землей поддерживалась редко и только в ночное время, да и то с большим риском: за короткое время было потоплено много пассажирских и грузовых судов.

На завтра уходил небольшой караван. Другой оказии скоро не предвиделось.

Спор, кому везти на Большую землю отснятую кинофильмку, больше подходил мальчишкам, нежели нам, «солидным» морским командирам, военным кинооператорам. Но так как никто из нас не хотел и на неделю покинуть осажденный город, то мы потеряли много времени в безрезультатной перепалке, повторявшейся по несколько раз в день. Последний разговор тоже ничем не кончился, тем более что началась бомбейка, мы оба поехали снимать и... сгоряча въехали прямо на газике в зону налета.

— Хиба бильше мандаринки ковтнулы, чи шо? — ворчал наш новый шофер Петр Прокопенко, намекая на то, что за неимением водки защитникам города выдавали мандариновый спирт. — Зализы у самэ пэкло... Ще тике начало, а воны сами у гроб лизутъ... Нейцикавейший цирк будэ потим, хлонды-охвицеры...

Офицерами тогда еще никого не называли, называли командирами до 1943 года, но Петро почему-то величал нас так, и мы тогда не задумывались почему, просто воспринимали тирады балагура-водителя как шутку.

Мы вернулись в гостиницу, довольные удачной съемкой и тем, что все благополучно обошлось. Глупостей было решено больше не делать, голову не терять, «в пэкло не лизть»...

Но вопрос с отправкой пленки остался открытым. Назревал очередной спор. А решение нужно было принять сегодня во что бы то ни стало.

— Кстати, эта поездка не менее почетна, чем работа в обороне, — вдруг заявил Рымарев и широко заулыбался, сверкая очками.

— Так, может, ты добровольно согласишься выполнить эту почетную миссию?

— Нет уж, если так, давай тянуть жребий, — предложил Дмитрий.

Ему повезло... Что ж, уговор есть уговор. И мы отправились в редакцию «Красного Черноморца» ужинать.

Рано утром стало известно название судна — «Чапаев». Тщательно упаковали в водонепроницаемый бачок экспонированную пленку, обвязали его двумя спасательными пробковыми поясами, и я переселился на транспорт. Но прошла не одна ночь, а мы все стояли у причала в Южной бухте и с утра до ночи окучивались плотной противно-сладкой дымовой завесой. Дышать было трудно, опухли и покраснели глаза, и я на день сбежал на берег. Дмитрия на время моего отсутствия приютил мой друг бывший командир крейсера «Коминтерн» капитан 2 ранга Заруба, выделил ему каюту на крейсере «Червона Україна», которым теперь командовал. Крейсер стоял на бочке рядом с Графской пристанью.

Наконец темной осенней ночью 10 ноября 1941 года «Чапаев» отдал швартовы и взял курс на Туапсе.

На борту было много женщин и детей, раненых. Я среди них чувствовал себя прескверно. Что они могли про меня думать? Молодой, здоровый, без единой царапины. Первое время это меня угнетало, и я старался никому не показываться на глаза. На палубе было не совсем уютно: дул ледяной, с дождем и снегом, ветер, сильно штурмило. Однако эта круговорть вполне, кажется, устраивала моряков — было больше надежд пройти вражеские заслоны и избежать ударов фашистской авиации.

Действительно, наш тихоходный транспорт благополучно

добрался до Туапсе и стал на рейде. Надо было ждать более спокойной погоды, чтобы зайти в порт. Но штурм не унимался, и мы, голодные, заледенелые, все это время болтались на крутых волнах еще целые сутки.

...Дальше я ехал до Сочи на поезде, потом на попутных грузовиках до Сухуми и оттуда на морском охотнике в Поти. Там мне удалось устроиться на санитарный поезд и на нем добраться до Тбилиси.

Через сутки я был уже в Баку. Здесь меня накормили и обогрели друзья из Азеркино и помогли отправиться военным самолетом до Астрахани. Оттуда наконец удалось улететь в Куйбышев.

Только здесь я узнал, что в этот город перебрались из Москвы многие правительственные учреждения. Вот когда я по-настоящему осознал, как далеко зашли немцы и какая над нашей Родиной нависла угроза. Фашисты рядом с Москвой... Как же там мама и все мои родные? Как переносят бомбардировки? Живы ли?

В Куйбышеве, наконец, свежие газеты и последние сводки с фронтов...

Устроился я в просмотровом зале Средне-Волжского отделения кинохроники. Днем там просматривали фронтовые материалы, присланные моими коллегами с разных фронтов. Я волновался, торопил режиссера Федора Киселева, вместе с которым мы «склеивали» наши сюжеты в первый фильм о Севастополе, а по вечерам не находил себе места от тоски...

Недели две, не больше, был в работе крымский материал. Фильм назвали «Героический Севастополь». И наконец я увидел его на экране.

«Я назвал бы этот фильм волнующей повестью о доблести русских воинов, которая сильнее смерти... — писал в рецензии на фильм, опубликованной в «Правде» 20 декабря 1941 года, С. Сергеев-Ценский. — С гордым именем Севастополя связана одна из самых славных страниц в истории русского оружия. И вот прошли многие десятилетия, Севастополь снова осажден врагами. И слова камни его стали ареной героической борьбы. Поколение сменяется поколением, но вечно жива в крови русских людей беззаветная любовь к отчизне, готовность защищать ее самоотверженно, не щадя крови своей. Такой народ нельзя одолеть. Такой народ всегда выйдет победителем из самых жестоких битв.

...Этот фильм захватывает своей жизненной правдой и действует на зрителя неотразимо, делая его непосредственным участником севастопольской боевой страды».

На экране были до боли дорогие улицы и набережные города, комиссар Аввакумов, боец Костя Ряшенцев, спасший ему жизнь. Я увидел и пережил заново контратаку 1-го батальона морской пехоты, многое-многое другое, что запечатлели наши кинокамеры в сражающемся, несдающемся Севастополе.

...Год кончался первой крупной победой Красной Армии над гитлеровскими полчищами — победой в битве под Москвой. Весь мир теперь убедился в том, что советский народ и его вооруженные силы способны не только остановить гитлеровских захватчиков, но и сокрушить их.

## Часть вторая

### СЕВАСТОПОЛЬ В ОГНЕ

Моя настоятельная просьба в политуправлении ВМФ была удовлетворена — специальным приказом назначался начальник Черноморской киногруппы. Я возвращался в Севастополь не один, со мной был командирован на флот капитан Наум Борисович Левинсон. Теперь нам с Дмитрием будет несравненно легче работать. Все административные заботы с нас снимаются, Левинсон, как начальник, будет об этом заботиться.

Не теряя времени, мы выехали на аэродром. Мороз около сорока. Город засыпан снегом. Острая колючая поземка рвет с заледенелой Волги белый покров, обнажая зеленый, как бутылочное стекло, лед. Остервенелый ветер, забираясь под хлопающий брезент машины, свистит и захватывает дыхание.

— Я бы на месте летчика в такую погоду не полетел, — сказал я Левинсону, растирая ладонями замерзшие уши.

— А если приказ? — отозвался мой спутник, глядя с участием на меня и мое далеко не зимнее обмундирование. Он был в теплой шинели и валенках, его руки согревали шерстяные варежки, а на голове была добротная меховая ушанка. — Кстати, скажите по совести, вы так легко одеты ради морского форса или это у вас так заведено на флоте — закаляться на мороз?

— Внимание! Внимание! Сегодня полеты по всем направлениям отменяются! Справляться у диспетчера с восьми утра!.. — громко захрипели динамики.

Мы вошли в тускло освещенный, холодный и неуютный зал.

— Куда же теперь деваться? Может быть, поедем обратно в Куйбышев? — спросил Левинсон.

— Нет уж, будем сидеть здесь до победного...

...Три бесконечно длинные ночи пытались мы согреться, прижимаясь друг к другу и стучая зубами на ледяных стульях зала ожидания. «Зал замерзания» — так окрестил его капитан Левинсон.

— Внимание! Внимание! Сегодня полеты по всем направлениям отменены.

— Микоша! Скорей бери вещи и за мной! — крикнул Левинсон, схватил свой рюкзак и кинулся на выход.

Бежать пришлось далеко — километра два через весь застывший аэродром. Впереди, в начале взлетной полосы, проглядывался обвеваемый низкой метелью тяжелый бомбардировщик ТБ-3 с работающими двигателями.

Я уже не помню, как мы очутились внутри самолета. Пока отдохнули, он с ревом тяжело оторвался от земли.

Мы расположились на длинном снарядном ящике. Приютившись к полу, я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, оглянулся и не поверил глазам: неподалеку сидели на железных ящиках с кинопленкой мои друзья-кинооператоры М. А. Трояновский и С. Я. Коган, которых я не сумел отыскать в осажденной Одессе.

Мы бросились друг к другу, обнялись, не находя слов от неожиданности и удивления.

— Поразительно! Ты откуда и куда? Мы в Одессе с ног сбились, тебя разыскивая, — с необычным для него волнением удивлялся Марк.

— Ведь рядом совсем были... А тут как из-под земли вырос... — Коган держал меня за руки, будто боясь, что я так же внезапно исчезну, как и появился.

— Посылку привозил вам в Одессу... Обидно! Пришлось самому съесть. Вкусные там вещи были. Но все это ерунда! Главное, живы-здоровы! Теперь куда? К нам, в Севастополь?

— Нет, мы на Южный фронт. Хочешь с нами? Я теперь начальник фронтовой киногруппы, могу официально оформить, — предложил Трояновский, растирая окоченевшие руки.

— Куда мне от Севастополя? Нет уж...

Я представил друзьям Левинсона, но оказалось, что они давно знакомы. И началось: «А где?.. А что?.. А как?.. А почему?..»

Холод в самолете был зверский. Когана и Трояновского это не заботило: они были одеты, как полярные летчики, в меховые шапки и унты.

— Ну-ка, снимай свои ботиночки, — велел мне Трояновский. — Только пижоны да сумасшедшие могут позволить себе роскошь летать при сорокаградусном морозе в

шиблятах, и уши разотри, а то уже белеть начали! — Он протянул мне свои унты, и я споро сунул в них окоченевшие ноги.

Так попеременно и отогревались.

— Первая посадка в Саратове, потом в Сталинграде! — крикнул мне Коган. — У тебя там есть кто-нибудь?

— Не знаю... В Саратове я родился...

— Если будем ночевать, покажешь свой город... Лучше Москвы?

— Разве можно сравнивать? Волга, сам понимаешь, не Москва-река...

Через всю жизнь пронес я светлые воспоминания детства об этом городе. Через время и расстояния он казался мне каким-то необыкновенным. И всегда оставался самым родным. Мне часто снились маленький наш домик, тропинка, сбегающая к Волге, улицы и переулки Саратова, баржи и пароходы у волжских причалов... Все это свое, родное, кровное. Это щемящее ощущение неразрывности тебя и дорогих сердцу мест остается на всю жизнь как чувство Родины вообще. И куда бы ты ни ехал, куда бы ни шел, это кровное тянет тебя непреодолимой силой к себе, заставляет радоваться тому, что оно есть, печалиться тому, что оно далеко — за много пройденных километров, за много прожитых лет, тосковать оттого, что оно безвозвратно ушло и нет такой силы, которая могла бы все повернуть вспять. Хотя выросший и окрепший разум подсказывает: да и нужно ли...

Я перестал дрожать. Мои ноги в меховых унтах Когана отошли, а может быть, это воспоминания детства теплой волной захлестнули и согрели меня?..

...Саратов принял нас не сразу.

Несколько кругов над заснеженным городом сделали пилоты на неповоротливом ТБ-3, пока решились идти на посадку.

Кое-как приземлились на ухабистом поле, с жестокой тряской и ощутимыми ударами об угловатые грузы в тесном фюзеляже.

— Целехоньки! Чего еще можно ждать лучшего от этого рейса? — радостно сказал Марк Трояновский, и мы поднялись со своих мест.

— Товарищи! На сегодня все! Кто имеет предписание следовать до Сталинграда, вылет завтра в восемь утра. О ночлеге позаботитесь сами... — объявил командир корабля.

Смуглый, чумазый бортмех пропустил нас к железному трапу.

— А я вас знаю, товарищ капитан третьего ранга! — широко улыбаясь, обратился ко мне механик с легким азиатским акцентом. — Вы меня, конечно, не помните! Мы с вами летели из Караганды в Алма-Ату... Мотор на Эр-пятом заикался над Балхашем, припомните? Такие случаи и хочешь — не забудешь!

Случай я помнил хорошо: тогда сердце в пятки провалилось, но все обошлось благополучно. Мотор «прочихался» и заработал нормально. Механика я, к сожалению, не помнил.

...В городе у почтамта мы расстались. Коган и Трояновский пошли давать телеграмму в Москву, а мы с Левинсоном отправились на Кировский проспект.

Я шел по родному городу, и щемящая тоска сжимала сердце. Сейчас он показался мне маленьким, приземистым. Дома и улицы, которые подавляли меня раньше величавой красотой, оказались серыми, заурядными. А я хвалился в самолете друзьям, что Саратов красивее Москвы. Что же произошло? Я вырос, а все осталось прежним? Да, тот город, который солнечным теплом согревал меня в воспоминаниях, безвозвратно ушел в прошлое. А этот суровый, холодный, со снежными завалами, крест-накрест заклеенными окнами, бедно одетыми, озабоченными людьми ничего общего не имел с «моим» Саратовом.

Мы переночевали у моих родственников и утром отправились на аэродром.

Наш гофрированный гигант, натужно ревя четырьмя моторами, еле-еле оторвался от заснеженной дорожки и, чуть провалившись над обрывом Соколовой горы, медленно поплыл над Волгой. Застывшая Волга. Зеленый остров и Пески с красным тальником поверх снега растаяли и исчезли в серебристой дымке. Я закрыл глаза, и передо мной возникла Волга в весеннем разливе. Вспомнились Зеленый остров и мама с братишкой в лодке... Все отлетело прочь — и мороз, и гул моторов, и суровая военная действительность.

— Ты что, заснул? Спать на таком морозе опасно! — Левинсон вернул меня к действительности, хлопая ладонями по спине. — Смотри! Что это?

Я взглянул в иллюминатор и увидел совсем рядом с гофрированным крылом истребитель И-16.

— Так близко от крыла, чуть не задел!

— Смотри! Он пошел на новый заход!

Хорошо было видно даже летчика: каждый раз, пролетая мимо нашего самолета, он поднимал левую руку.

— Непонятно, приветствует ли он нас или подает какой-то сигнал нашему летчику?

«Ишачок» несколько раз повторил облет, потом, пройдя над крылом бомбардировщика, отвалил в сторону. Вскоре появились пять новых истребителей. По два с каждой стороны и один поодаль.

— Как под конвоем!

— Не под конвоем, а под охраной! — веско сказал Марк Трояновский.

Через несколько минут ТБ-3 пошел на посадку прямо на снежное поле. Это был военный аэродром под Сталинградом.

В Сталинграде наши пути разошлись. Коган и Трояновский отправились на Южный фронт, а я и Левинсон на пустом санитарном поезде в тепле и уюте добрались до Туапсе. Море встретило нас свирепым штормом. В городе бушевал ледяной норд-ост. Снежные заряды стремительно неслись по пустынным улицам, и мы с трудом добрались до старшего морского начальника.

В Севастополь с каким-то заданием срочно направлялся тральщик. Вот на нем мы и получили разрешение идти. В крошечной кают-компании командир тральщика познакомил нас с журналистом из «Комсомольской правды» старшим лейтенантом Семеном Клебановым. Он направлялся в осажденный город спецкором газеты.

— Ветер свежий, слегка поболтает, но я вижу, что вы «морские волки» и вас так запросто не укачаешь, — сказал командир, не без ехидства улыбаясь, и быстро поднялся по трапу наверх.

Через минуту прозвенела боевая тревога, зазвенели моторы и тральщик, вздрогнув, стал плавно набирать скорость.

— Ну, ребятки, сейчас наподдаст. За молом такая кутерьма — кипит море, — сказал Клебанов. — Я днем был на эсминце, брал интервью у командира — посмотрел за бревкватер, и страшно стало. Кто как, а я моментально укачусь... Вот, может, лимоны помогут... — Он смущенно вынул из чемоданчика пару лимонов и почему-то покраснел, как бы заранее извиняясь за то, что с ним может быть впереди. На вид ему было лет двадцать, светлоглазый, круглолицый блондин, полноватый для своих лет, среднего роста, он как-то сразу расположил нас к себе.

Левинсон тоже волновался.

— Первый раз выходжу в море, — признался он и тоже достал из рюкзака два ярких душистых лимона.

— Знаете, друзья, уж если укачивает, то лучше торчать на берегу... — начал было я, но тут же очутился в противоположном углу кают-компании вместе с Левинсоном и его лимонами. Мы оба стояли на четвереньках. Клебанов стоял под столом.

— Ну все! Вышли за брекватер. Теперь покрепче держитесь за что успеете!

Я видел, как побледнели оба мои спутника. Они, поднявшись, крепко вцепились в ручки кресел, но это мало помогало.

— Горизонтальное положение самое лучшее, лежите и держитесь покрепче за что-нибудь.

Я с трудом поднялся в рубку. За мокрыми черными стеклами с треском билась вода. Привыкнув к темноте, я стал кое-что различать. Огромные черные волны с бледно светящимися пенными гребешками догоняли нас и обрушивали на корму тонны ледяной воды. Она с ревом катилась по палубе и со стоном разбивалась, пытаясь на стальные надстройки и зенитные орудия.

— Попутный ветер пригонит нас раньше на пару часов! — вроде бы с сожалением произнес командир корабля. — Нарушение графика в военное время — ЧП!

— Не ждут и могут принять за врага? — спросил я.

— Бывали и такие случаи!

— А если сбить ход?

— Сразу видно, что вы не моряк! Крутая волна! Ни сбавить, ни изменить курса нельзя, грохит оверкиль, да и мины на борту... — Его красивое, обветренное лицо было сосредоточено. Прищуренные глаза, подсвеченные слабым зеленым светом, будто бы пронизывали мрак за мокрым стеклом рубки. Если бы чувствительность кинопленки была такой же, как у нашего зрения! Какие бы чудеса зритель увидел на экране!

Как бы читая мои мысли, командир тральщика сказал:

— А вообще-то жаль, что вы не можете снимать в такой сложной и интересной ситуации. Отличные были бы кадры.

Он прав, командир, но — увы...

Ветер выл и ревел, рассеченный тросами, с треском рвал брезентовые чехлы на орудиях и пулеметах...

Как там внизу мои спутники? Это их первое штурмовое испытание.

Я сошел вниз к ребятам. Надо отдать им должное, все, несмотря на великие муки и страдания, не потеряли чувства юмора.

— Скоро обед? — стараясь быть веселым, спросил вдруг Левинсон, крепко держась обеими руками за ручки кресла, которое на шарнире делало крутые повороты влево и вправо.

— Обед? Ночью?

— Мы очень проголодались!

Не выдержав такого мучительного диалога, старший лейтенант Клебанов вастонал и порывисто отвернулся к стенке.

— А как же лимоны?

Левинсон безнадежно махнул рукой.

...Когда на рассвете мы вошли в Камышовую бухту, по акварельно-розовому небосклону ворчливым громом катилась глухая канонада. Меня охватило волнение.

Эхо повторило четкую дробь пулемета. Мы пересели на катер, и он помчал нас в Севастополь. Качка прекратилась, но мы все продолжали чувствовать ее и, измученные, нетерпеливо ждали, когда же ступим на устойчивую землю.

Из-за мыса показались сначала черные столбы дыма, а за Константиновским равелином — Севастополь, наполовину задымленный пожарами. По правому борту проплыла колonna с распластанным над ней орлом, и вот и Графская пристань. Я ждал появления крейсера «Червона Україна».

— Смотрите! Здесь на крейсере в двенадцатой каюте живет мой друг оператор Рымарев. Я вас познакомлю. Упрям и прямолинеен, в беде незаменимый товарищ... Странно! Где же «Червонка»?

— На дне, товарищ капитан третьего ранга, — сказал стоявший у штурвала мичман.

— Быть не может!

— Может... прямое попадание... Сейчас увидите сами.

На месте стоянки «Червоной Україны» вилась крикливая стайка белых чаек. Они взлетали и садились на торчавшие из воды покосившиеся мачты.

— Вот все, что осталось на поверхности! — грустно произнес мичман и снял фуражку.

Мы последовали его примеру. Но что с Рымаревым? Ведь он, может быть, тоже...

Впереди Минная пристань. Скорее на берег. Как медленно идет катер... Скорее бы узнать о судьбе друга. Наконец мы выпрыгнули на пирс. Я как одержимый бросился в редакцию флотской газеты «Красный Черноморец» и... на пороге встретил Дмитрия. Он шел мне навстречу живой, невредимый. Трудно было передать словами нашу радость... Впервые в жизни мы увидели друг друга, говоря по-операторски, не в фокусе. Подошли мои спутники.

— Знакомьтесь — Дмитрий Георгиевич Рымарев! В натуральном виде, а не на дне, в двенадцатой каюте...

— А мы уже знакомы! Микоша сотворил из вас кумира, осталось воздвигнуть монумент возле Графской пристани, — сказал, переводя дыхание от быстрой ходьбы, Клебанов.

На противоположном берегу Южной бухты, на Корабелке, тревожно завыл гудками Морзавод. Не прошло и трех минут, как стая «юнкерсов», выскочив из-за туч, внезапно спикировала на ангары морской авиации на Северной стороне. Тяжко вздрагивала земля, звонко, как бы с двойным прихлопом бича, рвались бомбы, вынося высоко к синеве вместе с грязным дымом доски, железные балки, куски жести и блестевшие на солнце листы дюраля. Прохладный утренний воздух откатывал грохот в даль, и он таял за Инкерманом, Балаклавой.

— Товарищ капитан! — с профессиональным нетерпением обратился к Дмитрию Клебанов. — Расскажите, как все это случилось, — это интересно не только нам. Пожалуйста, поподробнее для «Комсомольской правды».

— Что рассказывать? — отмахнулся Рымарев. — Рассказывать — это вы, корреспонденты, мастера...

— И то больше со слов других, — рассмеялся Левинсон.

— Это уж, простите, не к нам, не к нам! — обиженно отпарировал Клебанов.

— Ты помнишь? — начал Дмитрий, повернувшись ко мне. — Десятого отвалил от пирса «Чапаев», и я остался на крейсере. Ровно через два дня — двенадцатого ноября, заметьте, в двенадцать часов дня появилось двенадцать «юнкерсов». Они сбросили свой груз недалеко от нас. Я занял удобную позицию на кормовом мостике и снимал работу зенитных батарей...

— Как вы себя чувствовали в этот момент? Ваши переживания? Это для газеты очень важно... — вмешался Клебанов.

— Если будете перебивать... Все равно о моих личных переживаниях газета не напечатает. Потому что мне, просто-му смертному, было так страшно, что сердце заледенело. А в нашей прессе, если не ошибаюсь, современный герой должен быть железобетонным — ничего не бояться: ни смерти, ни бога, ни дьявола. Какие уж там у него могут быть переживания...

— Это было до войны, а теперь важно раскрыть внутреннее психологическое состояние героя в момент свершения подвига.

— Тогда вы не по адресу... — блеснул улыбкой Димка. — Я не герой, просто старался, как мог, исполнить свой долг. Как всегда, преодолевая страх — умирать-то никому неохота, — я все же надеялся, что все кончится хорошо. Но тут мною овладело беспокойство. Я даже не слышал разрывов. В небо снова взметнулись высокие споны воды, и меня швырнуло в сторону. Больно ударился боком обо что-то... Короче, одна бомба метрах в восьми от меня угодила в палубу, пробила ее и разорвалась в машинном отделении. Крейсер был смертельно ранен и на рассвете затонул... Вот, кажется, и все...

Наши новые друзья сидели молча. Клебанов уже ничего не записывал в свой блокнот. Впрочем, он все равно ничего не смог бы использовать для газеты. Время было суровое, тяжелое, и такой материал, как гибель корабля, можно было только положить в архив, до лучших времен.

Для меня рассказ друга означал, что восстановилась длинная цепь нашей военной жизни, прерванная ненадолго, что я опять на своем месте, там, где я должен быть и где я только и могу сейчас быть... И я опять остро и полно ощутил свою близость и свое родство с этим клочком земли.

Я опять был на своем месте.

Я опять был в Севастополе.

— Где же ты теперь живешь?

— Как видишь, — Дмитрий показал никелированный ключик с выбитой на ушке цифрой «12», — числюсь в каюте на крейсере, а он на дне Южной бухты...

— Брось шутки шутить! Нам с Левинсоном тоже пора уже на якорь становиться... Где ты ночуешь?

— Пока здесь, в редакции. Но это временно. Занимаю койку уехавшего в командировку писателя Ряховского.

— Может быть, в гостинице обоснуемся?

В гостинице «Северной» на Нахимовском мы прекрасно устроились — она была совершенно пустой. Вскоре к нам присоединились писатели Леонид Соболев, Борис Войтехов, Петр Сажин, Леонид Соловьев, Лазарь Лагин, поэт Сергей Алымов, композиторы Мокроусов, Слонов, Макаров, Чаплыгин, художники Решетников, Сойфертис, Дорохов. Гостиница стала как бы штаб-квартирой одетых в военную форму представителей культуры и искусства.

С Федором Решетниковым мы встречались до войны на Челюскинской эпопее. Я был в спасательной экспедиции, а он в лагере Отто Юльевича Шмидта. Был он тогда мастером на все руки — руководил физзарядкой, струнным оркестром, регулярно выпускал стенгазету и был незаменим в поддер-

жании бодрого, веселого настроения в лагере, хотя числился всего-навсего библиотекарем. В прошлом Решетников был беспризорником и к Шмидту попал «зайцем». На судне в одной из экспедиций его обнаружили в бункере с углем далеко от родных берегов. С тех пор он и не расставался с Отто Юльевичем Шмидтом и участвовал во всех его арктических походах. С друзьями художника Костей Дороховым и Леонидом Сойфертисом мы очень подружились и часто выходили на «охоту» вместе — я с камерой, Решетников с мольбертом, а Сойфертис с блокнотом.

Когда наступал вечер, снимать и рисовать становилось невозможным, мы собирались вместе. Делились впечатлениями, рассказывали эпизоды, свидетелями которых были на передовой и в городе, и слушали новые песни своих друзей — композиторов Чаплыгина, Мокроусова и неразлучных, всегда веселых приятелей Слонова и Макарова.

Не было недостатка у нас и в поэзии. Веселый, остроумный, не унывающий никогда поэт Ян Сашин, маленький, кругленький поэт Лев Длигач и сухопарый, высокий Сергей Алымов были нашими любимцами. Собираясь вместе у кого-нибудь в номере, мы переставали обращать внимание на тревоги и бомбежки и верили каждый в свою, только ему предназначенную, участь.

— От судьбы не уйдешь! Кому быть повешенным — не утонет! — мрачно, без улыбки говорил Сергей Алымов и махал рукой на звеневшее от бомбейки окно. С ним мне было хорошо. Он все время думал о чем-то своем, иногда грустновато, сосредоточенно, иногда легко и с иронической улыбкой. Сергей был намного старше меня, в Севастополе мы отметили его пятидесятилетие. С ним все чувствовали себя удивительно хорошо и спокойно. Весь он был какой-то свой — простой и близкий. Алымов великолепно знал и понимал человеческую душу, прежде всего флотскую, и моряки любили его, тянулись к нему, несмотря на внешнюю сухость и мрачность поэта. Стихи он свои читал мастерски. Простые и незатейливые, тогда они были особенно понятны и дороги всем нам.

Так стабилизировалась наша жизнь в осажденном городе.

После первого штурма врага, порядком его измотавшего, севастопольцы обрели уверенность в себе и почувствовали свою силу.

Получив подкрепление, фашисты снова ринулись на осажденный город. Началось второе наступление врага на Севастополь.

Каждый из нас продолжал с еще большим рвением делать свое скромное дело. Трудились мы много, работать было интересно, рядом были увлеченные, умные товарищи и преданные друзья.

После утомительной и довольно рискованной съемки на Северной стороне — немцы бомбили батарею комбата капитана Матушенко — мы на катере вернулись с Рымаревым на Графскую пристань. Перед лестницей стоял, опираясь на костили, раненый краснофлотец. Мы с Дмитрием стали помогать ему подняться по лестнице.

— А вы меня не помните? Я тогда был еще на двух ногах...

Наступила неловкая пауза, мы переглянулись, но так и не могли вспомнить моряка.

— Деревню Ассы и первый батальон морской пехоты помните? Комиссара Аввакумова и автоматчика Ряшенцева знаете?

— Да, да, помним — как же! — в один голос ответили мы. — А где они? Живы?

— Раненого комиссара на той неделе эвакуировали на Большую землю, а контуженный Ряшенцев пока ждет очереди. Нас вместе должны отправить на Кавказ...

Мы попрощались, и моряк, передохнув, заковылял к Дому флота.

— Слушай, Дима! Давай разыщем Ряшенцева и, если он не очень сильно контужен, попросим у начальства приписать его как ассистента в нашу киногруппу.

— Я думал о том же, — поддержал меня Рымарев.

Костю разыскать было не так легко. Но совершенно случайно, зайдя в фотолабораторию при Доме офицеров, мы выяснили, что он временно исполняет обязанности фотокора. Когда мы вошли в маленькую фотолабораторию, Ряшенцев забурчал недовольно:

— Ну кого там носит?! Это ты, Хряпкин? Сколько раз тебя просил стучать сначала...

— Не шуми, Костя! Не засветим мы твои уникальные кадры! Лучше постараися узнать, на кого шумишь.

Красный свет блеснул в очках Дмитрия. Ряшенцев стушевался, но нас не узнавал.

— Только через несколько минут могу зажечь свет, извините! Придется подождать! — оправдывался он.

— Товарищ Ряшенцев! Расскажите, как вам удалось прорваться из окружения под Сивашом? — задал вопрос Рымарев, и Костя направил свет красной лампочки ему в лицо.

— Это вы?! Не может быть! А я уж думал, что нам больше не свидеться! — Он ожесточенно качал ванночку, расплескивая проявитель. — Еле выскочили, знаете, из котла. Наутро после того, как вы от нас ушли... Прав был комиссар, что настоял на вашем уходе... Фашисты прижали нас к Сивашу и добивали минами. Только когда стемнело, мы пошли через Гнилое озеро... Надеялись наутро соединиться с нашими — приморцами, но наступило утро, а встречи не произошло. Измученные, голодные, до вечера отлеживались в густом винограднике и с наступлением темноты двинулись в Севастополь. Немцы были рядом, всюду мы слышали их. Мы обошли Симферополь — там уже были фашисты — и решили пробиваться через горы к морю. С горем пополам дошли. Ведь гитлеровцы наступали нам на пятки...

Ряшенцев рассказал, что в Севастополе его приписали к 7-й морской бригаде полковника Жидилова. Под Итальянским кладбищем Костю тяжело контузило. Узнав в медсанбате от медсестры, что его могут эвакуировать, Ряшенцев сбежал оттуда на передовую, получил взыскание, и вот теперь его держали здесь...

— Послезавтра — прощай, Севастополь! — сокрушался моряк. — Попробую снова сбежать...

— Теперь не сбежишь, от нас никуда не денешься! — Я протянул ему документ — выписку из распоряжения политуправления флота об откомандировании главстаршины Ряшенцева в распоряжение начальника военно-морской киногруппы капитана Н. Б. Левинсона.

Костя зажег верхний свет и стал читать предписание.

— Итак, ваша мечта остаться в Севастополе сбылась! Вы довольны, товарищ Ряшенцев?

Так мы заполучили еще одного друга.

«Внимание! Зона поражения! — проезд закрыт!» — гласила написанная от руки на фанере надпись.

— О це раз! Куды ж нам подаваться?! — Петро Прокопенко, как две капли воды похожий на нашего старого знакомого Чумака и обличьем и украинским говорком, затормозил газик и стал оглядываться по сторонам, ища объезд.

— Поедем, Петро, нам всюду можно! На съемку ведь торопимся!

Но на вокзальной площади нас остановил комсомольский патруль.

— Стоп! Проезд закрыт! Разве вы не видели запретного предупреждения? — Маленькая смешливая девчушка с

красной повязкой на рукаве преградила нам дорогу. — Там у школы тонная бомба! Разминируют... Поняли?

— Хиба ж це дило? — заворчал шофер.

В эту минуту к патрулю подкатила черная эмка. Из нее вышел высокий энергичный человек в кожанке и серой кепке.

— Что тут у вас случилось?

По нашей аппаратуре нетрудно было определить, кто мы.

— Пропустите! Это наши кинооператоры. Вас, паверное, Антонина Алексеевна предупредила?

Мы с Рымаревым переглянулись, ничего не понимая.

— Будем знакомы! Борисов, секретарь городского комитета партии.

О Борисе Алексеевиче мы много слышали, но встретиться с ним нам никак не удавалось. В горкоме его застать можно было разве только ночью.

Когда мы подъехали к школе, к нам подошла Антонина Алексеевна Сарина, второй секретарь горкома ВКП(б). С ней мы были хорошо знакомы.

— Искали, искали их, а они сами объявились, — сказала она, протягивая нам руку.

— Профессиональное чутье! — улыбнулся Рымарев.

Под самой стеной школы зияла глубокая траншея. Комсомольцы под руководством двух саперов готовились зацепить огромное тело бомбы. Ее немного деформированный стабилизатор приковывал взгляд, как палочка гипнотизера.

— А что, если рванет? — спросил Рымарев, пристраиваясь для съемки к навесному крану с талями.

— Ерунда. Легкими ушибами отделаемся, — мрачно пошутил мичман-минер, спокойно продолжая свое дело.

Все окончилось благополучно. Бомбу погрузили и подорвали в безопасном месте за городом.

После этой неожиданной встречи с Б. А. Борисовым мы виделись с ним регулярно. Он оказался простым, душевным человеком. Создавалось впечатление, что в Севастополе нет ни одного жителя или военного, который бы его не знал. А он знал людей, их нужды и чаяния, умел простым теплым словом успокоить, поддержать любого, вселить в него бодрость и уверенность. Каждый раз после встречи с ним мы уходили в горящий город на съемки с новым запасом энергии, сил и оптимизма, которые были так необходимы в то время.

— Ребята, снимите школьников Севастополя, учебу под землей, — говорил он, — чтобы в мирные дни не забыли, в

какое время учились, в каком городе живут... Восстановительные работы тоже надо бы запечатлеть...

Мы докладывали ему о своих делах:

— Вчера снимали батарею Матушенко на фоне Константиновского равелина. Две героические эпопеи соединились в одном кадре — 1854 и 1942 годы...

Для нас это был просто удачный кадр, а Борисов воспринял это по-своему, глубже и интереснее.

— Да, это мысль... — сказал он. — Вот ведь какая штука — история. Она, как видите, повторяется... И здорово, что вы нашли воплощение этой мысли, простое и лаконичное...

— Как и где обнаружить и снять Сашу Багрия и Надю Краевую? — обращались мы к Борисову за помощью. — Помогите нам — их днем с огнем не сыщешь.

Багрий был первым секретарем горкома комсомола, а Надя с октября стала секретарем Северного райкома. Борис Алексеевич обещал нам посодействовать.

...Зима принесла в Севастополь суровую, морозную погоду. Над городом бушевала пурга. Ветер, завывая в руинах, гнал по улицам, заваленным обломками зданий, колющущую метель, грохотал кусками обгорелой жести.

Суровым, тяжелым было положение осажденного города. 15 декабря Гитлер отдал приказ о «последнем большом наступлении...»

Севастополь был фронтом. Ни один уцелевший дом, ни один клочок земли не был в безопасности. Люди ушли в убежища. Под землю ушли и предприятия, школы, магазины. Снимать становилось все труднее и труднее. Даже на передовую мы уходили вроде бы для передышки: там все, по крайней мере, было на виду — впереди враг, позади своя земля. А в городе того и гляди завалит тебя рухнувший дом.

Больше всего нас утомлял беспорядочный артиллерийский обстрел города. Все время нужно было быть в напряженном внимании к вою снарядов и, в зависимости от силы звучания, успеть вовремя распластаться на ледяном крошеве битого кирпича. От бомбежек было спасаться легче — они не так неожиданны.

17 декабря враг начал очередной штурм Севастополя. На направлении главного удара он имел в силах двойное, а в технике абсолютное превосходство. В районе Мекензиевых гор гитлеровцам удалось с большими потерями прорваться к шоссе и железной дороге. Отдельными группами фашисты появились даже на Братском кладбище и на Северной стороне. Наши резервы были исчерпаны, но в последний, кри-

тический момент, 21 декабря, прорвав морскую блокаду, в Севастополь пришли корабли с подкреплением.

79-я морская стрелковая бригада полковника А. С. Потапова прямо с кораблей пошла в бой, и 22 декабря прорвавшийся к Северной бухте враг был отброшен, а спустя два дня контратака прибывшей из Туапсе 345-й стрелковой дивизии подполковника Н. О. Гузя остановила наступление фашистов на Мекензиевы горы.

Работы у нас было много. Только успевай поворачиваться. При всяком удобном случае мы заглядывали на батарею капитана М. В. Матушенко, вели ее кинолетопись и, бывали случаи, пользовались исключительным гостеприимством комбата. В глубоком каземате нам удавалось иногда не только передохнуть в полной безопасности, но и вкусно побывать, а это в тяжелых условиях обороны было большой редкостью.

На батарее мы узнали только что разнесшуюся по фронту весть: в дзоте № 11, отбитом у немцев, нашли тела нескольких краснофлотцев, оборонявшихся под командой старшины 2-й статьи Сергея Раенко. Гарнизон дзота в составе Раенко, Калюжного, Погорелова, Доли, Мудрика, Радченко, Четвертакова в районе деревни Дальняя (Камышлы) на направлении главного удара врага трое суток отбивал его атаки. К дзоту с боеприпасами прорвались политрук Потапенко, краснофлотцы Корж, Король и Глазырин.

Врагу удалось захватить дзот только тогда, когда все его защитники погибли. В живых остался один Глазырин. Ночью, прихватив с собой ручной пулемет, он приполз на командный пункт части. Дзот пал 20 декабря. А когда его снова отбили, в противогазной сумке Калюжного нашли записку: «...Родина моя! Земля Русская! Я, сын Ленинского комсомола, его воспитанник, дрался так, как подсказали мне сердце. Был гадов, пока в груди билось сердце. Я умираю, но знаю, что мы победим. Моряки-черноморцы! Деритесь крепче, уничтожайте фашистских бешеных собак! Клятву воина я сдержал. Калюжный...»

Записку Калюжного Матушенко прочел нам из своего блокнота, о ней уже знали все на флоте и в обороне города.

— Да, — спохватился комбат. — Вас разыскивает Борисов, сейчас звонили из горкома. Я задержал катер, он ждет у причала.

Когда с катера мы пересели в свой газик и Петро погнал его к горкому, мы с Рымаревым рассказали водителю про дзот № 11 и записку краснофлотца Калюжного.

— Оде люди так люди! — воскликнул Петро. В его устах, насколько мы знали, это была самая высокая оценка.

Встретившись с Б. А. Борисовым, я прежде всего спросил:

— Про одиннадцатый двот знаете?

— Знаю. Знал еще тогда, когда ребята его оброняли.

— А почему же нам не сказали?

— Ладно, ладно! Вы нам живыми нужны!.. Вас ведь воин всего: раз-два и обчелся... Да и пленка все равно бы пропала.

— Тогда вот о чем скажите, — не унимался Дмитрий. — Неужели мы с такими ребятами не отогнали бы фашистов к чертовой матери от Севастополя? Ведь сердце кровью обливается... А нам так немного надо. Ну еще бы пару дивизий...

Борисов молча подошел к карте:

— Вот, смотрите...

В комнату кто-то заглянул.

— Мы тебя ждем, Борис Алексеевич, — позвал его председатель горисполкома В. П. Ефремов.

— Начинайте. Я сейчас подойду.

Он положил руку туда, куда сходились тонкие линии всех железных дорог, — на Москву.

— Четырнадцатого декабря освободили Ясную Поляну, пятнадцатого — Клин и Истру, шестнадцатого — Калинин, — сказал Борисов. — Цель нашего контрнаступления под Москвой — разгромить ударные группировки врага, угрожающие столице с северо- и юго-запада. Как вы считаете, это важно?

Мы пожали плечами: какой же может быть разговор.

— Восьмого декабря, — продолжал Борис Алексеевич, — освобожден Тихвин, и сейчас борьба идет на подступах к Ленинграду. А вы знаете, что сейчас едят ленинградцы?

Тогда мы этого не знали, как не знали и многое другое,

— Так вот, они едят суп из отработанных кожаных деталей станков, приводных ремней и прокладок. Как вы думаете, сколько может держаться город в таком положении?

Мы молчали.

— И вообще, подумайте, что на данном этапе важнее. А то рассуждаете, как мальчишки, — сказал секретарь. — А теперь вот что: у нас сейчас на исполкоме будет стоять вопрос о новогодних елках.

Мы недоуменно переглянулись.

— Это очень важно, — как бы не замечая нашего недоумения, спокойно говорил Борисов. — И нужно это не только детям, но и взрослым... К сожалению, это не наша

мысль, а постановление ВЦСПС... Елка — это вера в жизнь, в будущее. Ну, на этот раз понятно? Вот мы и хотели, чтобы вы все это сняли...

Мы уходили от Борисова удрученные — снять это было невозможно. У нас не было достаточно света, и все, что происходило ночью или в помещении, для нас пропадало.

А Новый год удался. Елки (вернее, сосны — елок не было) в ночной вылазке под самым носом врага достали моряки полковника Горпищенко. Там не обошлось без приключений: смельчаки «сняли» 8 вражеских автоматчиков, да еще и «языка» привели. Если бы это было днем — какой бы у нас был материал!

Старый год уходил, и к концу его все атаки немцев на Севастополь были отбиты.

У врага отбили Керчь и Феодосию.

Начинался новый, 1942 год...

— Сводка все та же! — сказал пришедший из штаба Н. Б. Левинсон. — Завтра до рассвета надо пробраться к полковнику Жидилову. Под Итальянским кладбищем на Федюхиных высотах его КП. Где Петро? Дорога на Ялту под Сапун-горой простреливается. Немцы по ночам бьют вслепую, стараясь блокировать подвоз боеприпасов в расположение седьмой бригады. Днем этот участок дороги простреливается прицельным огнем. Нам рекомендовано пробираться туда до рассвета.

Наум Борисович замолчал, ожидая нашего ответа.

Дима лежал на постели с закрытыми глазами, но не спал. За окном на Мичманском бульваре застучил зенитный крупнокалиберный пулемет. Вошел Прокопенко и, прислонившись к дверному косяку, замер. Наступила тишина.

— Ну, что молчите? Дима, брось притворяться спящим!

...За час до рассвета мы были уже на Сапун-горе. Каким чутьем Петро угадывал дорогу, понять было невозможно.

— Охвицеры, тримайсь! Зараз будэмо юхаты пид гору. Хиба ж я знаю, шо там? Может, хрицы дорогу пошкрабалы...

Внизу в черном провале изредка сверкали взрывы снарядов, и тишину разрывал сухой и резкий треск. Периодические вспышки орудийного огня и мертвый дрожащий всплеск немецких ракет освещали нам короткие отрезки пути. Петро катил нас с Сапун-горы.

— Смотрите в оба! Только не прозевайте съезда с шоссе влево. А то прямиком к немцам угодим, — беспокоился Левинсон.

Петро остановил газик, выключил мотор и прислушался. Вдали тяжело работал мотор перегруженной машины.

— Треба трошки помацаты дорогу, — сказал Прокопенко и, сойдя с машины, ушел вперед. Его тяжелые шаги простирались кирзовыми сапогами по асфальту и замерли в темноте.

— Поколупали сашейку, гады, — раздался из темноты голос шофера.

Яркие звезды делали ночь еще непрогляднее, темнота прятала все. Только пулеметные строчки иногда прошивали трассой землю, а взрывы снарядов ставили светлые точки.

Петро вернулся, и мы осторожно двинулись дальше, но вскоре свернули на грунтовую избитую дорогу. Недалеко сверкнул взрыв, за ним другой, еще ближе.

— Днем хоть видно, как накроет, а тут ахнет по глазам светом — и все с этим вопросом, — тихо произнес Левинсон.

На востоке проступил еле заметный силуэт горы.

— Итальянское кладбище. Начинает светать. Успеть бы, пока темно...

— Теперь успеем. Еще километр, и все. Будем на Федюхиных высотах. Там оставим Петра с гавиком, а сами поднимемся на КП Жидилова.

Рассвет застал нас на подъеме в гору. Ночь быстро бледнела. Гасли звезды, и край неба заливался морозным румянцем. Когда до гребня было рукой подать, стало совсем светло.

— Стой, кто идет?! — негромко крикнул выросший как из-под земли боец с автоматом на изготовку. В его распахнутом вороте проглядывала полинявшая тельняшка. Вместе с красноармейцем мы нырнули в ход сообщения, отправились на гребень горы и вскоре попали в узкую траншею с пулеметными гнездами, которая крутыми зигзагами извидалась во всю длину гребня.

Стало совсем светло. Мы пробирались мимо прикорнувших, закутанных в плащ-палатки полусонных бойцов. Некоторые, проснувшись, потягивались, разминая застывшее от холода тело.

— Какого каторжного труда стоила эта траншея... Смотри! Почти скальный грунт, — шепнул мне Дмитрий.

Из желтой сухой глины повсюду торчали острые аубы известняка. Кое-где в выбитых «печурками» нишах лежали, поблескивая золотыми буквами, бескозырки.

— Обратил внимание на имена кораблей? — спросил Левинсон.

— Да! «Москва», «Красный Крым», «Незаможник», «Бойкий»...

Мы тихо пробирались дальше. Траншею изредка перекрывали деревянные, покрытые землей настилы. Здесь, плотно прижавшись друг к другу, спали матросы — группами по несколько человек...

Как на корабле — тельняшки, бескозырки, ленточки...

Я шел позади Левинсона, мне на пятки наступал Рыма-рев. Левая рука онемела от потяжелевшей кинокамеры.

— Товарищи командиры, подождите здесь, — сказал наш сопровождающий и нырнул в темную нишу блиндажа. Мы очутились на небольшой полуоткрытой площадке. Перед выбитой в скале амбразурой стояла на треножнике стереотруба. Подойдя ближе, мы увидели застывшего у окуляров сигнальщика.

— Можно взглянуть? — попросил подошедший Наум Борисович.

— Пожалуйста, товарищ капитан, — посторонился сигнальщик. — Дымка густая. Мешает хорошему обзору.

За амбразурой в розово-мутном провале проступали мягкие контуры горы, увенчанной белой часовней. Итальянское кладбище...

Вдруг небо над нами раскололось. Завизжал раздираемый, как прочная ткань, воздух. От неожиданности мы наклонили головы.

— Что за чертовщина! — отпрянул Левинсон от стереотрубы.

— Артналет на позиции Итальянского кладбища, — громко, стараясь перекричать вой, доложил сигнальщик и приник к стереотрубе.

Первые лучи солнца будто просигналили нашей артиллерией: «Огонь по врагу!» Бортовые орудия кораблей, 10-й батареи капитана Матушенко, батареи Драпушки, Воробьева и других дружно обрушили сотни снарядов на гитлеровцев.

Восходящее над Итальянским кладбищем солнце золотым ореолом высутило густые высокие клубы разрывов над горой. Мы с Дмитрием приникли к узкой щели амбразуры и сняли начало артналета на высоту. Вскоре гора и часовня потонули в облаках дыма и пыли. Неожиданно наступила тишина.

— Товарищи операторы, — услышали мы за спиной голос, — здравствуйте! Наконец-то и до нас дошла очередь! — Нам навстречу шел молодой полковник, гладко выбритый, в хорошо подогнанной форме. Приветливо улыбаясь, он при-

ложил руку к козырьку флотской фуражки с золотым краем, представился: — Жидилов!

«Моряк настоящий», — подумал я, глядя на его выправку.

— Я знал, что рано или поздно вы к нам в седьмую бригаду пожалуете. Мне о вашей работе на кораблях и в городе на прошлой неделе рассказывали наши друзья — писатели Леонид Соболев и Сергей Алымов. Полазали они тут у нас по окопам и траншеям. Наволновался я за них. Но вы даже не представляете себе, что значило это посещение. Известный писатель, моряк, капитан первого ранга, автор «Капитального ремонта» у нас на передовой... А любимый поэт читает нам свои стихи... Одно такое посещение — а сколько сил, энергии, энтузиазма оно нам прибавило...

Полковник Е. И. Жидилов повел нас дальше на КП — на северный отрог горы Гасфорта. Он был оживлен, его загорелое обветренное лицо с добрыми глазами с первого взгляда вызывало симпатию.

— Смотрите, перед вами, как на карте, позиция немцев. Вот эта задымленная высота — Итальянское кладбище. Она наполовину наша. Там, где разрывы, — гитлеровцы. Видите? А эти рыжие плешички, уходящие налево, — последний рубеж нашей обороны.

Изложив нам подробно боевую обстановку и показав на карте извилистую линию фронта, Евгений Иванович ушел по своим неотложным делам. Мы сняли общие планы местности и отправились на поиски интересных эпизодов фронтовой жизни.

Солнце поднялось высоко. Канонада затихла. Ветер сдернул мягкую туманную пелену с Итальянского кладбища. Воздух стал чистым и прозрачным. Засверкала снежным пятнышком на вершине часовня.

Где ползком, где ходами сообщения я добрался до рыжих плешиночек. Это оказались участки выбитой минами и снарядами земли вокруг нашей передовой траншеи. Примостившись около пулемета и наблюдая за пространством впереди, я разговорился с двумя бывальми моряками с торпедных катеров. Вид у них был грозный. Перепоясаные и перекрещенные пулеметными лентами, увешанные гранатами, с кинжалами за голенищами сапог, они лежали на плетенке из веток.

— Что это за штука у вас, товарищ капитан третьего ранга? — тихо спросил краснофлотец с круглым смешливым лицом.

— Автомат!

— Чудно! Автомат? А где же обойма, ствол?  
Я показал на объектив.

— Шутите? Так это ж фотоаппарат! — рассмеялся второй морской пехотинец.

— Это автомат для съемки кинохроники, — объяснил я серьезно.

— Жаль тогда, что вас не было тут третьего дня. У нас такое творилось! Морячок один отличился! Хань его фамилия — из наших, с корабля. Контратака, значит, была. Небольшой туман, как сегодня утром. Видели, да? Вырвался Хань вперед своих, незаметно подполз к самому окопу фашистов, бросил туда все свои гранаты. Такая мясорубка получилась, аж куски летели. Уцелевшие гитлеровцы открыли по моряку автоматный огонь, а он засел в ложбинке, укрылся и поливает их из автомата. Никак фашисты его оттуда, значит, выковырить не могут. Один изловчился, бросил гранату. А флотский, значит, хвать ее — и обратно к фрицам в окоп. Она и ахнула. Тут подоспели наши, как гаркнули: «Полундра!» И привет... Жаль, значит, что вас не было...

— А вы посидите у нас — не то еще увидите... и фрица живого там засымите, — добавил другой краснофлотец.

Где-то недалеко звонко протрещал немецкий пулемет, и снова наступила тишина. Моряки приумолкли, деловито скручивая из газет козы ножки. Острый махорочный дух заполнил траншею.

В Севастополе глухо и протяжно рвались тяжелые бомбы.

— Страшно там — в городе-то? Враз завалить кирпичом могут, — кивнул в сторону Севастополя моряк.

— Здесь вроде спокойнее и видно, откуда враг на тебя кинется, а там... — Конец моей фразы заглушила беспорядочная трескотня автомата.

— Это ты не скажи, — обращаясь скорее к товарищу, чем ко мне, начал один из моряков. — Ты не был у нас семнадцатого-восемнадцатого числа, когда мы еще под капитаном Бондаренко ходили... Тут такой ад кромешный был! Ну и задали мы тогда фашистам...

Речь шла, конечно, о втором штурме Севастополя, который начался 17 декабря. За гору Гасфорта в тот день сражался один из батальонов бригады под командованием капитана Бондаренко. Тогда высота несколько раз переходила из рук в руки.

— А потом они еще «психичку» затеяли, гады, — продолжал боец, — по левому флангу во весь рост напролом перли. Только... Нормальный разве такое придумает? Вот

бы что заснять — цирк! Вот когда их поsekли... Только это уже не здесь, а на высоте 154...

— «Мессер»! «Мессер»! Ложись! — крикнул, смеясь, его товарищ.

Над окопами летела белая чайка и беспокойно вертела головой, как бы пытаясь понять, что за необычный треск поднялся на ее пути. Когда из острого крыла выбились два белых перышка и, кружась, стали опускаться вниз, она с резкими криками взмыла в небо и молниеносно покинула опасную зону. Снова наступила тишина.

Только теперь я заметил, как много стреляных гильз на дне траншеи.

— Когда это успели столько? — спросил я, вколачивая каблуком гильзы в глину.

— Каждый день понемногу напоминаем о себе, а то соскучатся гитлеровцы без музыки...

До наступления темноты просидел я в траншее на переднем крае, снимая окопные будни. Так тихо и безмятежно, не считая редких перестрелок, прошел длинный день.

Уходили из «хозяйства» полковника Е. И. Жидилова, когда над Итальянским кладбищем засияли яркие звезды и потянулись к ним холодными вспышками ракеты.

В газике мирно похрапывал Прокопенко, а над Севастополем метались, скрещиваясь, светлые мечи прожекторов. Было тихо-тихо, только в стороне Сапун-горы натуженно пел мотор грузовика.

— Охфицеры, тримайся! — весело гаркнул проснувшийся Петро и тронул машину с места.

Ехали молча. Я думал о том, что каждый клочок земли, по которой я сегодня ходил, напоен русской кровью — еще с той далекой обороны 1854—1855 годов. И о том, что знал о втором наступлении немцев на этом чургунском направлении, и о том, что мне сегодня не повезло — ничего особенного не удалось снять. Не думал, не мог думать, не знал еще, что во время третьего штурма города это направление станет главным и что моим сегодняшним собеседникам — и молодым краснофлотцам, и полковнику Жидилову придется принять на свои плечи всю тяжесть этого наступления...

А пока были будни. Обыкновенные военные будни перемалывали время войны день за днем...

— Эх, черт, какой сон перебил! В Киеве у матери в гостях был, а ты все испортил... — Громко застонала железная с никелированными шариками кровать. Дмитрий перевернулся на другую сторону и затих, пытаясь, видно, вернуть потерянный сон.

В черном окне опрокинула свой ковш Большая Медведица. Где-то далеко тяжело охнули одна за другой две бомбы. Я провалился в сон...

Нас разбудил нарастающий вой — резкий, душераздирающий, какого мы еще никогда не слышали. Вой перешел в ни на что не похожий рев, от которого защемило, завибрировало все внутри. Раздался варыв. Мне показалось, что гостиница наша покачнулась и сдвинулась с места. Взрывная волна с шумом распахнула окно и сорвала с крючка дверь. Окно на случай бомбёжки мы на шпингалет не закрывали, при близких взрывах оно только распахивалось, и стекла оставались целы. Наступила неприятная тишина, звенело в ушах. Где-то на передовой короткими очередями потрескивал пулемет.

— Мне что-то не по себе... одевайся, выйдем на улицу.

— А тебе когда-нибудь бывает по себе? — ворчал Рымарев, натягивая брюки.

Взглянув на потолок, я увидел, что люстра слегка покачивалась. Дмитрий, тоже обратив внимание на люстру, стал протирать очки, будто не веря своим глазам. Наспех одевшись, мы вышли на улицу. В глубине темного провала арки спал в газике Петро.

— Вот это богатырский сон! Неужели он ничего не слышал?

На Северной стороне торопливо залаяли зенитки. Охнули одна за другой несколько бомб. Бледные лучи прожекторов заметались под луной и вдруг все сразу упали на землю. Снова ночь окунулась в тишину.

— Ну, куда? Может, на Графскую? — предложил Рымарев.

Мы бесцельно побредли к Графской.

За светлой колоннадой пристани весело играло осколками луны море.

— Пойдем посидим у воды... Или спать хочешь?

— Да нет! На сердце как-то тревожно... Сам не пойму, что со мной, — отозвался Дмитрий.

— Как там, на новом месте, мама? Уговорили ее сердобольные родственники эвакуироваться на Урал. Сидела бы себе в Москве, разве фашистов пустят туда?

— Тебе что волноваться! А вот мои в Киеве. Трудно даже представить, что там. Может, и в живых-то их нет! — Рымарев снял очки и посмотрел влажными близорукими глазами на луну. Его взгляд без очков был растерянным, безоружным, детским... Волнуясь, он всегда протирал очки, даже если они были чистыми. На этот раз ему пришлось пропустить и глаза. Я стукнул друга по спине:

— Все будет хорошо. Ты же всегда умел быть железным в трудную минуту и только что меня успокаивал...

На лунной дорожке бухты показался катер. У Павловского мыса темнел силуэт какого-то эсминца.

— С Большой земли, наверное. Может, почту привез, — сказал задумчиво Дмитрий.

Мы стали следить за катером.

Он подвалил к пирсу, и на берег соскочили несколько командиров. Один из них направился к нам.

— Ба! Кого я вижу! Вы чего тут торчите, писем ждете?

— Долинин? Здорово! Неужели с Большой земли?

— Да... А вы-то, кинохроникиеры, такой кадр сейчас упустили. «Юнкерс» врезался в угол депо у нас на глазах. Видели?

— Нет, только слышали. Ты надолго?

— До конца! Знали бы вы, каких трудов стоило мне выбраться из Батуми сюда...

Это был наш друг капитан Долинин, политработник с линкора «Парижская Коммуна».

— Письма привез? — нетерпеливо спросил Дима.

— Писем вагон, только кинооператорам что-то не пишут. Не унывайте — там еще тральщик с письмами на подходе. Я вам свежую «Комсомолку» дам — читайте новые стихи Симонова — «Жди меня, и я вернусь» — отличные стихи, душевые... Ну, ребята, пока. До завтра. Тороплюсь... — Он дал нам несколько газет и побежал догонять своих, но тут же вернулся: — Да, чуть не забыл сказать главное — с нами прибыл сюда из Московского радио Вадим Синявский с товарищем. Сегодня они будут вести радиорепортаж прямо с батареи на Малаховом кургане. Вадим интересовался, где Микоша и может ли он с ним встретиться. Ну как? Неплохой я вам материальчик подкинул? Только успевайте снимать!

— Какой славный человек этот восторженный комиссар! — сказал Дмитрий, провожая взглядом Долинина.

Да, он для многих мог бы быть отличным примером: сильный и добрый, энергичный и скромный, серьезный и приветливый, всегда готовый прийти на помощь. Впервые

познакомился я с ним на маневрах Черноморского флота в 1939 году. Он плавал на линкоре «Парижская Коммуна».

— Вот ведь мог сидеть себе на линкоре в Батуми и ждать конца войны...

— А ты смог бы отсидеться вдали от войны, а?

— Ты что? — обиделся Рымарев.

В стороне Мекензиевых гор застучали, отвечая один другому, два пулемета. По «голосу» можно было отличить наш от вражеского. В мутное небо взвились две белые ракеты, наполнив мерцающим светом край небосвода.

— «Жди меня, и я вернусь», — вспомнил Дмитрий. — Только вряд ли это произойдет в нашей ситуации...

— Ты опять раскис, друг мой? Пойдем-ка лучше к вокзалу, посмотрим на разбитый «Ю-восемьдесят восьмой», может, это настроит тебя более оптимистично...

Под ногами захрустело битое стекло. Посветлево, и мы увидели развороченный угол здания депо, а рядом и поодаль — множество обломков самолета.

— Так и есть — Ю-88, два мотора, узкий фюзеляж... Свастика...

— Рванул на собственных бомбах. Как разнесло-то! Пойдем скорее за камерами, а то уберут, и не успеем снять.

Мы быстро зашагали в гору, прямиком через Исторический. Уже отойдя довольно далеко от разбитого самолета, мы увидели на дорожной гальке оторванную выше локтя руку. На указательном пальце поблескивал серебряный перстень с черной свастикой, а на запястье, целые и невредимые, отстукивали время часы.

— Вот так их всех, подлецов, — угрюмо сказал Рымарев. — Как протянул к нам руку, так долой, протянул другую — долой!

...День оказался на редкость удачным: только начался, а мы уже сняли много интересного. Когда, довольные, вернулись после съемки домой, вспомнили о Долинине и свежих газетах. Просмотрели от корки до корки, дошли до стихов:

Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди.

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди...

За окном завыл Морзавод и часто-часто заухали зенитки.

— Сукины сыны! Не дадут людям стихи почитать... Представление начинается, пойдем скорее — наш выход!

Гостиницу затрясло, залихорадило, посыпалась штука-

турка. Мы схватили аппараты. В дверях показался присыпанный известью Прокопенко.

— Мабуть, накрыло, чи шо? — торопливо говорил он. — Як вдарыть, аж на зубах гирко, гирко, як полыни найився... Кажу: «Тикайтэ, хлопци!» А воны вже мэртви...

— Кто, Петро, кто?

— Таки гарни хлопчики, и усих поубывало. Хиба ж це дило — з малыми хлопчиками дратысь? Бандиты воны, а нэ люди...

Вместе с Петром мы бросились вниз по лестнице. В коридорах стоял едкий горький дым. Он струился через выбитые стекла и открытые настежь двери. Приступы сухого кашля схватили нас за горло, и только на улице, глотнув чистого воздуха, мы отдохнули.

Напротив гостиницы посредине улицы зияли две глубокие воронки. Наискосок, у самой стены разрушенного дома, лежали в луже крови два мальчика и старушка, присыпанные белой пылью. Седая женщина, судя по всему, пока не настигла ее смерть, пыталась прикрыть ребят собой. Поодаль, рядом с поваленной акацией, лежали трое — молодой красноармеец с автоматом и двое морских командиров. На груди бородатого капитан-лейтенанта под расстегнутой шинелью поблескивал орден Красного Знамени.

— Ты помнишь, неделю тому назад мы снимали его на граждение на корабле? Адмирал Октябрьский вручал... А потом он с друзьями шел по Нахимовскому — веселый, счастливый, гордый...

С плотно стиснутыми зубами снимали мы еще одну человеческую трагедию в бесконечной цепи грозных событий войны. День, так неожиданно начавшийся с ночи, обещал быть бесконечно длинным и трудным. Утомленные вчерашней гонкой по Мекензиевым горам, не успевшие отдохнуть за ночь, мы понеслись на газике к Малахову кургану. Его батарея после очередного налета немцев загрохотала над Севастополем, и снаряды со свистом полетели за Мекензиевые горы.

— Не опоздать бы к передаче Синявского...

— Когда там начало, Долинин не сказал?

— Нет.

Перед самым выездом из узкого переулка на Ленинскую улицу Петро остановил машину. Дальше ехать было невозможно. Огромная воронка преграждала путь.

— Щоб им на том свите, гадам, видьма зад засмолыла... Охфицеры, тримайтесь! Зараз будэмо йихаты, як рак ходыть, дывыться, шо там...

Мы стали пятиться в гору. Газик сильно тарахтел, дымил и чихал. К тому же сегодня где-то на ухабе отломился глушитель, и мы, полуоглохшие, едва выехали задом на Соборную площадь. Чихнув еще пару раз и громко выстрелив, мотор заглох.

Петро выскоцил из кабины, открыл капот:

— Пару раз качнем насосом, та й пойдэмо...

Качали все, и не «пару раз». Вздохли, устали, а двигатель даже чихать перестал.

— Петро, как починишь машину, приезжай за нами на Малахов, — сказал я. — А мы с Рымаревым пойдем туда пешком.

— Возьмем одно «Аймо» и кассеты, а то устанем как собаки, — добавил Дмитрий и залез руками в черный зарядный мешок.

Сокращая расстояние, мы пошли через руины напрямик к вокзалу. Начался артобстрел. Мы привыкли к этим обстрелам и шли довольно спокойно, зная повадки и пунктуальность гитлеровцев: они вели огонь всегда в одно и то же время и по определенным квадратам города. Снаряды рвались в районе Приморского бульвара, Графской пристани, перемещаясь к Минной, но все же нам было не по себе. Часто, обманутые звуковым эффектом отдаленного выстрела немецкого орудия и вслед за ним рева снаряда, летящего, казалось, прямо к нам, мы с Дмитрием крепко обнимали землю. Иногда снаряд перегонял звук выстрела, и выстрел слышался сразу же за разрывом. От таких «шуток акустики» зависела не только наша ориентация под огнем противника, но и жизнь.

Проффурчав в воздухе, недалеко от нас упал, выпербив тротуар, большой рваный кусок железа.

— Горячий, собака, как самовар. Грамм на восемьсот... Даст по голове и... — Рымарев снял фуражку и начал приглашивать редкие выгоревшие на солнце волосы, как бы желая убедиться, что голова еще цела.

— Сколько раз говорил тебе: клади голову в стальную каску и носи ее там. Глядишь, и будет сохранена, как редкая реликвия для восторженного потомства.

— Сам носи! — обиженно огрызнулся Дима и нахлобучил фуражку на самые очки. — Пойдем, а то передачу пропустим.

— Подождем еще десять минут — немцы начнут обедать, тогда и двинемся, а Синявского с Малахова только взрывная волна может смыть.

Вскоре артиллераия прекратилась, и мы, пользуясь временным затишьем, зашагали вниз. Не доходя до вокзала, мы снова услышали грозный голос батареи с Малахова кургана.

— Наверное, Вадим начал передачу.

— Жаль, что опоздали.

С короткими промежутками батарея била залпами. Эхо раскатисто грохотало среди руин, и, сливаюсь с новым залпом Малахова кургана, вело грозную мелодию боя над осажденным Севастополем.

— Здорово лупят. Красота!

— Сегодня воздух какой-то особенный, гулкий... Хорошо несет и держит звук. Слышишь, как вибрирует и рассыпается канонада...

Вдруг сразу после залпа раздался еще один — не то выстрел, не то взрыв, и канонада прекратилась. Растаяли где-то далеко последние ее отголоски, и наступила тишина.

— Я говорил, что опоздаем. Такую съемку зевнули. И все ты... «Подождем да подождем»...

Дмитрий ворчал почти до самой батареи. Выйдя на повороте из кустов акации, мы увидели, что на верхней орудийной площадке происходит какая-то суматоха. Бегали, суетились матросы, кого-то несли вниз — одного, другого, третьего. К нам навстречу выбежал из блиндажа политрук, бледный, расстроенный:

— Не до вас, друзья. Потом приходите! Несчастье, понимаете...

— Да скажи хоть два слова и беги...

— Затяжной выстрел! Всю прислугу перебило и еще двух москвичей с радио. Один еще жив, а другой помер... — Политрук убежал по аллейке к каземату, а мы, пораженные, застыли на месте.

— Да, значит, не судьба нам была сегодня... А ты, Дима, все торопил, торопил... Пойдем домой, хватит нам на сегодня. Сил нет, как устал... А здесь мы только мешаем людям. Пойдем, Дима.

На пути вниз нам встретилась связистка батареи Фрося. Восемнадцатилетняя девушка — электрик с морзавода ремонтировала электрооборудование на миноносце и вместе с артиллеристами перешла с корабля на батарею Малахова кургана. Здесь была мастером на все руки — и связной, и подносчицей снарядов, и санитаркой. Она поднималась вверх с большой санитарной сумкой через плечо.

— У вас беда, Фрося?

— Да, я отвозила раненых в госпиталь. Двое красно-

флотцев по дороге умерло, а один, футболист из Москвы, еще жив. Его тяжело ранило в голову, глаз выбило...

— Постой, постой! Какой футболист? Радиокомментатор из Москвы?

— Да нет же! Говорю — футболист. У него голос такой немного сплющенный, я часто слышала его игру в футбол по радио. Он такой чумной — когда забивает гол в ворота, то так кричит «ур-ра-а, ფო-ოდ», что у меня репродуктор на комоде захлебывается. Такой веселый футболист был...

— Да, пожалуй, ты права — футболист, и зовут его...

— Вспомнила — Вадим Синявский!

— Скажи, Фрося, он выживет?

— Выживет. Спортсмен ведь, закаленный, сильный. Только играть ему будет очень трудно с одним глазом.

Вот тебе и футболист Синявский!

...Наконец, измотанные вдребезги, мы растянулись на своих скрипучих никелированных двухспальных кроватях.

— Может, все-таки дочитаем? — предложил Рымарев. — А то неизвестно, сможем ли завтра.

— Ну давай, маскируй окошко, а я зажгу огарочек.

Завесив окно, Дима скрипнул пружинами и затих, положив голову на сложенные руки, а я начал читать:

Жди меня, и я вернусь  
Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть  
Скажет: повезло.

Под Рымаревым снова заскрипела кровать, он сел, снял очки и начал их протирать. «Значит, пробрало мужика», — подумал я и закончил последнее четверостишие:

Как я выжил, будем знать  
Только мы с тобой.  
Просто ты умела ждать,  
Как никто другой...

— Ты не будешь возражать, если я вырежу эти стихи и пошлю их матери? — спросил я Диму. — Может, ей от них легче ждать нас с войны. Братишко мой ведь тоже на фронте, краснофлотец. Только не знаю, на каком флоте...

— Посытай, посытай. Мне ведь, ты знаешь, некуда — родители под немцами, а жена с сыном даже не знаю где...

Я тут же под настроение написал письмо, вложил в конверт вместе со стихами. Завтра отвезу прямо на тральщик.

А теперь — спать...

Я погасил огарок свечи, открыл настежь окно, впустил луну. Где-то в небе гудел мотор самолета. Сон никак не приходил. Зато пришли воспоминания: Саратов, Волга, детство...

Дмитрий тоже ворочался и вздыхал.

— Ты чего не спиши?

— Да так... Все думаю, хочу понять, что же это такое — война и все прочее... Вот ты мне скажи: чего стоят человеческий разум, принципы, идеи, когда приходит вот такое — и все рушится?

— Ну нет, я теперь понял, что не только рушится, но и закаляется. И разум, и принципы, и идеи... В общем война — это, конечно, великое противостояние.

Дмитрий притих — лежит, наверное, и думает.

Я лихорадочно перебирал цветные кусочки воспоминаний, ища чего-то самого, самого главного. Только под утро заснул и проспал бы, видно, долго, но Дмитрий разбудил меня веселым возгласом:

— Вставай скорее! Левинсон вернулся, вагон писем привез. Вот держи — одно, два, три... Хватит?

— А где же Левинсон?

— Он срочно повез на флотский командный пункт пакет из Москвы и сейчас вернется. Кстати, я дал ему отправить твое письмо. Оно тут же уйдет самолетом на Большую землю.

Все письма были от матери, двухмесячной давности. Но одно, судя по штемпелю, свежее.

— Вот здорово! Смотри — даже не верится!

В конверте рядом с письмом лежала вырезка из газеты со стихами Константина Симонова «Жди меня» и ноты с музыкой Матвея Блантера.

Яркое теплое солнце освещает город, изрезанный синими бухтами. Ныряя в тоннели, по самому краю скалистого берега мчится, оставляя далеко позади облака белого пара, севастопольский бронепоезд «Железняков» — «Борис Петрович». В боевой рубке — командир бронепоезда инженер-капитан Харченко. Орудия и пулеметы направлены на север. Они готовы по команде капитана тотчас же открыть огонь. Севастопольцы, снимая головные уборы, приветствуют его. Они знают: это «Борис Петрович» пошел «угощать» гитлеровцев.

А бронепоезд уже далеко. Проходит тоннель за тоннелем, спеша на боевую вахту. И только черные ленточки краснофлотских бескозырок развеваются на быстром ходу...

Рымарев удобно пристроился к крупнокалиберному пулемету и ждет, когда расчет откроет огонь. Ждать осталось совсем недолго — еще пара тоннелей, и в густом кустарни-

ке на Мекензиевых горах можно ждать засаду вражеских автоматчиков. Командир группы пулеметчиков мичман Н. Александров просил нас быть осторожными и не высقываться выше брони.

— Мы-то уже не раз оттуда были обстреляны. Огонь у них очень плотный, пули так и трещат, отскакивая от брони, — предупреждал он нас заботливо. Не успел мичман занять свое место, как все пулеметы, разом направленные вверх, начали выбивать оглушающую железную дробь — будто отбойным молотком по железной каске на твоей голове. Я напряженно смотрел в прорезь бронированного щита, держа «Аймо» наготове, но ничего в кустах не заметил. Нападение пришло не оттуда, как предупреждал Александров: а с воздуха — на нас пикировали Ю-87.

— Ребята, идите в рубку, так приказал командир!

Мы подчинились, и не напрасно. Во время второго захода «юнкерсы» вывели из строя пулеметный расчет, и двое моряков, обливаясь кровью, рухнули на палубу. Но немцам этот заход стоил одного самолета, который, волоча за собой черный шлейф дыма, скрылся за косогором. Нам удалось снять конец этого налета — горящий Ю-87 и его взрыв за складкой Мекензиевых гор.

Бронепоезд, замедлив ход, остановился в глубокой выемке между двух обрывистых скал. Из этой почти неуязвимой для него позиции он совершил огневой налет своей артиллерии в район Камышловского моста. Там гитлеровцы вели накопление пехотных сил для нового броска на железнодорожную станцию Мекензиевы Горы.

— Шевелитесь, хлопцы, обстрел будет коротким. Десять минут, и нам надо убираться в тоннель. Видите?! — Капитан-лейтенант Харченко показал на небо. Над нами высоко в синеве кружил самолет-корректировщик, «рама».

— Минут через тринадцать здесь будут «юнкерсы», а нам нет резону бесцельно рисковать! — Посмотрев на часы, командир бронепоезда дал команду: «Огонь!»

Трудно и неудобно было снимать этот огневой налет с самого бронепоезда: все было таким шатким, все прыгало и вздрогивало — и палуба, и борта, и не на что было опереться для устойчивого положения. А уши, казалось, навсегда утратили возможность что-либо слышать. Не успели мы опомниться, как снова наступила тишина, которая тут же сменилась тяжелыми вдохами паровозов, и мы, быстро набирая скорость, покатились в обратный путь к Севастополю.

— Смотрите! Какая эскадрилья! — показал на небо мичман Александров.

Я схватился за «Аймо», но тут же опустил камеру. Высоко-высоко в голубой весенней дымке летела стройная журавлиная стая. Вскоре и небо, и журавлиный клин накрыла черная, закопченная громада тоннеля. На полном ходу «Борис Петрович» влетел в его открытую пасть, а бомбы, сброшенные уже невидимыми самолетами, рванули неподалеку от тоннеля и лишь слегка повредили балластную платформу в конце поезда.

— Какой расчет! Еще бы несколько секунд опоздания — и бомбы угодили бы в цель!.. — радовался Рымарев. Мне было тоже легко и весело: хорошо поснимали и избежали опасности. Поезд, отстояв в тоннеле, пока шел налет, помчался в Севастополь.

И только черные ленточки матросских бескозырок развернулись на быстром ходу...

Весна в Севастополе ощущалась на каждом шагу — и в городе, и на передовой. Радостно, по-весеннему гомонили дети, выбегая из школы во время большой перемены. Высоко в небе, не боясь рева самолетов, летели на север стройные стаи журавлей и диких гусей.

В районе Херсонесского маяка тракторы потянули за собой плуги, бороны и сеялки. Начались весенние полевые работы. За рычагами трактора сидит коренастый, с обветренным лицом краснофлотец, с винтовкой через плечо и гранатой у пояса. Он что-то поет и широко улыбается солнцу, весне. На его видавшей виды бескозырке, лихо заломленной назад, поблескивает надпись «Торпедные катера».

В промежутках между канонадой слышно, как с весенне-го голубого неба льется радостная трель жаворонка... Отцвел миндаль, запели в светлой зелени соловьи, и зацвели яблоневые сады.

Весна вдохнула в людей надежду на то, что они выстоят, влила в них новые силы и волю к победе.

30-я батарея капитана Александера и его отважных друзей Матушенко, Драпушки, Лещенко остановили немецкую атаку в районе Мекензиевых гор. Наступила короткая тишина.

...После удачной съемки я по ходам сообщения возвращался от Александера, вышел наконец из зоны вражеского огня, пробежал, согнувшись, зеленую ложбинку и оказался в густом, белом, будто заиндевевшем, яблоневом саду. На меня пахнуло сладким медовым ароматом, и я прилег на зеленой траве под белоснежным навесом. Голова закружи-

лась от свежего воздуха. После сырых и темных казематов батарей весна подействовала на меня, как молодое вино — ударила в голову.

Вдруг совсем неподалеку раздался выстрел. Стало тихо, и кnectарному аромату примешался запах пороха. Я приподнялся и стал осматриваться. Вокруг, кроме выкрашенных известью яблоневых стволов, ничего не было видно.

Странно, выстрел был совсем рядом. Садик пебольшой, и я видел все его границы. Казалось, нигде ни души. Я уже начал думать, что все это мне почудилось...

Прошло около часа, а я все сидел в саду. Уходить не хотелось.

В Севастополе шла бомбёжка. Я слышал, как ухали бомбы и часто гремели зенитки. Воздух был таким чистым и гулким, что я услышал даже, как на Корабельной дали отбой воздушной тревоги. Запела, зацинкала, прыгая с ветки на ветку, маленькая розовобрюхая птичка. И снова — выстрел. Он треснул как-то особенно сильно, звонко. Птичка с тревожным писком упала в траву, но тут же вспорхнула и улетела прочь. Выстрел раздался сверху, будто стрелок скрывался в ветвях. Я тихонько встал, сделал несколько шагов, но тут же услышал женский, но довольно грозный и настойчивый голос:

— Стойте, капитан третьего ранга, ни шагу вперед! Кто вас сюда принес? Обнаружат меня из-за вас... Идите в обратную сторону.

Я, ничего не понимая, стоял в нерешительности.

— Вы что, не слышали?

Послушно отойдя на свое место, я снова сел в траву.

Прошло около сорока минут, и снова громыхнул выстрел. Потом я увидел идущую мне навстречу девушку в пилотке. На плече у нее была винтовка с оптическим прицелом. Она шла, тонкая, стройная. Камуфлированная немецкая плащ-палатка, задевая за ветки, раззвевалась позади.

— Лейтенант Павличенко, — сказала девушка, приложив к пилотке тонкую руку. — Не обижайтесь на меня за резкость, пожалуйста, но вы чуть не испортили мне засаду. Место здесь какое, а? — Она села со мной рядом. — Ну что ж — перекур!

Только сейчас я увидел ее лицо. Пилотка была ей так к лицу и так хорошо подчеркивала его тонкий овал... Ее спокойные серые глаза смотрели на меня иронически, но доброжелательно.

— Что это у вас за штука? — показала она взглядом на «Аймо».

— Вроде вашей.  
— Кино... Вы кинооператор, да? — Она с интересом стала расспрашивать о моей работе.

Я смотрел на нее, молодую, красивую, — знаменитого снайпера Людмилу Павличенко — и диву давался: ведь 205 гитлеровцев ухлопал уже этот «ангел»...

— Знаете, Людмила, как мне повезло сегодня? У меня ведь давно есть заявка из Москвы — снять вас за «работой» для киножурнала. Но найти вас никак не удавалось. И вот...

— Да, это верно, я часто в засадах, и никто не знает, где нахожусь. Вы нашли меня, конечно, случайно...

— Конечно... Прошу вас, лейтенант, раз уж так вышло, обратно на дерево, в засаду, а я приспособлюсь и сниму вас.

Людмила засмеялась весело и звонко, как девчонка, осторожно маскируясь, пробралась на крайнее дерево, удобно устроилась в развилике веток, прильнула к оптическому прицелу. Так я все и снял — как она шагает в больших кирзовых сапогах, как цветущие ветки задевают за плащ-палатку, за дуло винтовки... Я снял крупным планом ее лицо сквозь яблоневый цвет. В ее облике — пилотка, большие серые глаза, брови, решительно и строго сведенные у переносицы, — было что-то знакомое и далекое... Потом я подумал, что у пилотки не хватает кисточки, что Людмила чем-то очень похожа на девушек героической Испании, которых я видел на кинокадрах Кармена и Макасеева.

Людмила, когда я снимал, кажется, забыла и обо мне, и обо всем на свете. В ее руках был огненный меч мести, мести за убитого рядом с ней мужа, за всех других погибших... Я сидел на другом дереве неподалеку и держал ее «на прицеле» своего автомата. Так мы, два снайпера, провели остаток дня и под вечер оба вышли из засады. Мы шли до Севастополя пешком. Нас окружал вечер. Людмила рассказывала мне о себе.

Над городом барражировали «ишачки», и гул от их моторов напоминал пчелиное жужжение.

Снова заревели сирены Морзавода. Четко стучали по камням кирзовые сапоги. Я взглянул на Людмилу. Она шла и, нахмурив брови, о чем-то думала. Хотел спросить, что она будет делать после войны, пойдет ли обратно в Киевский университет заканчивать исторический факультет или... Но в это время совсем близко начали рваться мины, и нам пришлось залечь в снарядную воронку.

— Говорят, что самое безопасное место — воронка от снаряда. Это правда?

— Правда, но это относится только к одному орудию. Второй и следующие снаряды никогда не лягут в воронку от первого. Но если огонь ведут другие орудия, такой гарантии нет.

Скоро вражеский огонь переместился дальше, и мы снова зашагали вперед.

Мы распрощались на Графской пристани. Она выскочила из катера, а я, помахав ей фуражкой, отправился на Корабелку.

Был вечер. Пахло морем, медом и порохом. Людмила шла по набережной легкой походкой. Я подумал, что если искать образ военной весны, то не найдешь ничего выразительнее этой девушки в развевающемся плаще.

Еще один день, не помню какой по счету, начался с тишины... Больше всего мы боялись тишины. Она приносила нам самые непредвиденные неожиданности.

Как всегда, мы проснулись около шести часов утра. То ли привычка, то ли тишина повлияла на нас, не знаю, но беспокойной тревогой, проснувшись, мы уже были наэлектризованы до предела. Так бывало часто. Нервы...

Я уже несколько раз пытался проверить свое душевное состояние перед опасностью. Мой организм, как барометр, заранее подавал сигнал — меня охватывало совершенно непонятное волнение, от которого я не находил себе места. Мне немедленно хотелось броситься куда-нибудь сломя голову.

Но на этот раз ничего не случилось. Нас только срочно вызвал на аэродром командующий авиацией флота генерал-майор авиации Н. А. Остряков. Мы часто наезжали в его хозяйство и любили генерала за душевное отношение к нам, кинооператорам, за помощь в работе. Он зря, без особой надобности, к себе на Херсонес не приглашал. Значит, будет интересная работа.

Об этом мы узнали еще вчера вечером во время ужина в редакции газеты «Красный Черноморец». Сидя за чаем среди наших друзей-корреспондентов, мы делились свежими впечатлениями о прошедшем дне. Нам с Дмитрием повезло — мы познакомились с командиром 35-й батареи капитаном Лещенко и провели у него целый день, снимая боевые будни артиллеристов. Командир батареи предоставил нам все возможности для съемки. Тяжелые стволы орудий, сотрясая землю, залп за залпом обрушивали металл на вражеские позиции. Стремительные языки пламени обугливали

почву вокруг башен. Стиснув зубы, мы снимали и еле удерживались на ногах от порывов горячего ветра.

...Ужин затянулся. В кругу товарищей на сердце становилось теплее и спокойнее. Как всегда, уходить не хотелось. Редакция заменяла родной дом. Кто знает, что будет завтра и встретимся ли мы все вместе снова?

Рымареву, однако, не пришлось побывать на Херсонесском аэродроме — его попросил заместитель командующего СОР генерал-майор А. Ф. Хренов поехать с ним на Сапун-гору.

— А что обо мне подумает генерал Остряков, если меня не будет с вами? — волновался Дмитрий.

— Объясним ему, что ты струсили! — смеясь, сказал Костя.

— Не волнуйся, все будет как надо, — утешил я друга.

Рано утром мы с Ряшенцевым понеслись на Херсонес, а Рымарев сел в эмку генерала Хренова и поехал снимать новые саперные укрепления.

Еще не доехав до аэродрома, мы услышали громкое уханье взрывов. Гитлеровцы были по взлетной полосе из тяжелых орудий. Улучив момент, мы удачно проскочили на КП и встретились там с генералом Н. А. Остряковым. Как всегда, он был чисто выбрит, форма сидела на нем особенно элегантно и красиво, да и сам он был молод и красив.

— Хорошо, что вы прикатили. А почему не все?

— Рымареву пришлось поехать на другую съемку.

В этот день предстояло много вылетов. Несмотря на обстрел, самолеты должны были взлетать и садиться. Генерал рассказал нам о предстоящих задачах авиаторов и напоследок добавил:

— Советую быть предельно осторожными и внимательными и зря не рисковать. В остальном я на вас всецело полагаюсь. А пока рекомендую хорошо подкрепиться. Прощу в кают-компанию...

Мы не заставили себя долго уговаривать и после завтрака в сопровождении летчика Героя Советского Союза капитана Федора Радуса и штурмана капитана Павла Сторчиненко отправились в их каюты.

Перебегая от одного блиндажа к другому, мы удачно добрались до каменного укрытия, в котором бортмеханики прогревали самолет.

Федор Радус — молодой, огромный, атлетического сложения, натянул на себя легкий летный комбинезон, и, когда все «молнии» были закрыты, он вдруг снова расстегнул одну из них, быстро отвинтил Золотую Звезду Героя и ордена, вы-

нул из кармана документы, передал все бортмеханику и полез в кабину.

— Ну пока, дорогие... — подошел к нам с Костей Сторчиенко. Он стоял перед нами, молодой, красивый, рослый, улыбающийся. Сейчас этот человек будет прокладывать среди огня путь для эскадрильи бомбардировщиков.

Павел помахал рукой и пошел к своему самолету. Я полез на конек капонира, а Ряшенцев остался внизу, у выхода. Уже пробовал снимать с этой точки, но неудачно — из-под ног покатился камень, и момент, когда самолет выныривал из ангарса, я пропустил.

Взмыла в небо ракета. Заревели моторы. Задрожал капонир. К голосу двигателей присоединился слабенький голос моей камеры.

Длинной панорамой я снял, как стремительно вырывается из-под каменной крыши, на которой я стою, самолет, как, набирая скорость, окруженный справа и слева разрывами снарядов, взмывает он вверх, как в небе к нему присоединяются другие машины.

Эскадрилья завершала круг над Херсонесом. Я поменял объектив, поставив телевик, и продолжал снимать. Вдруг совсем близко громыхнул взрыв. Меня сильно качнуло, я еле устоял на ногах, камера так резко задрогнула в моих руках, что кисти пронзила боль. Боясь свалиться, я присел на конек капонира. Снизу что-то кричал Костя, но понять его было невозможно — новые взрывы заглушили все.

— Владислав! Ты уронил объектив!.. — наконец прорвался голос Ряшенцева.

— Какой объектив? Он у меня в кармане!

Однако, заводя пружину, я увидел, что объектива на «Аймо» действительно нет. Остался только алюминиевый тубус, наискосок срезанный осколком снаряда. Хорошо — объектив, а не голова...

На Херсонесе мы оставались до вечера. Нам повезло — было снято много удачных и неожиданных кадров из жизни небольшого коллектива летного подразделения, отрезанного от основных сил нашей армии.

Сняли и благополучное возвращение эскадрильи. Самолеты приземлялись один за другим, удачно минуя выставшие на их пути огненные всплески разрывов. Порой густое облако пыли скрывало самолет, и мы с бьющимся сердцем ждали его появления, но все кончилось хорошо, тревоги остались позади.

— Спасибо вам, друзья! Прощайте! Привет Рымареву! — пожал нам руки генерал Остряков.

«Почему он сказал «прощайте», а не «до свидания», как всегда? — подумалось. — Как это резануло слух... А впрочем, не становлюсь ли я несколько суеверным?»

— О це генерал! Генерал — справдишна людьна, от яке я б йому дав звание! — высказал восхищение Петро и, наожав на стартер, весело крикнул свое: — Охфицеры, тримайся!

...Поздно вечером мы снова встретились в редакции «Красного Черноморца» за ужином. Дмитрий был оживлен и весел после удачной съемки обезвреживания неразорвавшейся бомбы. Не успели мы приступить к ужину, как в кают-компанию вошел капитан-лейтенант Владимир Апошанский.

— Товарищи! Внимание! — Всегда веселый, улыбающийся, сейчас он был строг и суров. — Сегодня при бомбеке ангаров погиб всеми любимый генерал-майор Остряков. Прошу встать и почтить его память минутой молчания...

Блокированный Севастополь страдал от недостатка продовольствия. Трудно было пробиться сквозь вражеские заслоны кораблям. Многие из них пошли на дно вместе с боезапасом, продовольствием и людьми. Севастопольцам пришлось самим изыскивать все возможные и невозможные ресурсы. Мы с Рымаревым решили снять, как немногочисленные рыбаки, преимущественно старики, ловят для осажденного города под огнем немецких истребителей рыбу.

Еще до зари, когда на небе мерцали запоздалые звезды, мы мчались к скалистому берегу в район Георгиевского монастыря. Прерванный сон никак не настраивал на веселый разговор, да и веселиться было не с чего.

— Петро! Заспивай шо-нэбудь!

Прокопенко не заставил себя долго ждать: «Виуть витры, виуть буйни, аж деревья гнутся. Ой, як болить мое сэрдце, а слезы нэ льются...» — начал он и затих.

— Петро! Ты что же умолк? — И тут я впервые увидел на его глазах слезы. — Что с тобой?

— Та ничего! Комар, мабуть, в очи попав. — Петро загорелым кулаком вытер слезы.

Мы еще не знали, что у него в Полтаве осталась молодая жена с новорожденным сыном. Только сейчас он рассказал нам о своей боли, тоске и тревоге.

— Вона дуже гарна. Ой, замордують ее нимци, замордують! — Петро так нажал на газ, что мы едва удержались на своих местах.

Больше я не просил его петь. Чем можно было утешить Прокопенко, как ему помочь?

Мы молча доехали до моря в районе Георгиевского монастыря. Петро остался с машиной наверху, а мы спустились по выбитым в скале ступенькам к самому морю. Оно было таким нежно-розовым, что даже не верилось.

— А мы не ошиблись? Вроде никого не видно — ни людей, ни лодок. — Рымарев говорил громко, наверное, в расчете на то, что его кто-то из рыбаков услышит.

Так и оказалось.

— А мы туточки! Вы до нас? — услышали мы хриплый старческий голос и наконец увидели рыбаков — они сидели под нависшей скалой у потухшего костра. Их было человек девять, все почтенного возраста, седые, черные от солнца, ветра и моря.

— Сыночки! Как вас там по-ученому называют? Кинозасымщики, кажись, так нам вчерась кавал старшой! Чего делать-то будем? Мы люди старые, воевать не берут, а помочь горазды завсегда. Смерти не боимся, нам все едино скоро на тот свет к богу подаваться, а вам-то еще рановато, подстрелить могут фашисты-то. Може, вы нас с суши тарахните, и баста! — покашливая, обратился к нам седенький, но крепкий старик.

— Вы, папаша, будете работать, а мы кино снимать! — ответил ему Дмитрий. — Покажем всему Союзу, как вы под носом у фашистов ловите кефаль и кормите защитников Севастополя.

— Не кефаль, а морского кота да султанку, — поправил другой рыбак.

— А ежели убьют! — вмешался еще один.

— Из вашей бригады кого-нибудь убили? — бросил встречный вопрос Рымарев.

— Убить не убили, а страху «мессера» нагнали полны штаны! — Бригадир ехидно хихикнул и, посеревшев, сказал: — Значит, так... Как только фрицы покажутся, надай на дно шаланды. Делай вид, что все перемерли! Они, поганцы, покружат, покружат, пальнут пару раз для порядку та и улетят на обед... Ну айда на воду!

Мы устроились на большой шаланде. Из-под нависшей скалы выплыли одна за другой четыре рыбакские лодки.

Море, рововое от зари, дышало спокойно. Зеленая упругая толща воды под нами была прозрачна до дна, а там колыхались, как живые, будто расчесанные невидимой рукой, бурые водоросли.

— Только русалки не хватает. А? — бросил Дмитрий.

Старичок — Юхим Назарович, бригадир, сидел на руле, а двое других тяжелыми веслами.

Рымарев, ссугутившись, устроился на банке, поблескивая очками и осматриваясь по сторонам. Море было похоже на большое зеркало, только легкое волнение тихо баюкало нашу грубую, словно вырубленную топором лодку.

— Знаешь, на том берегу, около Георгиевского монастыря сиживал с мольбертом Айвазовский... — Димка снял очки, нахмурил брови и серьезно посмотрел на меня.

— Ране, чем не выйдет солнечко, хрицы не высунутся. Не за что им будет сковать, — перебил его Юхим Назарович.

Незаметно наша «флотилия» отмахала добрую милю от берега.

— Суши весла! — скомандовал Юхим Назарович.

Старики занялись своими переметами, а мы начали снимать их за работой.

— Эх! Кабы на цвет! — жаловался Дмитрий.

— Ты лучше посмотри-ка вон туда! Да нет, правее. Там, за рыжей скалой, немцы. Спят еще...

Я, к сожалению, ошибся. Как бы в подтверждение этого, недалеко от нас шлепнулась, вспенив воду, пуля.

— А ты говорил, что спят...

С заведенными камерами мы выжидали нужный момент. Ждать пришлось долго. Но нам удалось снять пару планов, в которых и рыбаки, и всплески пуль на воде были в одном кадре.

— Сукины сыны, никак не могут пострелять в нужном для нас месте, — угрюмо и неуклюже попытался шутить Дмитрий. — Сколько пленки тратим зря.

— Радуйся, что там снайпера нет...

Рыбаки трудились, как молодые. Даже мы, снимая, как они одного за другим вытягивали из воды злющих морских котов, взмокли и утомились. Становилось жарко, солнце стало припекать, а старики все тянули и тянули переметы, бросая на дно шаланд бьющихся рыбин.

— Ложись! — крикнул вдруг, срываясь на дискант, Юхим Назарович.

Все попадали на дно лодки. Мы с Дмитрием, полулежа, приготовились к съемке. Пока успели снять переполох среди рыбаков.

— Идет над морем, — негромко и спокойно сказал бригадир.

Летел «мессер». Он шел на бреющем вдоль берега чуть мористее нас. Мы сняли его над морем вместе с нашими лод-

ками и рыбаками. Я хорошо видел в прозрачном колпаке пилота. Он смотрел вперед и даже не оглянулся на нас.

Прошло около часа. Наши старики заканчивали свое дело. Улов был хороший. Мы сняли все, что наметили, и даже больше.

— Ложись! — снова крикнул бригадир.

В небе появилось сразу несколько истребителей — наших и вражеских. Начался стремительный воздушный бой.

Рыбаки устроили перекур, сели на банки и стали наблюдать за тем, что происходило в небе. Яростно и напряженно гудели над морем моторы. Не успел Рымарев вынуть камеру из мешка, как один из самолетов — мы не поняли чей — взорвался в воздухе. Падающие обломки и столбы воды все же удалось схватить на пленку.

— Дымит! Горит «мессер»! Снимай, снимай скорей! — закричал Дмитрий, нацеливаясь камерой на самолет.

Я услышал стрекот «Аймо» и, зная, что мощи пружины у него хватит только на 15 метров пленки, выждал, пока кончился завод Диминого автомата, и начал снимать. Фашистский летчик у самого берега выровнял машину и стал сажать ее на воду. Но у меня кончилась пленка.

— Дима, снимай!

Заработала камера друга. «Мессер» удачно приводнился и, подняв каскады брызг, остановился у берега недалеко от рыбачьей стоянки. Пилот выскочил на фюзеляж, и тут же его самолет скрылся под водой. Летчик поплыл к берегу. На этом съемка прекратилась.

Мы, как одержимые, выхватили весла у стариков и стали грести что есть силы к рыбачьей стоянке. Нас беспокоила только одна мысль: не ушел бы летчик. Удрать, впрочем, ему некуда, спрятаться трудно. На берегу к тому же оставалось несколько старых рыбаков.

Когда мы подгребли к берегу, увидели на дне прозрачного мелководья целенъкий «мессершмитт». На берегу никого не было, а на горе стоял Петро и кричал нам что есть мочи:

— Бачили, як вин тикав?

— Что, убежал?!

— Та ни! — Петро не мог от приступов смеха говорить.

Наконец все стало понятно: когда пилот подплыл к берегу, на него тут же насыли старики и, чтобы он не удрал, спустили с него летный комбинезон до самых колен. Фашист оказался спутанным. Тогда деды связали ему руки и, освободив ноги, погнали в гору. А там непрошшеного гостя уже ждали наши разведчики.

Все, что так хотелось бы снять, увы, осталось за кадром. Когда успокоились, сняли сверху лежащий на дне «мессер». Как живой паук, извивалась на крыльях свастика...

Горячий ветер свистел в ушах. Прокопенко умел, как говорится, дать газу. Вскоре мы въехали в разрушенный поселок. Вдали шумела небольшая, но плотная толпа женщин. Мы подъехали и увидели, что они довольно настойчиво пытаются отбить мокрого немецкого пилота у двух конвоировавших его красноармейцев. Гитлеровец стоял бледный, перепуганный, взгляд его растерянно блуждал вокруг. Перед его носом рассвирепевшие женщины махали кулаками и кричали все сразу.

Пришлось нам и Петру вмешаться. Мы вызволили пилота и наших бойцов, подвеали их в штаб. Гитлеровец оказался сыном немецкого художника.

Когда после съемки допроса пленного Петро мчал нас в Севастополь, Рымарев, протирая запотевшие очки, сказал:

— Никак не пойму. Один художник пишет море на радость людям, а у другого сыночек расстреливает это море и этих людей...

В мае, после того как наши войска оставили Керченский полуостров, враг стал стягивать к Севастополю войска со всего Крыма. С 27 мая гитлеровцы усилили артобстрел и бомбардировки города. Позднее генерал-фельдмаршал Манштейн, который командовал 11-й немецкой армией, действовавшей в Крыму, писал, что во второй мировой войне немцы никогда не достигали такого массированного применения артиллерии, особенно тяжелой, как в наступлении на Севастополь.

Теплоход «Абхазия» стоял, прислонившись к пирсу. На причале в Южной бухте — огромная толпа. Но многие не хотели покидать родной город, и накал страстей был так силен, что сейчас, вспоминая все это, трудно об этом писать — опасаешься, что все детали покажутся «перебором», недопустимым преувеличением.

Но люди действительно сопротивлялись. Их вели к судну едва ли не силой. Они плакали, причитали на сотни голосов:

- Лучше умереть здесь!..
- Не поеду!
- Мы останемся здесь до конца...

А на «Абхазии» волновались: только бы успеть до очередного налета.

— Скорее, скорее, мамаша!

— Нельзя, нельзя останавливаться, мамо! — шумели матросы. — Убьют ведь...

— Мои два сына, вот такие же, как вы, полегли здесь, а я уеду?! Куда? Зачем? Детки вы мои, оставьте меня, родненькие!

Здесь, перед страшным лицом смерти, все стали роднее и ближе. Мать погибших сыновей чувствовала себя матерью этих, оставшихся в живых.

— Мама! Мы не уедем без тебя! — кричат две маленькие девочки, вцепившись ручонками в фальшборт. Молча стоит на пирсе женщина, потом поворачивается и шагает прочь от корабля. Каждый шаг ее страшен — кажется, еще секунда, и она рухнет на землю.

— Мама! Не уходи!

Толпа замерла. Над пирсом нависла гнетущая тишина. И мать, не выдержав, бросилась к кораблю. Ее перехватили, и она забилась на руках у людей:

— Пустите! Девочки мои! Я никогда вас не оставлю! Это все они, проклятые! — И она погрозила небу худым иссущенным кулаком.

Эхо прокатило над синими бухтами тревожный гудок Морзавода. Щелкнул и хрипло-оглушительно зарокотал на судне громкоговоритель:

— Воздушная тревога!

— Будьте вы прокляты!.. — снова заголосила мать, протягивая к небу сжатые кулаки.

Ее отпустили, и она ринулась по крутыму трапу вверх, навстречу плачущим детям.

Гудит, перекатывает тревогу Морзавод.

— Отдать концы! — крикнул в мегафон капитан.

Толпа на пирсе не расходилась. Медленно отделились трапы, и «Абхазия» отвалила.

— Лидочка осталась! Лидочка, доченька! — какая-то женщина стала перелезать через фальшборт, но ее вовремя удержали.

Я обратил внимание на двух плачущих девушек, стоявших неподалеку у снарядных ящиков. Отсняв уходящий теплоход и девушек, узнал, что произошло.

— Мы не успели, трап подняли, и вот теперь остались совсем одни...

— Где вы живете? Хотите, отвезем вас домой?

— У меня нет дома. Утром в него попала бомба, — сказала синеглазая девчушка.

— А мой дом цел. Хотите жить у меня? Вы — Лида? — спросила вторая с легким кавказским акцентом. — Меня зовут Аламас. Ну, успокойтесь! А я намеренно опоздала...

— Я тоже, — ответила Лида. — Мне просто очень жаль маму. Она умрет от страха за меня. Да вот теперь дом... А бросить Севастополь как можно? Я ведь сестрой работаю в госпитале.

Я довез девушек домой, а по дороге на Ленинской случайно встретил и прихватил Дмитрия. Всю дорогу Аламас уговаривала Лиду поселиться у них в доме.

— Нам вместе будет легче жить, а бабушка станет за нами ухаживать...

— А разве бабушка не уехала? Ведь был же строгий приказ коменданта об обязательной эвакуации старииков и детей.

— Моя бабушка очень строгих патриотических принципов. Скорее умрет, чем покинет родной город. Ее отец погиб здесь, на Малаховом кургане.

Около почты, в Косом переулке, среди уродливых развалин и глубоких воронок чудом сохранился маленький одностоэтажный домик. Подъехать к нему на газике даже Петро не смог, и мы проводили девушек пешком, перепрыгивая через завалы ракушечника и ржавые железные балки.

Аламас познакомила нас с бабушкой. Бодрая, суетливая, та вначале всплеснула руками от огорчения, узнав, что теплоход ушел, а внучка осталась. Но уже через минуту ожиживилась и сказала весело:

— А может, все это и к лучшему.

Лида осталась у них, а мы с Рымаревым и Прокопенко приобрели новых добрых друзей.

...Все яростнее наседали фашисты на Севастополь. Среди закопченных руин редкие уцелевшие домики выглядели странными островками давно ушедшей отсюда жизни. Чем было оправдано уничтожение города, если гитлеровцы так стремились его захватить? Наверное, это и было главным в действиях фашистов — сровнять его с лицом земли.

Однажды меня вызвали к командующему Севастопольским оборонительным районом адмиралу Ф. С. Октябрьскому. Тепло расспросив о работе киногруппы, он вдруг переменил тон разговора, стал очень официальным, чего с ним никогда раньше не было. Я даже встал по стойке «смирно».

— Завтра в двадцать два ноль-ноль вам всем надлежит явиться в Камышовую бухту на тральщик. Киногруппа должна срочно перебазироваться в Туапсе.

— А как же Севастополь останется без операторов?

— Приказы не обсуждаются! Положение очень серьезное, а мы не можем вам всем гарантировать переброску на Большую землю. Сколько вас?

— Два оператора и ассистент. Разрешите, товарищ адмирал, хотя бы одному оператору остаться!

Немного подумав, командующий согласился.

— Только предупреждаю еще раз, — сказал он. — Никаких гарантий не даю. Решите сами, кто из вас останется, и доложите сегодня же...

Я возвращался и думал, каким ударом будет это для ребят. Останусь один, а их отправлю завтра на Большую землю. Это право теперь на моей стороне, без всякого жребия. Я старший по званию и могу это использовать без обсуждений.

И все-таки мы устроили втроем небольшое совещание (Левинсон и Короткевич недавно ушли на Большую землю со снятым материалом).

Ребята придерживались мнения, что нужно или уходить всем, или всем оставаться. Но я напомнил, что это приказ...

— Итак, друзья, вы отправитесь в Туапсе. Словом, ни пуха ни пера. Чего так укоризненно смотришь? Разве я не прав?

— Ты прав. А смотрю я на тебя не укоризненно, а боюсь за тебя, дурака. Надеюсь, честно говоря, только на твоё дикое везение... Ну, прощай!

Пока Дмитрий протирал очки, я рас прощался с Ряшенцевым.

Друзья ушли в ночь, а я остался один, и тоска крепко схватила меня за горло.

На другой день под вечер, не вынеся больше одиночества, я отправился навестить своих знакомых в Косой переулок. На месте маленького домика вияла огромная воронка, на дне которой лежало разорванное малиновое одеяло. Им застилали постель бабушки...

...Мой путь назад освещали кроме ярких мерцающих звезд периодически вспыхивающие дрожащим фосфорическим светом вражеские ракеты. Они на короткий миг выхватывали из чернильного мрака фантастические, застывшие в нагретом воздухе скелеты домов и обгорелых акаций. Я шел, окруженный вадрагивающей тишиной. Не ухала тяжелая батарея — только прянный аромат белой акации с паленым привкусом раздражавшее захватывал дыхание.

Вдруг совсем недалеко от меня из обгорелого скелета дома раздались глухие хлопки — один, другой, третий, и по-

летели в небо сигнальные ракеты. Я замер, плотно прижавшись к еще теплой стене с глубокой нишней.

Прошло несколько минут. Послышались шаги. Мелькнула мысль — я не знаю пароль. Могут принять за диверсанта.

— Стой! Кто идет?

Громко лязгнул затвор автомата. Я знал, что здесь никогда не бывает патрулей. Сердце стало четко отбивать секунду за секундой. Враг подавал сигналы самолету. Судя по оклику патруля, он его ищет.

Мое положение стало вдвое опасно: если меня обнаружат свои, то я не успею им объяснить, почему сигнальные ракеты взорвались рядом со мной, а о немцах и говорить не приходится.

Мне стало жарко. Что же делать? Время тянулось бесконечно... Месяц начал набирать высоту, и стало заметно светлее.

Вдруг мимо меня что-то пролетело. «Граната», — подумал я. Взрыв. Рядом за стеной страшный нечеловеческий вопль прорезал тишину, но автоматные очереди все заглушили — и стоны, и топот сапог. Пули впились в камень и брызгами разлетелись в темноте. Так же неожиданно все умолкло.

Прозвучала короткая команда, и раздались осторожные шаги нескольких человек. Синий луч фонарика выхватывал из темноты ноги в сапогах, тропинку, автоматы в руках... Кого-то несли, а он протяжно стонал. Шаги потухли вдали, и снова наступила тишина. Я успокоился: значит, диверсанты пойманы и больше не будут наводить самолеты на город.

Поднявшийся месяц, освободившись от дымки над городом, ярко залил мертвым светом место ночного происшествия.

Одним из сохранившихся в целости островков среди руин Севастополя оставалась опустевшая гостиница «Северная». Кроме меня, художника Леонида Сойфертиса и вернувшегося из Туапсе Левинсона, никто больше в ней не жил. Бомбы и снаряды пока миловали ее, и она стояла напротив разрушенного Сеченовского института на Нахимовской беленькой, нарочито чистенькой рядом с закопченными уродливыми развалинами.

Мы не бегали ночью по тревоге в убежище, которое было рядом с гостиницей, в скале под Мичманским бульваром, а

спали, как говорится, вполглаза, прислушиваясь во сне к вою и взрывам бомб. Окно нашего номера выходило во двор, и перед ним была высокая гранитная скала, заросшая колючкой и диким виноградом. От осколков и шальных пуль мы были надежно укрыты, но от бомб и снарядов спасала только судьба.

Просыпаясь, мы, как правило, в шесть часов утра захватывали аппаратуру с пленкой, спускались с третьего этажа по белой мраморной лестнице на улицу в подъезд, будили Петра, спавшего в газике, и уезжали на поиски материала.

Вчера поздно вечером мы вернулись с передовой из 7-й бригады морской пехоты полковника Е. И. Жидилова. Съемка не состоялась — день выдался на редкость тихий. Противник упорно молчал. Солнце припекало, и мы нежились, подставляя свои лица под его горячие лучи. Только изредка, как бы напоминая о себе, постукивал вражеский пулемет, поднимая рыжую пыль у блиндажа, и снова надолго замолкал.

Впереди, за линией нашей обороны, в зеленой лощинке на нейтральной полосе горели, волнуясь, как языки пламени, островки цветущих маков...

— Смотри! Как будто лужи свежей крови, — сказал Левинсон и, перевернувшись на спину, подставил свое лицо солнцу.

Неглубокий ход сообщения соединял несколько ближних траншей и выводил вперед, на НП роты, откуда до маковых огней было рукой подать. А дальше еле виднелись проросшие густым вьюном немецкие проволочные заграждения, за которыми простипалось голое солончаковое минное поле.

Когда стало смеркаться, мы с Левинсоном пробрались на НП. Усатый мичман неотрывно смотрел в замаскированную травой стереотрубу, а лежащий рядом краснофлотец с автоматом держал в левой руке трубку полевого телефона. Он жестом предложил нам занять место на трофейной плащ-палатке. Маковое поле плескалось совсем рядом. При желании можно было набрать хороший букет и остаться незамеченным.

— Нарвем, а? — спросил я Наума Борисовича вполголоса, кивая на маки.

— Стоит ли рисковать? — ответил он шепотом.

— Чуть стемнеет, и можно рвать без всякого риска, — сказал, не оборачиваясь к нам, мичман.

Мы прислушались. Теплый ветерок принес обрывки резкой немецкой речи. Вдруг полилась тонкая дрожащая мелодия — там кто-то играл на губной гармошке. «Ком цю-

рюк», — услышали мы первые слова песни. Пел низкий баритон, пел тоскуя...

— Хорошо поет бандит, а?

К одинокой песне присоединились по одному еще несколько нестройных голосов. Порыв ветерка ослабил звук, и песня растаяла в наступившей синеве.

Наконец дали подернулись дымкой, и четкие очертания местности впереди замутились и исчезли. Мичман оторвался от окуляров.

— Ну, теперь пора, а то не успеете, — сказал он, жестом предлагая мне посмотреть в стереотрубу. — Немцы — слева, за рыжим бугорком. Видите? Мы находимся вне их кругозора, но дальше этой красной полоски не выползайте, там наши мины и снайперская засада. Снайпер ушел в том направлении ночью и с темнотой вернется обратно.

Когда я выползал из укрытия, плотно прижимаясь к теплой земле, Левинсон шепотом посыпал в мой адрес самые недоброжелательные напутствия.

Зеленое море душистой травы накрыло меня с головой. Сумерки сгущали синеву и затушевали полнеба. Пока я успел набрать огромный букет, стало почти темно. Цветы, прикасаясь к лицу, отдавали приятной, горьковатой свежестью. Хотелось перевернуться, лечь на спину, глянуть вверх и забыть обо всем на свете...

— Ну, где ты там, лирик третьего ранга? Давай кончай это дело, пора домой...

Немецкие осветительные ракеты помогли нам сориентироваться и, не блуждая, выбраться с передовой в Севастополь.

Я еле уместил свой букет в огромном стеклянном кувшине посредине круглого стола в нашем номере. При свете небольшой свечи он гигантской тенью колебался на светлой стене.

Молча улеглись. Ночь была какой-то особенно тревожной. Мы долго не могли уснуть. Бомбы ухали близко и чаще обычного. На сердце было тоскливо и неспокойно. Я встал, вжал свечу — снова на стену метнулась огромная тень от букета, напоминая взрыв бомбы. Сел писать матери письмо. Это занятие меня успокоило, будто бы я увиделся с дорогим мне человеком, поговорил с ним... Левинсон, лежавший рядом, чиркался, кажется, он тоже не спал. Только за полночь мы утихомирились...

Отчего я проснулся, не знаю. Видно, от непривычной ти-

шины. Но явно раньше обычного: в открытое настежь окно только входило утро, не было еще и шести.

— Наум! Вставай! Поехали на съемку!

Он с трудом оторвал голову от подушки:

— Ну куда тебя несет? Дай же поспать!

— Очень прошу тебя — одевайся. Мне что-то не по себе, — уговаривал я друга. — Слышишь, какая тишина? Черт знает, почему так тихо, даже артиллерия молчит... Жутко...

Мы быстро поднялись, захватили камеру, запас пленки и выскочили на улицу. Чудесное майское утро пахнуло на нас соленой свежестью моря. Прокопенко выкатывал из своего укрытия газик.

— Товарищ капитан третьего ранга, наш художник тоже хочет пойти разом с нами, вин просив растовывать раны... рано...

— Ну беги и тащи его скорее в машину, только в темпе. Понял?

Петро бросился в гостиницу. Не прошло и пяти минут, как заспанный Леонид Сойфертис показался в сопровождении Петра. Мы сели в газик и покатили в сторону Большой Морской. Но не успели отъехать и двухсот метров, как услышали характерный свист бомб. Гула моторов не было слышно, очевидно, самолет летел на большой высоте. Несколько взрывов, и горячий воздух чуть не вышиб пас из машины.

Оглянувшись назад, мы увидели, как раскололась наша гостиница. Бомбы угодили в самый ее центр. Облако желтой пыли и камней взметнулось в небо и, грузно осев, скрыло все вокруг.

— Петро! Скорее назад!

Когда Прокопенко подкатил нас к густому облаку пыли, стало видно, что осталось от нашего жилища. Половина фасадной стены уцелела, и мы полезли через выбитые, заваленные обломками двери внутрь. Бомбы были не крупного калибра и разрушили гостиницу не всю. По изувеченной лестнице мы с трудом поднялись на третий этаж. Все было искощено и разбито. Сквозь рваное отверстие в потолке проглядывало синее небо. Всюду торчали железные балки. Поним мы пробрались в наш коридор. Одной стены не хватало — она рухнула. Вместо дверей в наш номер зиял рваный пролом. Мы заглянули в него и, как по команде, отпрянули назад.

— Кровь? И так много, откуда она? — в ужасе вскрикнул Левинсон.

Вся наша комната густо окрасилась в кроваво-красный цвет. Это взрывная волна рассеяла по всему номеру лепестки маков.

Ничего из наших пожитков не сохранилось. Даже железный ящик с остатками плёнки был изрешечен мелкими пробинами. Так кончилось наше вольное поселение в гостинице «Северная»...

...Море, как маковый цвет, пропиталось красным. Усталое раскаленное солнце торопилось нырнуть в прохладные воды и скрыться в них. Коснувшись горизонта, оно вытянулось, расплылось и начало угасать. Как-то сразу, незаметно и быстро наступила ночь, а канонада продолжала над Севастополем катать железные бочки тяжелых взрывов. Небо, как черная шаль, пробитая осколками, накрыло и море, и опаленные руины города и погасило поля алых маков. Крупные сверкающие звезды опустились низко над горящей землей, развалинами, морем. А канонада, потрясая душную, пропитанную гарью и запахом шалфея ночь, вдруг оборвась и замерла. Покатились, затухая, ее отголоски через синие бухты — в Инкерман, Балаклаву, за мыс Фиолент...

Застыл, замолчал фронт. Перестал перекатывать взрывы по опаленной земле. Время замерло. Минуты казались часами. Тихо, беззвучно воспламеняли ночь фосфорические всплески ракет.

«Сдавайтесь! Вы обречены на уничтожение! Пощады никому не будет! Еще есть время одуматься — переходите на нашу сторону! Гарантируем сохранение жизни!..»

Только ветер, нехотя шелестя цветными листками, гонял из стороны в сторону эти угрозы фашистов. Вначале они приводили нас в ярость. Мы жгли листовки и рвали их в клочья, но вскоре потеряли к ним всякий интерес. Густыми пестрыми стайками опускались они с неба на траву, кустарник, деревья. Порывы ветра не давали бумажкам задерживаться надолго и уносили их в море.

Немцы как вымерли — притаились, молчат. Выжидают. Нас ждут. А мы их... Так и сидим в настороженном ожидании друг против друга.

Тишина. Лишь изредка четкие пунктиры пулеметных очередей дробят время на мгновения, и их трассы, прожигая ночь, роняют обессиленные пули в синее море. Оно, тяжко вздыхая, лениво накатывает на темный берег осколки луны.

Мелкая прибрежная галька монотонно рождает шорохи. Еще утром, во время боя, привязалась ко мне мелодия ста-

рой матросской песни. Целый день прилипали к губам слова: «Раскинулось море широко...»

«Широко! Широко!..» — рокочут ночные шорохи.

Ночь потеряла очертания. Мной овладела дремота. Неудобный окоп на краю обрывистого берега стал уютным, теплым. Где-то под звездами проурчал и растаял монотонный гул моторов Ю-88. А над Севастополем вскоре взметнулось, широко осветив руины, высокое пламя взрывов. Через несколько мгновений, как горячее дыхание ветра, пронесся над нами тяжелый вздох ударной волны. Вздрогнула земля, осыпав глиной и мелкими камешками спящих бойцов. Рядом тихо и безмятежно спали краснофлотцы и красноармейцы, положив стрижевые головы на бескоzyрки и пилотки. Неподалеку кто-то стонал, произнося во сне бессвязные обрывки фраз.

Над Балаклавой, озаряя горизонт оранжевым сиянием, взошла огромная луна. Тяжелое уханье бомб раздражало мечты. Громко билось сердце. Билось испуганно, тревожно, будто предупреждая об опасности. Вокруг прозрачная синяя тишина, а я почему-то испугался стука своего сердца.

Бледные звезды сдвинули ночь к утру. На траве засверкала в холодных искрах луна.

Я прислушался к тишине. Из ночи донесся едва уловимый металлический лязг — этот тонкий, как комариный, звук прихватил с собой из далекой крымской степи теплый, наполненный ароматом трав ветерок. Немцы готовили последний удар, накапливали у линии фронта тяжелую технику.

Сон улетел. Широко высветилась в сознании грозная реальность, стерла, смазала блики, шорохи, ароматы южной ночи. Протяжно застонал, не просыпаясь, раненый моряк. Спят бойцы, не зная, что готовит им грядущий день — 226-й день обороны. Севастополь — последний рубеж, последний клочок опаленной огнем крымской земли. Ни шагу назад! За спиной — море, смерть. Тусклые блики луны на оружии. Завтра бой...

В эту ночь ни спящие, ни бодрствующие, как я, не знали, что пронизавшее ночную мглу утро — утро 7 июня 1942 года — будет разбужено третьим генеральным наступлением врага на Севастополь.

Итак, завтра бой...

У моих ног в кожаном футляре — автомат, мое оружие, которым застрелить никого нельзя. Оно заряжено не смертоносными пулями, а безобидной кинопленкой, которая, впрочем, может стать и обвинителем, и судьей, и свидетелем, и своеобразным грозным оружием.

Море шумит внизу. Сердце заволокло тоской. О том, чтобы заснуть, нечего и думать. В мыслях беспорядочно, обрывками, возникает знакомое и дорогое — Малахов курган, Пятый бастион, вице-адмирал Корнилов...

«...Нам некуда отступать, — позади нас море. Помни же — не верь отступлению. Пусть музыканты забудут играть ретираду. Тот изменник, кто потребует ретираду. И если я сам прикажу отступать — коли меня...» Владимир Алексеевич Корнилов сказал это своим солдатам за несколько недель до первой бомбардировки Севастополя, за несколько недель до своей гибели. Я пытаюсь связать воедино прошлое и настоящее, понять те закономерности и связи, которые невидимой нитью соединили те одиннадцать месяцев первой обороны и семь этих месяцев.

Сейчас, когда бессонница острыми гвоздями вбивает в мозг мысли, особенно зримо встает перед глазами облик города, уже искалеченного и изуродованного, с которым ты оказался так накрепко, так близко связан судьбой, помыслами, самой жизнью.

Я вспоминаю свою последнюю встречу с Севастополем — за два года до войны, когда мне довелось побывать на маневрах Черноморского флота.

...Город замер, высеченный из белого инкерманского камня. Улицы миниатюрных, увитых виноградом домиков с красными черепичными крышами, оживленные лепестками бескозырок, кривые переулки, лесенки, веселые бульвары, которые террасами спускаются к прозрачным бухтам и рожают в них бронзовые отражения героев легендарной обороны прошлого века. Сошел в теплые воды бухты и остановился, задумавшись, по колено в прозрачной волне памятник «Затопленным кораблям». Его грозный орел — эмблема русского могущества — распростер бронзовые крылья над Северной бухтой. За ним по ту сторону залива — Северная сторона с Братским кладбищем вдали и неприступной крепостью над входом в бухту. Таёт в голубой дымке Константиновский равелин — ворота Севастополя...

Крики чаек, плеск воли о каменный берег, протяжный взглас сирены вернувшегося из дозора сторожевика.

— Эй! Рыбак! Уснул в ялике? Полундра!

«Полундра!..» — многократно повторяет эхо. Двенадцать часов. Бьют на кораблях склянки, и их серебристый перезвон плывет, летит вместе с криками чаек к извилистым бухтам города.

На рейде Северной бухты замерли серые громады кораб-

лей. Они стоят ошвартованные на «бочках» и глядятся в свое отражение. Жерла орудий в белых чехлах...

Под минной башней у каменного пирса стоят тесной семьей ошвартованные кормой эсминцы. Южная бухта. Высоко над ней в центре Исторического бульвара круглое здание Севастопольской панорамы и памятник Тотлебену. Это си-луэт города. Его отражение всегда колеблется в Южной бухте.

Я шагаю среди разноголосой пестрой толпы по Нахимовскому проспекту. Мне навстречу группами идут веселые матросы, женщины, дети. Мелькают золотые нашивки, края, шевроны, развеваются черные ленточки на белых бескозырках и синие гюйсы на форменках, блестят на солнце названия боевых кораблей: «Красный Кавказ», «Червона Україна», «Парижская Коммуна», «Беспощадный». Сверкает, шумит, улыбается улица.

Низко склонились над пешеходами кружевые ветви цветущих акаций. Сладкий, густой аромат курится над городом.

Я будто не иду, а плыву вместе с толпой. Я ее частица, я чувствую пульс ее жизни, ритм ее движения — живой, размеренный, радостный.

Площадь на краю Южной бухты. Бронзовый Ленин рас-простер свою руку над ней. Вдали — белоснежная колоннада Графской пристани, между колонн синеет, играет море.

К высокобленному деревянному пирсу один за другим под-руливают моторки, катера.

— Смирно! — раздается четкая команда.

— Вольно! — вторит другая. И новая группа краснофлотцев — бескозырок, синих воротников, отутюженных клешей — вливается в теплую уличную суэту.

Позванивают телеграфы, причаливают, отваливают катера, пофыркивают моторы, захлебываясь от волн. Играет, качается на ней густая нерастворимая синева севастопольского неба, легкие белоснежные чайки, как клочья пены, подпрыгивают на гребне, плавятся на горячих бликах солнца...

С Корабельной стороны доносятся гулкие протяжные удары металла о металл и частые строчки пневматического молота, клепающего стальной остов корабля. Над Морзаводом протянул гигантскую руку плавучий кран. Он, как рыбак на крючке рыбу, вытянул торпедный катер с красным от суртика брюхом.

Поет, звенит, играет Севастополь. Галдит живописный базар, красочный, яркий. Он приютился у самого моря. На бурых, пахнувших йодом водорослях подпрыгивает, извивается, сверкает серебром голубая скумбрия.

- Чебуреки! Сочный чебуреки!
- Пахлава, как мед! Вай, вай! Как мед!
- Камбала! Камбала! Там была, а зараз туточки!
- Свежая живая султанка! Султанка!
- Кому сладкая черешня?..

Стараясь перекричать друг друга, тянут нараспев с разноязычными акцентами медные от солнца и моря просоленные рыбаки и рыбачки, продавцы фруктов и восточных сладостей, зазывая покупателей.

Море, вздыхая, покачивает ялики, шлюпки, шаланды. Поскрипывают в уключинах весла, стонут на мачтах, кивая палусами, реи.

Вечер. Толпа вынесла меня на Приморский бульвар. На низкой, окружающей фонтан скамеечке сидят в глубокой задумчивости седые внуки героев легендарной обороны Севастополя. Столетняя, поседевшая ива склонилась над уснувшей в бассейне водой. Тихо шуршат шаги по гравию дорожек. Прогуливаются моряки, крепко прижимая к синим воротникам плечики любимых.

Мазки заходящего солнца густо легли на Константиновский бастион. Над розовой бухтой замерла тишина, и только изредка протяжно стонет на морском фарватере буй.

...Спустя два года я снова шел по знакомым улицам и бульварам. Ничто, казалось, не изменилось, только мелкие штрихи напоминали о том, что сейчас война. Даже странно: ехал на фронт, а попал в военную крепость, увидел жизнь спокойную, размеренную, без тревожной сути, без наклеенных полосок бумаги на окнах — не в пример нашей столице.

Эмалевое небо. Синие бухты. Острые зигзаги чаек. Йодистый запах моря. И нет в толпе белоснежных лепестков бескозырок.

У орудийных стволов на кораблях сняты белые чехлы. Зенитки смотрят в небо. Севастополь ждет...

Золотые каскады горячего солнца обрушились на город. Хочется жить, дышать, петь, радоваться. И вдруг... Война! Где же она? Где ее разрушительный след, ее огненное дыхание? Где следы бомбекки 22 июня?

Я иду по городу. Новенькая флотская форма непривычна — то и дело приходится отвечать на приветствия краснофлотцев и изредка самому отдавать честь первым. Вот и сбылась мечта детства. Я нежданно-негаданно волей судьбы стал военным моряком. В такт моему шагу непривычно бьет в бедро по-морскому низко подвешенный наган.

Я задумался о чем-то.

— Товарищ командир! — послышался строгий окрик. —

Почему вы не отдаете честь старшему по зва... Микоша! Дорогой! Ты ли? Нет, не может быть! В таком виде — моряк по всем статьям! Дай я тебя обниму, генацвале!..

На Большой Морской я столкнулся лицом к лицу со своим старым знакомым — капитаном 1 ранга с линкора «Парижская Коммуна» Михаилом Захаровичем Чинчадзе. Несколько лет назад мы узнали друг друга и подружились на флотских маневрах.

Я рассказал Михаилу Захаровичу, что теперь назначен флотским кинооператором, неожиданно стал капитаном 3 ранга. Моя профессия, конечно, как и кинокамера, остались со мной и стали служить общему делу. Меня уже знали на многих кораблях, всюду приветливо встречали как своего, флотского «киношника».

...Только один день был для меня в Севастополе мирным, солнечным, безмятежным. Война пришла с воздуха на рассвете следующего дня. Появились юркие «мессеры», а за ними черными стаями «козлы» — пикирующие штурмовики Ю-87. Они неожиданно высаживали из-под горячих лучей солнца и едва ли не отвесно устремлялись один за другим вниз, на корабли.

Каждый день с рассвета я был уже на ногах и ждал прилета «гостей». На этот раз находился на берегу возле Сеченовского института, стоял с киносъемочным автоматом «Аймо» у железного трапа, следил за моментами воздушного боя и не заметил, как со стороны солнца нагрянули Ю-87. Мой взгляд приковали наши «яки» и «мессеры». Только когда просвистевшие бомбы подняли высокие фонтаны воды около проходившего крейсера «Красный Кавказ» и взрывная волна посадила меня на бетонный пирс, я очнулся и начал снимать.

Снимать! Я был профессиональным оператором-кинохроникером, но в первой встрече с грозным, еще неведомым мне «сюжетом», видимо, выглядел неумелым любителем.

Первая съемка в кутерьме налета, грохоте зенитных огневых средств определила мое место во время бомбёжек. С этого дня началась для меня война, началось мое участие в создании кинолетописи города, который потом назовут героем.

Каждую ночь падали на Севастополь бомбы, каждую ночь взлетали на воздух дома, гибли в завалах люди. Не прошло и ста лет, как снова обагрились кровью белые камни легендарного города. Пороховой дым застлал синие глаза бухт и горьким черным шлейфом опоясал кварталы. Развеси-

стые грибы взрывов высоко взметнули в прозрачную синеву  
чеба свои грязные кудлатые головы...

Война и пришла в Севастополь с неба.

Ночь как ночь, только звезды ярче вчерашнего. Вчера  
едкий дым застилал и звезды, и глаза. Я иду знакомой тро-  
пой среди развалин.

Тишина... Тяжелая, весомая, гнетущая... Может быть,  
Севастополь заснул, и в выбкой тьме среди руин витают  
страшные сны? Нет, город не спит — он притаился и ждет.

Чего же хорошего можно ждать на войне от тишины?  
Я жду. Жду не один. Весь осажденный Севастополь ждет.  
Выжидает и враг, окруживший город.

Яркая вспышка высветила полнеба. За ней новые вспо-  
лохи, еще и еще. Наконец канонада накатилась лавиной  
звука и света и, нагрузив до последнего предела ночь, смыла  
звезды. Все смешалось, стало дыбом — и город, и море, и  
небо. Вспышки то, как молнии, кололи небо на части, то вос-  
пламеняли его сразу, целиком. Бомбы и снаряды перемы-  
ливали заново уже давно разрушенный город.

Враг бросился на последний приступ 7 июня. В течение  
восемнадцати суток, начиная с 20 мая, сила артиллерийско-  
го огня и авиаударов нарастала с каждым днем.

Зашитники Севастополя дали клятву стоять насмерть, до  
последней капли крови, до последнего патрона. Но боепри-  
пасы иссякали, иссякали силы людей. Скоро наступит ко-  
нец. И от этого никуда, видимо, не уйдешь.

Короткая южная ночь была на исходе. Земля под нога-  
ми вздрогивала, и порой казалось, что и она не выдержит —  
развернется. Не успели над Константиновским равелином  
погаснуть бледные звезды, как до зубов вооруженная и вы-  
школенная вражеская пехота ринулась на штурм истощен-  
ного, смертельно измученного севастопольского гарнизона.

Атака была стремительной, злой и упорной, но овладеть  
городом гитлеровцам не удалось. Незначительное продвиже-  
ние вперед стоило им огромных потерь в живой силе и тех-  
нике.

...Потеряв крышу гостиницы «Северная», мы с Левинсо-  
ном лишились и постоянного места пребывания, перешли на  
«цыганский» образ жизни, как заметил мой друг. Сначала  
нам удавалось хорошо высматриваться на передовой, в окопах  
бригады полковника П. Ф. Горпищенко, но, когда фашисты  
продвинулись вперед, нам пришлось искать другое место  
почлега. Вскоре мы нашли его. Им оказалась небольшая зе-

леная балочка недалеко от Херсонесского аэродрома. После захода солнца Прокопенко отвозил нас туда на ночевку, и мы имели возможность передохнуть до рассвета. Но вскоре балочку заняла минометная часть, а мы получили разрешение расположиться в штоле под скалой на Минной.

— Там нам будет веселей... Мы снова будем в компании журналистов. Они уже перебрались туда из редакции «Красного Черноморца». А тот — помнишь? — лейтенант Клебанов, с которым мы шли сюда на тральщике, теперь ответственный секретарь газеты, — говорил по дороге на Минную Левинсон.

Пирс Минной пристани был пуст и безлюден. Большие ворота в штолюню были заперты, и мы, войдя в маленькую дверку, очутились в душной темноте. После яркого солнца глаза никак не хотели привыкать к тяжелому сырому полумраку.

— Ну, знаешь, дорогой друг! Лучше помереть под солнцем, чем быть заживо погребенным в этой могиле!

Штолня — огромный тоннель, высеченный в скале, была наполнена людьми, бледными, худыми, истощенными. Одни работали у станков, другие спали тут же, у рядов выточенных снарядов и мин. Тут же верстальщики «Красного Черноморца» делали очередной номер газеты. Поодаль, в стороне, пробивали второй тоннель сквозь скалу — запасной выход из штолиши. Накануне фашистам удалось прорвать участок нашей обороны на Северной стороне, и теперь со дня на день они могли выйти к Сухарной балке. Тогда старый выход из штолиши на Минную пристань будет под пушечными ударами прямой наводкой через залив.

Мы стояли пораженные, и чем больше наши глаза привыкали к мраку, тем больше из него выплывало удивительных деталей жизни подземного города.

— Жаль, об этом только журналисты могут написать, а нам нужен свет. А взять его негде... Какой фильм мог быть! Но его никто никогда не увидит...

Перед тем как отправиться в штолюню, мы с тревогой наблюдали за нашими истребителями.

Они штурмовали немецкую пехоту, прорвавшуюся на Северную сторону в районе Братского кладбища. Красно-зеленые трассы взирались в потемневшую землю совсем недалеко. Нас отделяла от гитлеровцев только полоска морской воды.

Спали мы первую ночь в штоле скверно, хотя у каждого была неплохая матросская койка. Не покидало сознание, что немцы вот-вот закроют выход из штолиши, и мы оста-

немся погребенными здесь. И потому было душно, нас одолевало непреодолимое желание выбраться на воздух.

— Ну что, киновезунчики, не спится? Немцев боитесь или духоты? Не привыкли к такой тишине? — К нам подошел старый знакомый Семен Клебанов. — Значит, звезды привыкли считать? А тут даже лампочки вполнакала и то редко горят.

— Брось дурачиться!.. — обиженно бросил Левинсон и сел на койке.

Клебанов устроился рядом.

— Хорошо, буду, друзья, серьезен... Положение больше чем тяжелое. Вам надо, пока еще не поздно, подаваться на Кавказ. Я пришел предупредить вас: готовьте отснятую пленку. Наша редакция через пару часов уходит на тральщике в Сочи. Такая команда поступила, ребята. Мне даже как-то перед вами неудобно — вы остаетесь, а мы уходим...

— Снятой пленки не так много, но если не довезешь, сам понимаешь, вся наша жизнь здесь, в Севастополе, вроде бы была ни к чему.

— Доставлю, — обещал Клебанов.

Через несколько часов мы расстались с друзьями. Поспать нам в эту беспокойную ночь так и не пришлось.

Наутро с Большой земли снова пришла хорошо знакомая «Абхазия». Она ошвартовалась под крутым боком Сухарпой балки. Охраняя судно от вражеской авиации, сразу навалились на нее и закрыли со всех сторон густые, тяжелые клубы дымовой завесы. Над городом непрерывно рыскали «мессеры». Они ходили над бухтами нахально, безнаказанно. Пилоты, видимо, поняли, что зенитчики берегут боезапас для стрельбы прямой наводкой по наземным целям. Команда «Абхазии» лихорадочно вела разгрузку трюмов. Нужно было закончить ее до наступления темноты и взять на борт раненых. Под покровом ночи теплоход снова должен был прорваться на Большую землю.

Чем выше поднималось солнце, тем слабее становилось дуновение ветра. В полдень ветер стих, дымовая завеса сразу же белым столбом поднялась к небу и открыла «Абхазию». Фашистские летчики только этого и ждали.

Мы стояли с Левинсоном на берегу Минной недалеко от входа в штолнию. Я держал «Аймо» наготове и следил за приближающимися к «Абхазии» «юнкерсами».

— Увидели гады!

— Смотри! Выходят на цель сволочи! — Левинсон не говорил, а кричал. — Снимай! Снимай! Пусть все увидят, все! Пикируют на беззащитный транспорт! Там ведь раненые!

Рев пикирующих самолетов заглушал голос Левинсона и звук работающей камеры.

Снимая, я не сводил глаз с черной стаи — три, четыре, пять... Они заходили со стороны электростанции. ...Тринадцать, четырнадцать... Я перестал считать — в визире «Айм» эскадрилья не вмещалась. Хорошо было видно, как оторвались бомбы от первых трех спикировавших «юнкерсов».

Вздыбилось море. Казалось, время замерло и остановило в воздухе стену воды. Наконец она упала.

— Ура! — закричал Левинсон.— «Абхазия» цела и невредима! Промазали, гады!

Но радость его была преждевременной. Появилась новая эскадрилья. В это время к теплоходу подваливал небольшой портовый буксир.

— Ложись!

Оклик Левинсона бросил меня на землю. Повернув голову, я увидел, как прямо на нас пикировал «юнкерс».

Ни свиста бомб, ни взрывов я почему-то не слышал. Меня просто вроде бы приподняло и потом сильно ударило о землю. Я ловил открытым ртом воздух и не мог вздохнуть. Черный дым закрыл все вокруг.

— Владик! Ты жив? — услышал я сквозь непонятный шум в ушах надсадный крик Наума Борисовича.

— Жив, кажется...

— Ты ранен? Почему не встаешь? — Левинсон потряс меня за плечи, помог встать на ноги. — Опять! Смотри, идут! Сколько же их?..

«Юнкеры» теперь шли прямо через Минную над нами. «Абхазия» стояла открытая, беззащитная.

— Много, в кадр не лезут, сволочи...

Камера работала, но из-за рева моторов еле слышен был ее ход. Я через голову вел panoramu — самолеты были уже надо мной. Было очень трудно сохранять равновесие, я боялся, как бы не завалиться назад, и это почувствовал мой друг, вовремя поддержал меня за плечи.

В визире был виден буксир, проходивший в этот момент под высоким бортом «Абхазии». То ли в него попали бомбы, то ли его целиком закрыла вздыбленная вода, но он вдруг исчез. Потом было видно, как бомбы упали на бак судна. Взлетела вверх черная крестовина мачты и долго, как мне показалось, висела в синеве неба. Над «Абхазией» взвилось яркое пламя, и все снова смешалось с каскадом поднятой воды.

Камера остановилась. Кончился завод. Я решил перемянить точку и подойти ближе к краю пирса. Заведя пру-

жину, шагнул вперед, но тут же, потеряв равновесие, упал, сильно ударившись плечом о землю.

— Тонет! Тонет! — кричал Левинсон. — Снимай скорей!.. Что с тобой?

Мне удалось встать на ноги, и я увидел, как, накренившись на правый борт, оседает «Абхазия». Отсняв весь завод, машинально шагнул вперед, но снова упал и ударился еще больше.

— Ты все же ранен. Сиди, не вставай больше, сейчас посмотрим! — Левинсон наклонился надо мной.— Странно, брюки пробиты, а крови нигде нет. Болит нога?

Странно, ни боли, ни царапины.

С помощью Левинсона я поднялся, но правая нога не слушалась.

— Не больно, а ступить не могу! Неужели контузия? Только этого мне не хватало.

— Идем в штолнию. — Левинсон взял меня под руку.

— Подожди, дай пленку досниму!

Поддерживаемый другом, снял полузатонувшую «Абхазию», воздушный бой прямо перед нами над бухтой и, когда кончилась пленка, доковылял при помощи Левинсона в укрытие. В штолнию было сыро, душно и мрачно. Забравшись с трудом на койку, я попытался уснуть...

На другой день утром, тяжело хромая, с помощью Левинсона я вышел на Минную. Перед нами на другой стороне бухты лежала на боку полу затопленная «Абхазия». Сердце сжалось от боли.

— Здоровеньки булы! — приветствовал нас, подкатив, Петро.

Мы помчались к Севастополю. Нам предстояло проехать простреливаемую зону дороги наверху горы. Над городом, пизко пронизывая черные дымы, шныряли «юнкеры» и «мессеры».

— Летают подлецы как хотят. Неужели это все? Ты знаешь, не верю, не хочу верить...

Глаза Левинсона стали злыми и непримиримыми.

Подъем кончился, и мы выскошли на каменистое плато над Минной. Петро затормозил газик под скалой у последнего поворота дороги. Дальше шел голый участок, даже без обычного кювета. Он тянулся километра на два, и на нем беспрестанно рвались мины. Немцы блокировали дорогу, пытаясь отрезать единственное сухопутье, связывающее Минную с Севастополем.

— На большой скорости можно проскочить... Ты как думаешь, Петро? — спросил Левинсон.

- Хиба ж я знаю? Мабуть, проскочимо!
- Заводи мотор и жди команды! — приказал Левинсон и, как только стрелка часов дошла до без четверти девять, крикнул: — Вперед!

Немцы и на этот раз подтвердили свою пунктуальность. Едва мы проскочили половину пути, как на участке, где еще не успела рассеяться пыль от нашего газика, появились сразу шесть разрывов.

Над городом висел непрерывный грохот. В бухтах то и дело вздымались белые столбы от бомб и снарядов. Низко шныряли «мессеры». Их черные тени, ломаясь и извиваясь, прошлились по руинам и развалинам.

Круто пикируя, один «мессер» обрушил огонь на Лабораторное шоссе. Там вспыхнуло пламя.

— В цистерну с горючим влезил, паверное! Как точно стали бросать, подлецы! — раздраженно кричал Левинсон.

— Некому ему мешать целиться! Чего уж проще...

Я завел автомат.

Немного переждав и разобравшись в обстановке, мы ринулись вниз. Я заметил сосредоточенный огонь тяжелой артиллерии на Северной стороне. Немцы уже овладели северной окраиной и стремились прорваться к берегу. В районе Константиновского бастиона их не было. Нам хорошо видно, как вела беспрерывный огонь батарея № 10 капитана Матушенко.

— Какой молодец! Держится еще! Немцы-то совсем рядом. Смотри, как он их долбит!

Спускаясь с Малахова кургана, мы успели заметить в прорывах дымовой завесы эсминец «Свободный». Он, как обычно, стоял на «бочке» около Павловского мыска, напротив метеослужбы.

Неподалеку ухнула мина. В машину со звоном врезалось несколько осколков. Пришлось ставить запаску. Левинсон усиленно помогал Петру, а я с аппаратом в руках следил за разбоем обнаглевших немецких летчиков. Зенитки, видимо, экономили боезапас для огня по наступающей пехоте и самолетами уже не занимались. А остатки нашей авиации, сосредоточенные на Херсонесе, не могли везде успеть.

«Юнкера» рыскали над руинами, выискивая малейшие признаки живой силы или огневых точек. Снимать было сравнительно легко. Немцы, ничего не боясь, летали низко.

Вдруг в воздухе появился наш краснозвездный истребитель.

— Снимай! Снимай! — крикнул не своим голосом Левинсон.

Я видел, снимая, как он летел на бреющем, чуть не задевая развалины, потом взмыл свечой, атакуя «юнкерс», и снова исчез за скелетами обгорелых домов.

Мне удалось поймать в кадр падающий, объятый пламенем Ю-88 и довести panoramu до самого горизонта. Дрогнула земля, и к небу поднялся столб огня и черного дыма. Завод кончился, камера остановилась.

— Ни один не успел выпрыгнуть! Туда им и дорога, подлецам!

...Наконец мы снова вырвались из хаоса кирпичей на асфальтовое шоссе.

— Петро, давай что есть духу на Херсонес! — сказал я.

...Аэродром был пуст. На середине взлетной площадки стоял брошенный железный каток. Несколько дней назад им закатывали воронки.

После небольших поисков на берегу моря под высоким обрывом мы нашли майора Даюбу. Ожесточенно жестикулируя, он разговаривал с группой офицеров.

Мы подошли и остановились в сторонке.

— Вы что, ребята? — сдерживая себя, вежливо спросил Даюба. — Знаете, мне сейчас не до вас, друзья... Вчера КП наш накрыло тяжелым снарядом. Почти все погибли. А снимать у нас нечего. Лучше подавайтесь отсюда. Скоро, видно, будет массированный налет немцев...

Мы пошли к машине. На сердце — болезненная тревога. Совсем недавно аэродром был жив. Теперь большинство капониров пустовало, некоторые стояли разрушенные...

Мы нашли недалеко от дороги каменистую ложбинку с кустами и укрыли там газик.

— Летят! — кивнул в сторону Качи Левинсон.

Я поднял «Аймо» на плечо.

К Херсонесу одна за другой приближались эскадрильи.

— Черно даже. Как воронье... — зло цедил сквозь зубы Левинсон.

— Да, немцы, видать, решили сегодня разделаться с нашей авиацией...

«Юнкеры» все ближе. Я нажал рычажок, а через несколько секунд завыло, засвистело небо. Под нами дрогнула и заколебалась земля. Эскадрильи одна за другой заходили и высypали свой груз на капониры, блиндажи, берег...

Аэродром молчал. Ответа не было. Все покрылось дымом, пылью.

Потом наступила тишина.

— Смотрите, будто бы в море транспорт горит, окутанный дымом. Сними на всякий случай, и поедем в город.

— Подожди немного — может, кто-нибудь появится? Нет, ужели никто не уцелел?

Мы сели в машину, но с места не трогались. В этот момент майор Даюба спокойно вышел с группой летчиков проверить свое поврежденное хозяйство.

Петро рванул газик, и он запрыгал, заторопился по разбитому ракушечнику навстречу вздыбленным развалинам Севастополя.

На КП мы попали вовремя. Успели проскочить между двумя налетами. Спрятав машину, нырнули в пещеру. Левинсон пошел в штаб выяснить обстановку, а я остался в укрытии.

Вдруг воздух прорезало необычное завывание. Я выскочил наружу. Немцы на этот раз бросали с самолетов куски рельсов, пустые продырявленные бочки от бензина и другие предметы. С воздуха проводилась психологическая атака.

Душераздирающие звуки приводили в смятение даже сильных духом людей, не раз прошедших сквозь огонь и штормы.

И еще сыпались на нас с безоблачного неба зажигалки. Я снимал. Матросы быстро гасили бомбы, засыпая их сухим песком.

Налет кончился.

У Павловского мыска, напротив метеовышки, густо окутанный дымовой завесой, отстаивался до темноты эсминец «Свободный».

Левинсон увел меня в подземелье. Мы некоторое время наслаждались тишиной и покоем. Потом пришел вахтенный:

— Операторы? Вы катер заказывали? Идите, он ждет вас при выходе, налево у пирса! Торопитесь, пока отбой!..

...Катер выскочил на полном ходу из-за водной станции, и мы увидели пылающий корабль. Я начал снимать. Вся палуба танкера была в огне. Сбившаяся в кучку на баке команда поливала пламя из огнетушителей. Это занятие, несмотря на всю трагичность ситуации, выглядело смешно, несерьезно... Всем ведь было ясно, что судьба корабля предрешена и нужно немедленно его покидать.

С правого берега подошел вплотную пожарный катер. Все стволы работали в полную силу, и под их прикрытием удалось вовремя снять с борта всех уцелевших и раненых.

С трех сторон на разной высоте шли бомбардировщики. Сначала нам показалось, что они заходят на Графскую пристань, но когда я увидел открытый эсминец «Свободный»,

меня затрясло мелкой дрожью. Дым завеса, потеряв ветер, поднималась столбом в синее небо. Мы до деталей знали все, что должно сейчас произойти. Наш катер двинулся к «Свободному». Я начал снимать. Десятки «юнкерсов» пикировали на неподвижный корабль. Его палубы ощетинились густым зенитным огнем. Затем все исчезло за огромным фонтаном. Только гул, страшный гул разрывов смешался с зенитными залпами. На нас обрушилась упругая взрывная волна и больно ударила о борта катера.

— Мерзавцы! Попали! — Левинсон тут же охрип и замолк...

Да, бомбы угодили в эсминец, в середину корабля.

Я снимал. Зенитки продолжали бить по врагу, но их было уже мало. Часть расчетов погибла, раненые, обливаясь кровью, продолжали стрелять, а палуба под ними уходила в море.

— Владик! Пора уходить! Все кончено! Как бы теперь за нас гады не принялись! — кричал Левинсон.

...Мы ушли вовремя. Новые эскадрильи самолетов привились снова перемалывать город.

Наступил вечер. Немного прия в себя, мы поехали ночевать из города в сторону Херсонеса. Пробираться обратно на Минную не решались. По пути заскочили в разбитую гостиницу, захватили несколько одеял.

— Стойте! Куда вы, друзья?! — остановил нас спецкор «Красной звезды» Лев Иш.

— Если хочешь переночевать под звездами, поедем с нами.

— Красота! Хоть разок выспись напоследок, — сказал Лев, подсаживаясь к нам.

— Почему напоследок? Ты что, на Большую землю сбрался? — спросил Левинсон.

— Да вы что? Неужели не чуете, как близко мы от неба, а не от Большой земли?

Над Севастополем полыхало зарево. В небе ревели моторы. Глухо и протяжно охали взрывы бомб. Земля стонала в предсмертных судорогах.

Не доехав до Херсонеса, мы свернули в зеленую балочку, расстелили одеяла в высокой прохладной траве, улеглись.

— Ты знаешь, Владик, нам ведь теперь не уйти отсюда... — сказал Иш. — Но я ни о чем не жалею. Только вот жалко, если это не дойдет до людей! — Лев любовно погладил толстую тетрадь: — Здесь вся моя жизнь. Здесь — Севастополь...

...На следующий день мне стало совсем худо. А Петро поехал заправить машину в Камышовую бухту, и мы его не дождались: видимо, попал под снаряды...

Что было дальше? Приказ командования: немедленно отправиться на Большую землю. Возражения никого не убедили. Оператор без возможности передвигаться — балласт для других.

— Я переправлю тебя на Большую землю и немедленно вернусь сюда с Федей Короткевичем. Даю тебе слово — Севастополь без оператора не останется! Ты мне веришь? — говорил Левинсон. — А ты свое дело сделал.

Словом, прощай, Севастополь! Хотелось бы с тобой еще увидеться!

Через несколько дней я уже был на Большой земле, далеко от города, в который ворвался разъяренный, но обессиленный враг...

## Часть третья

### ЧЕРЕЗ ОКЕАНЫ

Все кончено. Сердце оборвалось.

«Наши части после упорных боев оставили Севастополь...» — прочел я, уже будучи на Кавказе, сообщение Совинформбюро.

Из Туапсе на десантном самолете меня переправили в Москву. С центрального аэродрома на Ленинградском шоссе я кое-как добрался до нашей студии в Лиховом персулке.

Первым, кого я встретил, подходя к студии, был Александр Петрович Довженко. Он шагнул мне навстречу, обнял меня. Теплый ветерок ласково шевелил его серебряные волосы.

— Я рад, Владислав, что вы живы, что могу обнять вас... Я верил, что вы вернетесь, — сказал он, держа меня за плечи. Нежность и доброта светились в его усталых голубых глазах.

— Да, но Севастополь в руках у фашистов...

Александр Петрович так пристально посмотрел мне в глаза, с таким отцовским участием и теплом, что на сердце у меня впервые за все время войны разлилось спокойствие.

— Давайте посидим здесь на солнышке, потолкуем, — предложил Довженко, и мы присели на лавочку.

— Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Мне тоже тяжело, а им, может быть, еще тяжелее. — Он показал взглядом на двух пожилых женщин с детьми на руках, проходивших за оградой студии.

Довженко сам был на фронте, у него на груди, как и у меня к тому времени, сиял орден Красного Знамени. Он был военным корреспондентом и в то же время работал над фильмом «Битва за нашу Советскую Украину».

— Как вы считаете, когда человеку легче перенести сильное горе — в одиночестве или когда его окружают такие же

пережившие беду, как и он сам? Только не пытайтесь ответить сразу, это не так просто. — В глазах Александра Петровича загорелся холодный огонек. — Все русские люди должны склонить головы перед памятью героев, обороныавших город. Поклониться в пояс руинам Севастополя и дать волю гневу, чтобы укротить безмерное горе... Расскажите, пожалуйста, как жили и умирали там люди...

Расспрашивая меня, Довженко в то же время рассказывал о себе. Не просто о себе, а о том, что видел и пережил сам, — он говорил о горящих городах, о страданиях людей, о смерти.

На следующий день, узнав, что я собираюсь вернуться на фронт, Александр Петрович приехал ко мне, чтобы дать задание для его будущего фильма. Довженко так ярко, конкретно и образно рассказывал мне о том, как он хочет показать войну, что у меня как бы заново открылись глаза на все пережитое.

«Кем я был до этой встречи? Неужели ремесленником?..» — думал я, слушая Довженко. А он рассказывал, тут же иллюстрируя свои мысли рисунками, набрасывая карандашом кадр, сопоставляя его с другими. (Я долго возил их с собой — эти рисунки, по фронтам, пока не «искупался» на переправе через лиман под Таманью.)

— Не стесняйтесь показывать страдания людей, — говорил Александр Петрович. — Страдания, слезы, смерть. Ибо в этом огромная сила утверждения жизни. Покажите раненого на поле боя солдата, тяжкий солдатский труд. Снимите смерть бойца. Не стесняйтесь — плачьте сами, но снимайте... Пусть видят все, как и ради чего он умирает. Ибо гуманистична смерть ради жизни. Снимите на поле боя медсестру, совсем девочку, хрупкую и юную. Снимите перевязку. Крупно — нежные маленькие руки, рану и кровь. Снимите глаза сестры и взгляд раненого. Снимите людей, ибо они своим непосильным трудом и страданиями делают будущий мир. Снимите врага, его звериный облик... — Довженко замолчал, задумался на секунду и продолжал: — Я говорю не просто о фашисте... Он такой же, как мы с вами, похож на человека и может вызвать жалость и участие. Русскому присуща гуманность и человечность больше чем кому-либо другому. Я говорю о содеянном им зле. О том варварстве и педантичности, с которой он расстреливает наших людей, жжет села и города, калечит нашу землю. Все это и будет подлинным обликом, настоящим лицом фашиста — зверя, врага человечества, варвара двадцатого века. Для этого не нужно ходить в тыл к немцам, хотя и это не исключено.

Присмотритесь к дорогам войны. Дорога — сама по себе лицо войны. По дорогам идут войска в наступление, по дорогам отступает враг, оставляя расстрелянных и повешенных... Присмотритесь к дороге — и к той, которая проложена, и к той, которую прокладывает война... Покажите, что такое война. Вы не раз показывали ее в Севастополе. Это страшное, потрясающее зрелище... Мы скоро начнем наступление и погоним врага с нашей Родины. Мы погоним его с наших просторов — от Волги через Днепр, Вислу — до Одера, Эльбы, Рейна. Вспоминайте этот наш разговор. Он вам во многом поможет. Поможет показать, как достается мир... Когда-нибудь дети наши по вашим кадрам будут учиться понимать цену жизни, цену мира...

Раньше нам не очень-то рекомендовалось снимать страдания и смерть советского человека. На поле боя советский воин подразумевался физически бессмертным. Так мы и старались снимать, исключая тем самым из кадров подвиг самопожертвования ради жизни.

Сколько я потерял! Да и я ли один? Какие кадры остались неснятыми, какие подвиги не запечатлены на кинопленке...

Короткой была эта встреча. Но она была одной из тех, которые заставляют пересмотреть свое отношение ко многому.

Через несколько дней Довженко вернулся на фронт. А я, все еще прихрамывая, каждый день таскался на студию.

— Ты что нос повесил? Мечтаешь о морях-океанах, мореход? Ну как нога? — Ко мне подошел румяный, веселый, пышущий здоровьем мой приятель кинооператор Р. Б. Халушаков. «ЭрБэ» — коротко звали его на студии друзья. Он только что вернулся с Центрального фронта со снятым материалом и ждал его проявления. — Отобъем еще твой Севастополь! Не раскисай! — Он протянул газету «Известия». — Почитай лучше сводку, может, она тебя настроит на боевой лад.

Мое внимание привлек крупно напечатанный заголовок: «Героический подвиг команды парохода «Старый Большевик». Заметка под ним совсем короткая: «Возвращаясь с грузом вооружения из Америки, корабль подвергся в Баренцевом море жестокому нападению немецких подводных лодок и авиации. После упорной героической борьбы морякам удалось прорваться сквозь вражеский заслон, потушить пожар на корабле и сохранить драгоценный груз».

— Слушай, а если мы с тобой напишем, основываясь на этом событии, сценарий документального фильма о том, как доставляются грузы из Англии и Америки к нам в Советский Союз?.. — предложил я.

— Да что ты! Разве нас пошлют? Это нереально! — усомнился Халушаков.

— Но попробовать ведь можно! Напишем, а там видно будет, пошлют или не пошлют...

Так и решили.

На другой день мы уже трудились над сценарием, хотя мало верили в успех нашего предприятия. Писать оказалось гораздо труднее, чем снимать, но, несмотря на это, сценарий — если наше творение можно было так назвать — был завершен в недельный срок и сдан председателю Госкомитета по кинематографии И. Г. Большакову.

Время шло медленно. Мы терпеливо ждали, нога моя больше не беспокоила. Однажды я пришел на студию с опозданием. У входа меня ждал красный от возбуждения Халушаков.

— Где же ты пропал? — набросился он на меня. — Скорей в машину! Сам Иван Григорьевич Большаков вызывает нас с тобой! Черт возьми, неужели?..

...Иван Григорьевич был в хорошем расположении духа, вышел из-за своего мощного письменного стола нам навстречу, крепко пожал руки.

— Вопрос о вашей поездке обсужден во всех инстанциях и решен положительно, — сказал он. — Собирайтесь! Поздравляю! Ни пуха, ни пера!

Послать его к черту мы не решились.

— И еще... — остановил нас Большаков. — Мы решили с вами послать еще двоих фронтовиков, операторов Николая Лыткина и Василия Соловьева. Так, наверное, будет веселее и легче справиться с большой и трудной работой. Надеюсь, вы не возражаете? Вы их знаете? Как ребята?

— Знаем, Иван Григорьевич! Лучше трудно придумать!

— Ну, я рад! Очень рад! — еще раз пожелав нам успеха, он проводил нас до дверей.

Мы не верили случившемуся и летали по студии как на крыльях, готовясь к дальнему плаванию. Приехал вызванный с фронта из-под Калинина мой старый друг сокурсник по ВГИКу Николай Лыткин, а за ним и Василий Соловьев.

Через неделю нам нужно было выехать в Архангельск.

...Архангельск встретил нас жарой и бесконечно длинными днями. Солнце палило вовсю, не то что в пасмурной Москве.

Наше жильё — гостиница «Интурист» несуразным каменным квадратом доминировала над деревянной массой приземистых домиков с дощатыми тротуарами, напоминая серый, мрачный утес. Сколько времени предстояло ждать и когда в путь, никто не знал. В ожидании, чтобы не томиться без дела, мы решили снять небольшой фильм «Архангельск 1942 года».

Все быстро освоились в северной столице, «добрали» свой довоенный вес и заскучали по настоящему делу.

Положение на фронтах было напряженным. К концу августа особенно тяжело стало под Сталинградом. Фашистам удалось прорвать нашу оборону и переправиться через Дон. А мы сидели и «загорали» в ожидании каравана, жалея о том, что не попросились просто под Сталинград. Два раза пришел караван из Англии. Один раз — остатки каравана из Америки.

Мы тогда не знали — это держалось в строгом секрете — о трагедии в Баренцевом море, когда караван PQ-17 в тридцать пять судов, шедший с военным грузом в Архангельск, подвергся жесточайшему нападению немецких подводных лодок и авиации. Это было в самом начале июля 1942 года. До места назначения прорвались только одиннадцать судов, остальные были потоплены.

Архангельск превратился в город с населением, говорящим на многих языках мира. Иной раз даже не верилось, что мы живем в старинном русском городе. Всюду бродили и шумели на разный лад пестро одетые моряки из команд иностранных судов.

Архангельск не испытал еще ни одного налета вражеской авиации. Город был целехоньким, и жители не знали ни тревог, ни бомбежек. Мы снимали приход и разгрузку судов в порту, вели репортаж-наблюдение на улицах и набережных. На главной улице Архангельска в один из самых жарких августовских дней удивленные жители увидели негров, щеголявших в рыжих лисьих папахах и тяжелых оленьих доах. Мы сняли эту поразительную смесь полярного с экваториальным в контрасте с одеждой горожан, облаченных в легкие летние одеяды.

Неграм было нестерпимо жарко, пот катился с их черных лиц градом, но они были возбужденно-веселы, сверкая по сторонам ослепительными улыбками... Наше недоумение спустя некоторое время рассеял директор городского универмага. Выяснилось, что африканцы на подходе к «красному берегу» были напуганы рассказами об ужасах полярной зимы в Архангельске. Сойдя на берег, негры ринулись в един-

ственный большой магазин, всюду встречая пустые полки. И только в меховом отделе им удалось разгуляться на славу. От радости они скупили все запасы — олени дохи и лисьи папахи.

Кончалось жаркое лето. Приходили одиночные суда, наполняя город новыми партиями иностранцев. А мы в ожидании большого каравана на Запад помогали местным кинохроникерам в съемках фильма «Шестьдесят девятая параллель». Только один раз за это время ушел небольшой караван в Англию. Хорошо, что нас не успели оформить — немцы напали на караван, и почти весь он был потоплен. Только одиночкам удалось прорваться. Оба наших корабля погибли, англичанам удалось спасти только часть команды.

Зашумели дождями холодные ветры. Скоро заснегило, а солнце, улыбнувшись в последний раз, исчезло и не появлялось больше ни разу. Дни стали короткими, мрачными, зябкими. Наши прогулки с камерами по городу и порту сократились. Ну а негры теперь были на высоте. Часто прохожие, ежась от холода, показывали им поднятый вверх большой палец и кричали:

— Вери гуд, камрад!  
— Очэн карачо! Очэн спасибо! — откликались наиболее преуспевшие в русском языке...

Наш отель был наполнен «утопленниками». Так называли спасенных иностранных моряков с потопленных судов и кораблей.

Длинными вечерами мы просиживали в гостинице, читали, учили английский и практиковались в разговоре. Выходя из своего номера, мы сразу попадали в печальный мир погибших кораблей. На дверях номеров висели таблички с не-привычными именами — «Макслей», «Панама», «Грипсхолм», «Канберра»... За этими дверями нашли себе приют уцелевшие члены экипажей лежащих на морском дне кораблей. Они ждали попутного каравана, чтобы отправиться на родину. Все наши разговоры с иностранцами начинались со Второго фронта и заканчивались пожеланиями скорейшего его открытия. Еще летом в Москве, Лондоне и Вашингтоне было опубликовано коммюнике по итогам Вашингтонской конференции представителей Советского Союза, США и Великобритании, в котором сообщалось о том, что «достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач создания Второго фронта в Европе в 1942 году»...

Все понимали, что открытие Второго фронта было бы не только оказанием помощи Советскому Союзу, но и спасением мира от коричневой чумы в наиболее кратчайший срок.

Тогда мы еще не знали, что спустя шесть дней после опубликования обнадеживающего коммюнике правящие круги США и Великобритании в одностороннем порядке решили перенести открытие Второго фронта в Европе на 1943 год. Нам тогда было трудно понять, что для наших союзников главное не победа над общим врагом, а ослабление обеих противоборствующих сторон — и Советского Союза, и Германии.

Надвигалась полярная ночь, а мы все ждали и ждали своего злополучного каравана.

Каждый день мы наблюдали за городом, людьми и прибывающими иностранными кораблями. Они приходили с пробоинами от торпед и снарядов, покрытые славой жестоких морских боев, и доставляли кроме грузов новые группы спасенных моряков в нашу гостиницу.

Каждый вечер переполненный интерклуб кипел, клокотал, как русский самовар. Программа не отличалась большим разнообразием — кинофильм, флотская самодеятельность и два раза в неделю бокс. Конечно, назвать драку в перчатках боксом было трудно, но тем не менее популярность этого вида развлечения среди иностранных моряков была огромной. «Бокс» можно было наблюдать и в остальные дни недели, особенно в ресторане, дансинге и кафе. Что-что, а морду бить друг другу англосаксы умеют в совершенстве, точно по схемам западных кинобоевиков.

Ожидание наше становилось день ото дня все тягостнее и неопределеннее. Мы ждали каравана и не менее напряженно — вестей с фронтов. Гитлер отдал третий приказ о взятии Сталинграда «во что бы то ни стало» к 14 октября.

К этому времени сражение под Сталинградом достигло таких размеров, каких не знала еще история войны. Вести с фронтов были тревожны. Мы понимали, что эти тяжелые дни, возможно, решали исход войны. Не знали тогда только того, что уже бой 14—18 октября решили участь Сталинграда.

А корабли все прибывали. Многочисленные причалы огромного архангельского порта переполнялись ими до предела. И наконец пришел долгожданный последний караван. Вся Северная Двина покрылась густым лесом мачт с флагами союзных держав. Началась спешная разгрузка — надвигалась зима, полярная ночь и замерзание Двины.

Из глубоких трюмов краны выуживали огромные зеленые танки «шерман», фюзеляжи «харрикейнов» и «бостонов», а «студебеккеры» и «доджи» уже сами катились по пирсам в город, на товарную станцию, а оттуда на фронт. Мы

только успевали снимать — день был очень короток, а кинофильм малочувствительна.

— Да, друзья, приходит и наш черед, — задумчиво сказал однажды Василий Васильевич Соловьев.

Мы начинали со всей серьезностью понимать, что нас ждет впереди.

Кроме того, становилось холодно не только на улице, но и в номерах гостиницы, и согревались мы только в постели, напялив на себя все, что было возможно.

А вскоре мы впервые услышали в Архангельске сигнал воздушной тревоги.

Мутные синие сумерки обволакивали город. Сирена выгоняла людей из домов, они бежали по улицам, ища спасения в убежищах, а их было очень мало.

— Как только начнут бить зенитки, откроем окна, — предложил я. — Иначе будем на морозе, оставшись без стекол.

Мой севастопольский опыт здесь мог пригодиться. Наступило томительное ожидание, сидеть под крышей и ждать, когда начнется бомбёжка, не хотелось, и я предложил ребятам:

— Кто хочет, поднимемся на крышу, в случае чего поможем гасить вспыхивающие. Фугасные на деревянный город вряд ли будут сбрасывать.

— Я займусь окнами! Идите! — Соловьев начал звякать шпингалетами.

Мы поднялись на крышу гостиницы и вместе с дежурными ПВО стали ждать приближения самолетов. Прожектора шарили по темно-серому небу, лучи нервно метались из стороны в сторону, ничего не находя.

Вдруг раздался резкий, хорошо знакомый нарастающий рев пикирующего юнкера, одного, другого...

— Ложись! — успел я крикнуть, вцепившись в громоотвод на трубе.

И тут же послышались вокруг характерные хлопки зажигательных бомб. Несколько штук угодило и в здание гостиницы. Те, что не пробили кровлю, мы сбросили лопатами вниз. На чердаке хватали их клеммами и топили в ведрах с водой. Но бомбы продолжали гореть, вода кипела. Только песок укрощал терmitное пламя. Повозились мы все крепко, но пожару возникнуть не дали. Рядом, через улицу, заполыхал деревянный двухэтажный дом.

Вернувшись в номер, мы застали Василия сидящим в шинели у открытого окна. Дали отбой, и все кинулись закрывать окна. Но треск горящих деревянных конструкций все

равно отчетливо слышался с улицы. Все это до боли напоминало мне Севастополь. Наша гостиница была маленьким островком среди бушующего моря огня. От жара со звоном лопались уцелевшие от взрывной волны стекла. Стены и крышу нашего «Интуриста» беспрерывно поливали из пожарных стволов. Всю ночь шла отчаянная борьба с огнем. А фашисты, пользуясь световыми ориентирами, несколько раз возвращались и бомбили город фугасами.

Женщины с детьми метались между горящими домами. От яркого пламени пожарищ было так светло, что мы решились снимать... Мы снимали, как английские и американские моряки помогали населению в этом страшном бедствии. Они смело бросались в пекло и с риском для жизни выносили и выводили людей из охваченных пламенем зданий.

— Ах, жаль темно здесь, смотри, вот молодец, ну и парень! — сетовал и восторгался Халушаков.

Вот долговязый симпатичный матрос с рыжей, как пожар, шевелюрой неторопливо вышел из парадного горящего дома с двумя маленькими детьми на руках. Он успокаивал их на своем языке, не замечая, как дымилась его синяя матрёска роба.

— Света бы сюда хоть немного! — горевал Николай Лыткин, держа в руках камеру.

Из толпы навстречу моряку бросилась какая-то женщина, схватила детей и, убедившись, что они живы-здоровы, начала благодарно обнимать парня, плача от счастья.

Порозовевший от смущения моряк говорил что-то по-английски, но видя, что его не понимают, показал на детей пальцем и снова бросился в огонь.

...Прошел следующий короткий мутно-серый день, прошла длинная, бесконечная, но спокойная, без тревог, ночь, и вдруг неожиданно после завтрака в номер вбежал, переводя дыхание, Халушаков.

— Ур-ра-а, ребята! Уходим! — закричал он.

Мы вскочили со своих мест.

— Завтра! Не верите? Завтра — это... не... розыгрыш... — задыхаясь, выпаливал по одному слову ЭрБэ, вытирая рукавом пот со лба — крутую лестницу он, наверное, одолел одним махом. — И даже сегодня вечером... Вечером — пересезд на корабли. Ты, Николай, и Василий на «Комилес» пойдете, а мы с Владиславом на «Тбилиси»! Так что — большой сбор! Все наверх! Пакуй аппаратуру!..

Наш долгожданный аврал начался унылым утром 16 ноября 1942 года. Распрощавшись друг с другом, мы разъехались по кораблям. Наполовину замерзшая Северная Двина

готова была отойти на долгую зимнюю спячку. 17 ноября ее окрестности наполнились голосами пароходных гудков и сирен ледокольных буксирующих. Эти прощальные сигналы, сливаясь и переплетаясь, звучали грустно и тревожно. Ледоколы легко взламывали еще неокрепший ледяной покров реки, выводя на чистую воду обросшие льдом суда.

...Ровно через два дня — 19 ноября — начнется генеральное наступление под Сталинградом. Об этом мы, конечно, не знали.

Концы отданы. Теперь только вперед. Курс на север. Медленно, плавно, даже чуточку торжественно — так мне показалось — наш большой сухогруз «Тбилиси» отошел от родной земли. Она в немой утренней тишине уплывала от нас, осыпаемая крупными хлопьями снега.

Гулко разносится над Северной Двиной мелодичный гудок нашего корабля. И снова наступает короткая тишина. Ее нарушает шорох трущихся о корпус судна льдин.

— Вот и свершилось! Запиши — первое путешествие Синдбада началось семнадцатого ноября сорок второго. На «Тбилиси» все спокойно, происшествий никаких, как по нашему сценарию, — положив мне руку на плечо, сказал Халушаков.

— Да, об этом еще двадцать лет назад я мечтал в школе, собираясь с дружками удрать в море. Вот, кажется, и «удрал». Только время выбрал не совсем подходящее.

«Тбилиси», набрав ход, пристраивается к длинной кильватерной колонне судов. Они идут строем по валоманному ледяному паркету Двины, а флагман уже скрылся за горизонтом Белого моря.

Наконец «Тбилиси», самый большой в караване пароход, мерно и плавно качнуло на морской волне. Воткнулись в холодно-серое, унылое небо мачты нашего корабля. Когда последний клошок родной земли, постепенно удаляясь, исчез в туманной дали, заныло, сжалось сердце.

— Ну вот и все! Мы в открытом море! — нарушая затянувшееся молчание, с грустью произнес мой друг. Мы долго стояли на палубе, вспоминая прошлое, думая о будущем...

Волны стали выше и длиннее, наш «Тбилиси» начал зарыватьсь в них носом, брызги полетели через капитансскую рубку. Я облизнул губы — они стали солеными.

Прошел день, прошла длинная, бесконечная ночь.

— Ты знаешь, Владислав, мы уже в Баренцевом. Чувствуешь, как поддает? — сказал подошедший Халушаков.

Справа, слева, сзади — суда, суда, большие, малые... Они идут, глубоко зарываясь в высокие ледяные волны.

Скоро пять часов — время ужинать. За иллюминаторами плещется черный соленый мрак. Все собираются в кают-компании за двумя длинными столами. Светло, весело, оживленно. Сидя за столом, каждый невольно посматривает на барометр. От завтрака до ужина стрелка значительно упала, очевидно, скоро за бортом начнется свистопляска.

Ждать долго не пришлось, налетел порывистый ледяной шквал, ударил острым, как стекло, снегом в иллюминаторы и поднял тяжелую волну. И силуэты кораблей, раньше еле различимые впереди, совсем исчезли в белой мгле.

Ветер остервенел. Свистя и завывая, он ринулся на караван. Первое время вообще трудно было понять что-либо. Все смешалось в снежно-водяном вихре. Наш большой, в семнадцать с половиной тысяч тонн, корабль бросало на волнах, как ореховую скорлупу.

Из колючей стремительной темени неслись, то замирая, то усиливаясь, гудки сирены и звон рымды. Ночь несла над взбудораженным морем штормовую симфонию ледяной Арктики.

Караван поднялся до 74 градусов северной широты. Стихия бушевала, бросаясь на корабли. Суда шли вслепую, на ощупь. Сигналили светом только при крайней необходимости, чтобы не дать обнаружить себя подлодкам. Радио не работало — немцы могли запеленговать.

Караван сгрудился и потерял стройность кильватерного построения. Мы не спали всю длинную ночь, часто выходили на палубу и торчали с подветренной стороны, всматриваясь в густую темень. Иногда гудки и звон рымды раздавались совсем рядом. Мы молча, стиснув зубы, переживали моменты, казалось, неизбежного столкновения, и, когда тревожные звуки, удаляясь, затухали вдали, только вздохи облегчения выдавали наше волнение.

Так прошла сумасшедшая ночь. Казалось, она никогда не кончится. Но утро явилось. К двенадцати часам стало заметно светлее. Полярная ночь надвигалась вместе с зимой, и полный день почти не наступал. За ночь корабли разошлись — флагман приказал во избежание столкновения идти до Исландии каждому самостоятельно.

...Прошла неделя, а мы все продолжали наш путь по крутым гребням теперь уже Норвежского моря. За эти дни, вернее, ночи мы потеряли из виду всех, кто еще оставался поблизости в начале маршрута.

— Вот теперь нас голыми руками можно взять... И самое обидное, что мы даже снимать не можем — проклятая ночка! — Халушаков добавил еще пару крепких слов.

— Да, ощущение не из приятных...

В штурманской рубке капитан Субботин показал нам на карте пройденный кораблем путь.

— С караваном мы поднялись вот сюда, видите? Это почти на траверзе Новой Земли. Здесь нас схватил этот проклятый шторм. Зная повадку немцев перехватывать наши корабли за островом Медвежьим, я решился на риск — проскочить вот здесь, у них под носом, между Медвежьим и Нордкаром. Я уверен — они нас здесь никак не ждут. Как вы думаете?

— Значит, так или...

— Я думаю, все-таки так! — кивнул капитан и позвал нас на мостик.

— Смотрите! Видите огни на горизонте? Это Норвегия. Там торчат гитлеровцы. Если проскочим Нордкап, тогда ищи ветра в Гренландском море! — Субботин натянуто улыбнулся, и мы почувствовали, как напряжены его нервы.

...Никто в эту ночь не сомкнул глаз.

На мостике бессменно нес вахту капитан.

— Пойду спрошу... — ближе к утру Халушаков поднялся, зашагал к трапу.

Стало светлее. Вскоре вернулся от капитана мой друг.

— Проскочили! — выдохнул он. — Ты понимаешь, не только проскочили, но отмахали четыреста миль вперед к Исландии. Если все пойдет так же хорошо, говорит капитан, то через двое суток будем у берегов Исландии. Правда, опасность еще не миновала, подлодки могут появиться в любую минуту, но самый страшный участок прошли...

Мы проходим то место Гренландского моря, которое на языке метеорологов называется «кузницей погоды». Обогнули норвежский остров Ян-Майен и держим курс вест на северное побережье Исландии. Капитан назвал нам город и порт в конце глубокого фьорда — Акурейри, где предстояло сбраться всему каравану и потом следовать в Англию.

За завтраком в кают-компанию вошел встревоженный чем-то радиост Хован Иванович Маленков. Все притихли.

— Я принял два сигнала бедствия, — сказал он, — «Торпедированы. Горим». Еще один SOS: «Высаживаемся на шлюпки. Корабль тонет. Помогите». Это наши, по-русски, а вот еще. — Радист показал несколько радиограмм. — В том же духе, только на английском.

Это сообщение произвело на всех угнетающее впечатление. В иллюминаторы стучалась соленая ледяная волна.

...26 ноября. Ночь. Мы вышли на бак. Ветер затих и стал попутным. Тучи разошлись, и сквозь высокие перистые облака проглянула луна, появились звезды. Штурманы воспользовались этим и стали определять точное местонахождение судна.

— Справа по борту корабль! — раздался громкий голос вахтенного.

На горизонте действительно темнел силуэт транспорта.

— Интересно, кто бы это мог быть? — Халушаков поднялся на мостик и через минуту крикнул оттуда: — Наши! «Комилес»! Ну, порядок, живы!

Через некоторое время «Комилес» просемафорил просьбу подождать его, чтобы идти вместе. Вскоре уже шли в паре. В южной стороне моря заметно посветлевшо. На горизонте стал едва просматриваться легкий, как вытянутое в ленту облако, силуэт земли. Это Исландия...

И вот наконец, впервые после Архангельска, из-за снежных вершин, окрашенных смесью золота и багрянца, проглянуло солнце. Исландия предстала перед нами как сияющий кристалл рубина в изумрудной оправе океана.

— Земля! Земля! Смотри, трава зеленая, коровы пасутся! Вот это да! — захлебывался от впечатлений Халушаков. — А ты говорил, что ледяной континент!

Панорама открывшейся бухты с амфитеатром расступившихся гор напомнила мне Чукотку и вход в бухту Провидения. Только цвет моря здесь был совсем иной. Он как таляя вода — зеленоватого оттенка.

Фьорд делает последний поворот и открывает отлогий берег, на котором под сенью сугробов гор притаился маленький городок. Разноцветные домики подогреты изнутри электрическим светом. По улицам снуют маленькие издали автомобильчики, горят ярко и непривычно фонари. Все будто только что умыто — и светлые каменные домики, и ярко-красные крыши. А сверкающие белизной горы придают всему какой-то нереальный, сказочный вид.

К «Тбилиси» направился сторожевой катер.

— Стоп машины! Отдать якорь! — скомандовал капитан Субботин.

...За ночь вокруг нас собралось много судов. Весь следующий день они подходили, наполняя бухту гудками и грохотом якорных цепей.

— «Комилес» сигнализ! Вызывает кинооператоров на мостик! — крикнул вахтенный.

Начались переговоры с нашими коллегами. С помощью сигнальщика мы обменялись приветствиями с Соловьевым и Лыткиным, сообщили друг другу, что все благополучно, а в конце Халушаков спросил, много ли отсняли наши друзья.

— Ма-ло... — прочитал ответ сигнальщик.

— Ответьте им, что мы сняли вдвое больше.

Сигнальщик рассмеялся, передал наш ответ и пожелание дальнейшего счастливого плавания.

Был серый, туманный день, когда «Тбилиси» поднял якорь и покинул порт. Длинной вереницей вытянулись идущие в кильватер корабли нашего каравана. Сколько было потерь до Исландии, мы так и не узнали. Только к вечеру вышли из 25-мильного фьорда. Теперь наш курс лежал к британским берегам.

— Идем в Лондон! — сказал подошедший к нам старпом. — А ваши напарники на «Комилесе» направляются в Гулль! Это для нас большая неожиданность. За время войны в Темзу еще не пускали корабли. Немцы с французского берега довольно легко доставали их береговой дальнобойной артиллерией и топили.

— Вот теперь-то уж поснимаем! — обрадовался Халушаков.

Забравшись к себе в каюту и перезарядив снятую плёнку, мы завалились спать.

Проснувшись, когда в иллюминатор ласкался рассвет. Тонко пищала наверху морзянка.

— Когда же он спит? — удивлялся, зевая, Халушаков и вдруг воскликнул тревожно: — Смотри! Что это?

Мимо нас проплыла торчащая из воды мачта. Так быстро мы не одевались даже по тревоге. Схватили камеры и выскочили из каюты. Было серо, солнце еще не показалось, и света для съемки было недостаточно.

— Идем, как через кладбище: кресты, кресты...

Халушаков стоял рядом у фальшборта с камерой наготове в таком же недоумении, как и я. Слева и справа по борту проплывали покосившиеся крестовины мачт лежащих на дне кораблей. Мой друг снимал и приговаривал:

— Сколько же их тут!

Чем ближе мы подходили к Темзе, тем сильнее накатывала тяжелая канонада. Воздух сотрясался от глухих залпов крупнокалиберной береговой артиллерии из Англии и ответной — из Франции.

— Дуэль через пролив? Чертовски интересно! Но как снять?

Низко над караваном пронеслись стремительные «спитфайеры». Выглянуло помятое солнце и пронизало туманную дымку золотыми стрелами. Выше тумана, описывая большие круги, летали морские бомбардировщики. Прошел мимо встречный караван судов.

Мы начали снимать. Проплыли парусные рыбачьи боты. Впервые мы увидели такие странные, напоминающие крылья дракона, паруса. Показался пологий берег, покрытый густой зеленою травой, на которой спокойно паслись коровы и овцы...

Караван входил в устье Темзы. Справа по борту торчали фабричные трубы, бесчисленные баки топливохранилищ и непроходимый лес поднятых к небу стрел порталных кранов. Левый берег тихий, зеленый. Он напоминал мне Волгу у Сталинграда.

Вот она какая, главная артерия Англии — Темза... Мутная, грязная, не похожая ни на Волгу, ни на Днепр, ни на Дон...

Мы снимали, стараясь отразить все самое характерное, самое, на наш взгляд, «британское». Стада коров и овец на сочных пастбищах, уютные каменные усадьбы с ярко-красными черепичными крышами... Все было чужим, незнакомым, странным, проплывало мимо, и мы снимали, стараясь не пропустить какой-нибудь интересной детали.

...Навстречу проносятся визгливые катера, буксиручики, самоходные узкие длинные баржи, плошкоуты с углем, большие и малые посудины.

«Тбилиси» медленно идет по середине Темзы. Как на большом киноэкране, наплывает на нас огромный серый город. Раскрываются широкой panorамой кварталы, площади, улицы, фабрики, дома. На улицах оживленно, много людей, машин, ярко-красных с пестрой рекламой двухэтажных автобусов.

— Смотри! Это они нас приветствуют! — Я направил камеру на мрачное кирпичное здание, из окон которого махали руками и что-то кричали женщины в белых халатах. Это, видимо, фабрика, и работницам, конечно, знаком красный флаг, реющий на мачте нашего корабля.

— Почему такой малый ход? — спросил я у старпома.

— Мы ведь идем вместе с приливом, он должен подняться до уровня воды в доках, где мы ошвартуемся...

Наконец маленькие буксиручики искусно ввели наш «Тбилиси» в широко открытые шлюзовые ворота «Сори Комершл Док». Слева по борту торчали из воды трубы и мачты большого судна, видимо погибшего при бомбежке. Вместо кор-

пусов пакгаузов — черные обгорелые развалины. Все это больно напомнило Севастополь. И вдруг заныла, напомнила о себе контуженная нога.

— Постарались и здесь сволочи! — сказал я Халушакову, снимая швартовку у пирса с руинами.

Не успели матросы еще как следует закрепить причальные концы, как на «Тбилиси» ринулись толпы докеров — грузчиков, лебедчиков. Мы еле поспевали, снимая первое событие в лондонском порту — разгрузку советского корабля, пробившегося сквозь огонь вражеской блокады. Работа кипела, судно превратилось в муравейник. «Тбилиси» со свободного борта облепили десятки маленьких металлических барж. Марганцевую руду и лес выгружали на пирс и на баржи, быстро меняющие одна другую. Я следил за работой моего друга и старался не дублировать его.

Когда я присмотрелся к англичанам, понял, что профессиональных докеров среди них очень мало, всю работу выполняли в основном допризывная молодежь и старики.

Нашего капитана Субботина поздравили с благополучным приходом в Лондон прибывшие для этого представители торговых фирм:

— Мы горды поздравить вас, господин капитан, с первым визитом в Лондон. Вы впервые провели советский корабль, корабль вашего союзника, сквозь огонь войны в столицу Великобритании. Примите наше искреннее восхищение. Поздравляем и надеемся, что теперь советские торговые суда будут частыми и желанными гостями Лондона.

Трудовая Англия встречала наши корабли радостно. Стихийно возникали митинги на палубах, пирсах, улицах, в клубах. Встречи происходили всюду — случайные и организованные. И все были очень теплыми и дружественными.

Мы радовались: на плenке оставались редкие по силе воздействия кадры.

— Почему бы вот так не жить всем людям на земле, а? Неужеди для того, чтобы понять друг друга, необходима такая тяжелая встряска, как война? — Халушаков вытер вспотевший лоб и стал укладывать «Аймо» в кофр. — Нам пора готовиться на берег. Какой там адрес, помнишь?

— Бейз Уотр, Кенсингтон Палас Гарден файв, — прошел я, достав записную книжку. — Петр Гаврилович Бригаднов — постоянный представитель Инторгконо в Англии. Поедем к нему налегке, без вещей, все узнаем, а тогда заберем с корабля аппаратуру и плenку.

Мы воспользовались посольской машиной и поехали по нашему адресу. Лондон предстал перед нами лабиринтом се-

рых с пестрой рекламой узких улочек, заполненных людьми, машинами и неуклюжими двухэтажными автобусами, на-  
двинулся на нас, оглушил и, будто поглотив, понес в лево-  
бережном потоке. Все было новым, необычным, чужим, и  
мы молча катились вперед, изредка останавливаясь на пе-  
рекрестке перед белой перчаткой высоченного полисмена.  
Я смотрел на приземистые закопченные дома, маленькие ма-  
газинчики, кафе, бары, забегаловки, не переставая удив-  
ляться: и это Лондон?!

Кроме разочарования на нас навалилась и глухая душев-  
ная боль и тоска — так развалины Лондона были похожи  
на руины наших родных городов. То слева, то справа нам  
попадались черные провалы разбитых и снесенных вместе  
с фундаментом домов. Некоторые развалины еще дымились,  
и серые, в грязной одежде люди разбирали завалы.

— И здесь война! Теперь попятно, почему нас так хо-  
рошо встречают англичане. Друзья позпаются в общей бе-  
де, — заметил мой друг.

— Фашисты остаются верными себе, бьют по рабочим  
кварталам. Смотри, какие пустыри!

Наконец мы попали в посольский район на Кенсингтоне.  
В туманной дымке замер пронизанный косыми лучами соли-  
ца Гайд-парк. Непривычной для нас, москвичей, была ярко-  
зеленая трава под голыми деревьями и многочисленные  
криклиевые чайки. Над самой травой пригнули свои острые  
серебряные головы аэростаты ночного воздушного загражде-  
ния.

Кенсингтон Палас Гарден, 5, — старинный двухэтажный  
коттедж с садом. Нас встретил Петр Гаврилович Бригаднов.  
В его уютном домике мы почувствовали себя как дома. Не  
успели как следует наговориться, как в дверь кабинета по-  
стучали.

— Можно войти? — спросили по-английски.

Вошел высокий рыжеватый мужчина и, вежливо раскла-  
навшись, остановился в ожидании.

— Входи, входи, Герберт. Знакомься, это наши опера-  
торы, москвичи. Прямо с фронта.

— Кто я вижу? Нет, нет! Ошэн трудно, нет можно ве-  
рить? — заговорил, коверкая русские слова, визитер. — Ми-  
коша, такой сюрприз! Голубчик! — И Герберт Маршалл,  
бывший студент режиссерского факультета ВГИКа, сгреб  
меня в охапку. Эту приятную встречу подготовил нам Петр  
Гаврилович. Он сидел в кресле, довольно улыбаясь.

Мы долго сидели и вспоминали годы совместной учебы,  
общих друзей, знакомых по институту. Герберт стал не

только режиссером, он был неплохим поэтом и первый перевел на английский Маяковского, всюду горячо и настойчиво пропагандировал его, декламируя на митингах, рабочих собраниях и в литературных клубах.

— Скажи, пожалуйста, как там в Москве поживают мой лучий друзъя Кишишов, Крук?

— Трудно, Герберт, говорить об этом, но их уже нет в живых. Они погибли, как герои, защищая Москву. Ты слышал что-нибудь о добровольцах-ополченцах, которые обороняли нашу столицу? В их рядах они и погибли...

Герберт поднялся с кресла и, устремив взгляд голубых глаз за широкое окно, задумчиво сказал по-английски:

— Я горд тем, что жил и учился с ними рядом. Вечная слава вам, мои товарищи!

Наступила тишина. За окном тихо шумел шинами Лондон. После минутной паузы Герберт сел и опустил голову на руки.

— Герберт, а ты помнишь Колю Лыткина? — начал я, чтобы отвлечь от горестных мыслей нашего друга.

— Что? Коля тоже?..

— Нет, нет! Коля сейчас здесь, в Англии, в Гулле.

— Вот это здорово! Осьэн здорово! Я так рад! Нет больше моих слов!.. — И Герберт расплылся в доброй широкой улыбке.

Мы говорили, говорили и не могли наговориться. За окнами сгущались сумерки...

Как выяснилось, устроиться в какой-либо лондонской гостинице было так же сложно, как и у нас в Москве. Бедному Герберту его готовность нам помочь стоила долгих вежливых переговоров с портье многочисленных гостиниц. Наконец, когда мы потеряли всякую надежду на успех, а на улицы города опускалась декабрьская ночь, Герберт нашел выход:

— Скорей будьем ехать на Оксфорд-стрит, осьэн комфортабельный отель «Кэмберлэнд».

Герберт повез нас на своем «зингере» по темным улицам Лондона.

В «Кэмберлэнде» мы устроились, но прожили там недолго. Бригаднов предложил нам другое жилье, не хуже и совсем бесплатно. Мы стали жить на втором этаже его коттеджа. У каждого из нас был свой жаркий камин и пушистый красный ковер во всю комнату.

Сад нашего дома примыкал к Гайд-парку. Он проглядывал сквозь большие окна мягким карандашным рисунком. Каждое утро мы наблюдали, как в соседнем саду, обнесен-

ном высокой колючей проволокой, прогуливались пленные фашистские генералы.

Соседство, прямо скажем, не из приятных, зато сюда, как выяснилось позже, фашисты не сбросили ни одной бомбы.

Спустя несколько дней в Лондон приехали из Гулля Николай Лыткин и Василий Соловьев. Мы встречали их на вокзале Кингкросс. После крепких объятий посыпались взаимные вопросы.

— Ну как у вас тут в Лондоне? Говорят, туман сильный, ходите по улицам, держась за руки, а то заблудиться можно? — начал, как всегда шуткой, Лыткин.

Маленький «зингер» Герберта всех не сумел вместить, и мы с Николаем отправились домой на метро. Вид у нас был сугубо фронтовой. Оба в выцветшей на солнце военной форме: он в пехотной, я во флотской. Наверное, не часто лондонцы видели советских офицеров в своем городе, да еще не в парадной форме. На нас все смотрели с нескрываемым любопытством и часто задавали вопрос: «Вы откуда?»

Лыткин блеснул своим знанием английского и весь путь с гордостью за нас обоих подтверждал, что мы русские, советские, с фронта.

Пассажиры в метро вели себя очень непринужденно — курили, спорили, громко разговаривали, смеялись, влюбленные целовались, и никто друг на друга, кроме нас, иностранцев, не обращал внимания. Тогда это просто поразило нас.

Все стены станций метро, эскалаторов и даже вагонов были густо покрыты пестрой рекламой. Реклама яркая, четкая, надолго запоминается. «В вагоне курить запрещается, даже сигареты «Абдулла», «Остин Рид ин Риджен стрит!» — это адрес знаменитого модного магазина. И так всюду, на каждом шагу...

Время летело незаметно. Мы осваивались с городом, привыкали к новому укладу жизни. Все было ново, интересно, но на душе — тревога и беспокойство.

— Что происходит, непонятно. Прошло около месяца, а к съемкам мы не приступили. Когда же нам дадут «добро»? — допытывался Халушаков, когда мы возвращались из очередного «похода» по Лондону.

— Герберт вчера рассказал Петру Гавrilовичу, что англичане хотят, чтобы мы снимали военные события в Африке. А мы же за другим ехали...

На этом наш невеселый разговор прервался. Завыла сирена, и над городом повис ужас. Грохот, завывание сирен, яркие всполохи сопровождали нас до дому.

...Днем центр города не выглядел военным — за исключением Пикадилли — Серкес Лэстер-сквера, где увеселительные заведения собирали массу офицеров, солдат, матросов из разных союзных держав. Нам, глядя на это, становилось не по себе: мы ведь тоже были вне войны и слонялись по Лондону, не находя себе дела.

Вскоре мы освоились с новизной и необычностью чужого города и перестали удивляться его образу жизни. После посещения Национальной галереи на Трафальгар-сквере Герберт привез нас в музей мадам Тюссо. Здесь наш всегда находчивый Николай попал впросак. Он предъявил входной билет контролеру у дверей и стал ждать с протянутой рукой, пока тот предложит ему пройти, но билетер вежливо молчал, а Лыткин так же вежливо ждал до тех пор, пока Герберт не грохнул от смеха.

Как оказалось, с этого «служащего» и начинался музей восковых фигур, и, как правило, большинство посетителей с ним попадали впросак. Первыми экспонатами были фигуры Рузельта, Черчилля, Молотова, Сталина. Трудно было поверить, что они восковые — все стояли в естественных позах, как бы оживленно разговаривая друг с другом. Мы в изумлении обходили все новые и новые экспонаты этой уникальной выставки, где были представлены все знаменитости прошлого и настоящего. Впечатление было очень сильное.

...Так шли дни. Мы ждали разрешения снимать. Но еще больше надеялись на конвой в Соединенные Штаты. Скверно было сидеть без дела и ждать, что называется, у моря погоды.

— Не теряйте времени даром. Знакомьтесь с кино, а я вам в этом помогу, — советовал Бригаднов.

И действительно, Петр Гаврилович почти каждый день знакомил нас с лучшими фильмами Англии и Америки.

...Каждый день Лондон открывал перед нами все новые и новые кварталы. То мы попадали в средние века, то в хаос руин и океан пламени. Вокруг собора святого Павла все было превращено в развалины, и только он один стоял среди огромного черного пустыря. Стены храма покрылись коштою, одна из бомб повредила алтарь.

— Вот отсюда, от этих следов современного варварства, мы начали закалять свою волю и мужество, здесь родилась наша настоящая ненависть к немецкому фашизму, — сказал Маршалл.

— Наверное, здесь же родилась симпатия к русскому народу?

— О! Русскому солдату Британия обязана своей свободой. Вы, советские люди, приняли весь удар на себя. Представить страшно, что было бы, если бы этот удар был направлен на нас. Мы, простые люди, этого никогда не забудем.

Симпатию к нам английского народа мы действительно ощущали на каждом шагу. Особенно ярко она выражалась в кинотеатрах, когда на экранах появлялась наша хроника с фронтов войны. Как правило, фильмы шли под аплодисменты, а лента «День войны» режиссера М. Слудского произвела целую сенсацию в Лондоне. Нам, участникам съемок этого фильма, было особенно приятно видеть такую искренность англичан и их солидарность с советским народом.

После окончания сеанса на сцене рядом со скульптурой Ленина, украшенной красными розами, выступили взволнованные ораторы, призывая немедленно открыть Второй фронт.

...Однажды, когда мы, усталые, возвращались на Оксфорд-стрит домой, нас остановил женский голос из толпы:

— Микоша!

— Ого! — воскликнул с любопытством Василий. — Когда это ты успел?

Мы все оглянулись.

— Нет, это совершенно невозможно! Я не верю! Мне сказали, что ты не вернулся из Севастополя!

Мне навстречу шла Людмила Павличенко.

— Люда! Жива! Невероятно! Здесь, в Лондоне...

Мои друзья стояли, ничего не понимая.

— Ты знаешь, я тоже не верю! Ведь мне сказали в Севастополе, что ты попала к немцам!

— Как видишь, ничего этого не случилось!

— Прекрасно! Товарищи, знакомьтесь: это не просто лейтенант Павличенко, это снайпер, который...

— Ну, ну, довольно! — одернула меня Людмила.

— Ладно, не сердись. Они и так все о тебе знают, газеты читают. Я тут ни при чем...

Людмила, как выяснилось, в составе участников студенческого конгресса возвращалась из Америки и ждала в Лондоне воздушной оказии на Москву.

Мы все отправились обедать к Людмиле в «Гайд-парк отель». До поздней ночи проговорили о фронте, о Севастополе, о Сталинграде.

...Следующей ночью небо было особенно шумным. Сотни тяжелых самолетов, пролетая над Лондоном, уходили бомбить Берлин. Всю ночь гудел звездный купол, и только с рассветом наступило спокойствие. Утренние газеты в своих заголовках сообщали о крупных налетах на Берлин, Гамбург, Штеттин.

...Воскресным утром, когда оранжевое солнце поднялось над Лондоном и, пробиваясь острыми лучами сквозь розовый туман, озарило древние силуэты башен, мостов и замков, в Гайд-парке, как в старое добре время, показались важные седые джентльмены в котелках и цилиндрах и сухие леди с лорнетами. Они прогуливались, ведя на сворках не менее породистых, чем они сами, бульдогов, болонок, скотч-терьеров. А по прямым широким аллеям на холеных скакунах медленным шагом дефилировали амазонки. А рядом, в том же Гайд-парке, на большой поляне, огороженной колючей проволокой, женская военная команда противовоздушной обороны поднимала огромный аэростат воздушного зараждения. Все парки Лондона потеряли с войной свои массивные чугунные ограды. Проходя по Кенсингтону, мы видели, как рабочие тяжелыми молотами разбивали уцелевшие их остатки.

— Гуд морнинг! Как дела? — приветствовал их Николай.

— Фивти-фивти! Пусть эта проклятая тяжесть упадет завтра на идиотскую голову Адольфа! — сказал один из рабочих, помахав нам приветливо рукой.

В светло-голубом небе застыли серебряные сигары — аэростаты. На улицах, в парках с веселым криком выются белые стаи чаек.

У подножья колонны Нельсона чьи-то заботливые руки разбросали красные и белые розы.

Голуби, голуби. Тысячи голубей. Порой блекнет на секунду солнце, когда они взлетают в небо.

...А каравана все нет и нет. И ни метра снятой пленки.

Так незаметно наступил новый, 1943 год, третий год войны. Грустно было нам встречать его вдали от Родины. Мне и моим товарищам было не по себе оттого, что мы находились в тепле и свете за хорошо сервированным столом. Странно мы себя чувствовали в нашей фронтовой форме среди празднично одетых людей. Мы знали, что в это время дома решается исход войны, судьба будущего мира. Всеми мыслями, душой и сердцем мы были там...

Завтрак прошел, как всегда, весело и непринужденно, только Петр Гаврилович был на этот раз каким-то задумчивым. Мы собирались уже разойтись, когда он неожиданно сказал:

— Ну вот, друзья! Не могу сказать, чтобы это обрадовало меня, но поступила команда!

— Какая? Снимать? — спросил я.

— Нет, снимать запрещено. Можно только в пути, в ковое. И обратный путь — только через Америку. Корабли, пошедшие в Архангельск, не вернулись... Так-то... Однако на этот раз вам придется идти разными караванами. Разберитесь сами, кто и с кем пойдет с первым караваном.

— Всем бы вместе... — начал я. Но Бригаднов качнул головой.

— Исключено. Зачем лишний риск? Так кто же? Даю вам пару часов на размышление. Первая пара должна быть готова через пять дней! Вот так, дорогие мои... — Он вышел, оставив нас для делового решения.

Халушаков и Соловьев отправились в Америку первыми.

— Как в воду канули! — блеснул русской пословицей Герберт Маршалл через пару бесконечно длинных январских недель.

— Очень похоже... В Атлантике много воды. Но будем надеяться, что скоро сообщат: «Привет из Нью-Йорка!», — пытаясь улыбнуться, сказал Бригаднов.

Но сведений от друзей никаких не поступало.

— Теперь ваш черед, — сказал Петр Гаврилович.

Поздно вечером мы с Николаем Лыткиным, сев в маленький, словно игрушечный, вагончик, покинули Лондон. Дверь в наше купе открывалась прямо наружу. Кроме нас в углу сидел пожилой джентльмен в старомодном котелке с вонючей сигарой в зубах и газетой «Нью-Йорк таймс» в руках.

Коля сидел молча, курил и смотрел в темное окно. Наш сосед, привалившись к высокой спинке дивана, дремал. Газета сползла ему на колени. «Красные остановили наци на обрывистом берегу Волги», — прочитал я огромный заголовок на полстраницы.

— Смотри, Владик! — Николай показал мне взглядом на тот же заголовок газеты. — Вот это радость! Нам бы туда!

Так мы домчались до небольшого портового городка Свенси. Пропизанная сырьим ветром ночь обволокла город. На улицах ни души, только бары и забегаловки подают признаки жизни. На старом, дребезжащем «рено» добрались мы до

порта и с трудом разыскали стоящий у пирса большой пароход. «Пасифик Гроуд» («Тихая роща») — увидел я на корме большую белую надпись.

Мы выгрузили свои вещи и аппаратуру из такси перед трапом. Было темно, неуютно и зябко. Таксист уехал, и мы остались одни. На трапе появился человек, в котором мы признали старпома. Он отрекомендовался и, узнав, что мы прибыли на его корабль, попросил показать билеты.

— Русские моряки! О, я очень рад вас видеть!

Около нас стали собираться члены команды.

— Совет! Рашен! — раздавались громкие возгласы.

Вдруг теплые взаимоотношения сразу охладели. Несколько обесцокенных голосов заглушили веселый шум. Матросы наседали па старпома, что-то от него требуя. Он, пожав плечами, показал взглядом на нас. Сильно жестикулируя, нам наперебой что-то говорили двое матросов.

— Чего они хотят, Николай?

— Не могу понять! Пожалуйста, говорите медленнее!

Наконец старпом, успокоив ребят, объяснил нам, что команда против тринадцатого человека на борту. Все еще было бы, мол, ничего, да, как на грех, из четырнадцати корабельных канареек час назад одна «отдала концы». Дважды тринадцать — это, дескать, совсем худо.

— Может быть, один из вас перейдет на другой пароход? — неуверенно спросил старпом. — Я смогу вам в этом помочь...

Но в это время прибежал радостный стюард и сообщил, что птиц осталось только двенадцать.

— Мы принесем счастье вашему кораблю! Ведь никогда еще на вашу палубу не ступала нога советского человека, а он самый счастливый на земле. Понятно? — пообещал Николай команде.

Появились улыбки. Потом матросы схватили наши тяжелые кофры и понесли на палубу.

Раздался мощный бархатный гудок, и корабль тихо отвалил от пирса, на встречу с большим караваном в ирландском порту Белфасте.

Наступило утро, и мы выскоции с камерами на палубу в надежде поснимать Белфаст, но все было напрасно. Вот и якорь отдали, загремела цепь, а вокруг такой туман, что даже стоящие поблизости суда, как привидения, легко и неясно парили в серой мгле, то возникая, то исчезая.

— Вот тебе и поснимали! Опять с пустыми кассетами...

Так и прошел день — ни на минуту не приподнялась проклятая завеса. Влажной ночью «Пасифик Гроуд» вместе с

другими кораблями покинул тревожную Европу. Спокойно, тихо приняли нас волны Атлантики...

Наутро в кают-компании мы были представлены остальным пассажирам и сразу стали центром внимания не только их, но и всей команды.

Нас посадили за столик вместе с пожилым сухощавым джентльменом.

— Мистер Флит! — представился он. — Бизнесмен, капиталист! Не страшно? Наш путь долг, надеюсь, мы будем друзьями! Меня нисколько не смущает, что вы коммунисты. А вас общество капиталиста не будет шокировать?

Мы все весело рассмеялись.

— Живем на одной маленькой планете — приходится считаться друг с другом. Нам теперь предстоит долгое время просидеть за одним столом. Итак, молодые люди, здесь, среди океана, все мы перед богом и смертью равны!

Первое время мы удивлялись, когда мистер Флит задавал нам невероятно смешные, неожиданные и ислепые вопросы:

Почему в Москве, кроме барыни, ничего не разрешают танцевать?.. Правда ли, что русская балалайка служит эмблемой национального искусства?.. Почему зимой во время сильных морозов на улицах Москвы едят мороженое?..

Смеялись мы, смеялся с нами и мистер Флит, но после каждой беседы он все больше и больше узнавал о нашей Родине. Мы на многое открыли ему глаза, и он многое, как нам казалось, понял. Вот понятие «война справедливая и несправедливая» долго не давалось ему. За примером далеко не ходили — горящий Лондон и покорение англичанами Индии... Он впервые узнал, что значит для каждого советского человека Ленин и почему он дорог каждому обездоленному человеку на земле. Однажды после большого спора он сказал нам:

— Вы очень славные парни! Без особого труда можете уговорить любого миллионера отдать свои доллары или фунты стерлингов на благо трудящихся. — Загадочно улыбнувшись, он приставил палец к губам и тихо добавил: — Меня вы уже наполовину превратили в коммуниста...

Вскоре после Белфаста начался штурм. Огромные валы катились нам навстречу. Наш «Пасифик Гроуд», один из самых больших в караване, видимо, выглядел на этих волнах жалкой скорлупкой. Он скрипел и стонал, забираясь на вершину седой громады, и вдруг, охнув, стремительно нырял в темно-зеленую бездну. И тут же тяжелый седой гребень захлестывал его по капитанский мостик. Звонкие удары ле-

дяной волны грохотали по всему кораблю. Шторм выгнал всех пассажиров из кают-компании, а на обед пришли только мы и мистер Флит.

— О! Вы, кажется, настоящие моряки! — весело воскликнул он.

— А вы не боитесь качки, мистер Флит?

— Мой отец и все братья — моряки, и я горжусь такой наследственностью!.. И, кроме того, это мой семидесятый деловой рейс в эту сумасбродную Америку, и штормов на пути всегда было намного больше, чем штилей.

Флит рассказал нам многое, чего не написано в истории Англии и Америки. Он, как оказалось, недолюбливал американцев и их образ жизни.

— О, Америка — страшная страна! — говорил он. — Вы это поймете, когда близко встретитесь с ней! Будьте там очень осмотрительны и осторожны! Наши торговые моряки в Нью-Йорке, сходя на берег, надевают цивильную одежду, чтобы избежать ненужных конфликтов. Сейчас у нас общее несчастье — война, и мы должны быть терпимы друг к другу.

— Да, но Америка наш союзник! — сказал Николай.

— Америка — деловой союзник. Американским бизнесменам выгодна эта война, она приносит в их карманы несметные доходы. Если они потеряют выгоду, в любую минуту продадут нас с вами, вместе взятых. Америка — страшная страна... — повторил мистер Флит.

— Америку не любите, а семидесятый раз идете ей навстречу? — удивился я.

— Не по любви, уверяю вас. Бизнес — жестокая вещь. Я вынужден путешествовать, иначе мое дело вылетит в трубу... Да, да, не улыбайтесь — капитализм прямо по Марксу!

...Наш караван шел через Атлантику, как говорится, в балласте, потому качка была стремительной и немилосердной. Капитаны беспокоились о топливе. Уголь таял, как снег, а ход был малым.

Через семь дней пути несколько судов пебольшого тоннажа повернули обратно: при таком ходовом режиме им не дотянуть до Нью-Йорка. Караван поредел. Изредка появлялись сопровождающие нас небольшие военные кораблики — они то обгоняли нас, оставляя пенные узоры на волнах, то, зарываясь и кренясь круто на борт, шли близко-близко параллельным курсом.

Мы с камерами наготове подолгу торчали на палубе в надежде на всякие неожиданности. Ветер стегал нас сол-

ными брызгами океана, а мы, пряча от них камеры, тихо, незаметно для других тосковали по дому.

— А знаешь, что мне рассказал радиист Джордж? — говорил Лыткин. — Там, за этой взбудораженной массой воды на Манхэттене, светло по ночам, нет никакого блэкаута, никаких шелтерс, а у небоскребов затемнены только верхние этажи...

Каждый вечер после вахты к нам в каюту заглядывал восемнадцатилетний паренек в морской форме — радиист. Он оказался очень развитым, умным и начитанным парнем, разбирался в международной обстановке и очень близко к сердцу принимал успехи и неудачи наших войск на фронтах. Он то вбегал к нам в каюту с радостным криком «Виктори! Виктори!», то уныло и грустно бросал: «Скверные новости...»

Вот и сейчас он подошел к нам расстроенный.

— Ну, как дела, Джордж? Какие новости?

— Что вы думаете о нашем путешествии? — первый раз Джордж, не ответив на наш вопрос, задал свой.

— О! Экселент! Уандерфул! — поспешил ответить Коля и сам спросил: — А как думаешь ты?

Джордж наклонился к нам близко-близко.

— У меня есть для вас секрет! — тоном заговорщика шептал он. — Только вам, фронтовикам, русским, могу я его доверить... Я кое-что знаю, чего не знают другие. Я знаю почерк радиотов немецких подводных лодок. Вчера ночью они вели радиообмен где-то поблизости... Возможно их нападение. Я хочу, чтобы беда не застала вас врасплох. Будьте готовы и не забывайте лайфжилеты, если придется прыгать за борт. Сами понимаете, я не имел права говорить вам об этом, но ведь вы наши друзья и союзники, а что сделали ваши солдаты для спасения Англии, у нас знают даже дети...

— Вот так «ньюз»... — задумчиво сказал Лыткин, когда Джордж скрылся в радиорубке. — Но не будем об этом думать. Авось пронесет! Как тебя миновала беда в Севастополе, а меня на Калининском фронте... А что, если мы действительно везучие? А?

Караван шел наперерез ледяному шторму. Мы с камерами наготове стояли на высоком капитанском мостике. Было зябко и неуютно. Стремительное падение корабля с высокой волны в зеленую, покрытую мраморной пеной бездну и тяжелый взлет его на вершину вдруг начали невыносимо раздражать, появилась непреодолимая жажда устойчивого положения, хотя бы минуты покоя для уставшего тела.

Проторчали на ветру, лязгая зубами, до обеда. Мокрые,

соленые, с покрасневшими глазами, без единого снятого пла-на. А жизнь на корабле шла своим чередом — размеренно, монотонно и однообразно. «Тихая роща» медленно двигалась вперед...

Наша постоянная вахта днем на верхней палубе и капитанском мостице была однообразной и скучной. Мы ждали интересных кадров, какого-нибудь события, но ничего особенного не происходило, и мы, усталые, продрогшие, каждый вечер после ужина наслаждались теплотой и уютом кают-компании. Сюда приходили все, кто смирился с качкой. Лыткин научил всех веселой карточной игре в «Акулину», нас научили играть в бридж и покер. Вскоре наше «общество» стало постоянным, дружным: чета американских журналистов, возвращающихся на родину, рыжий ирландец-коммерсант, супруги-дипломаты, едущие работать в Вашингтон, мистер Флит и два ученых-химика неизвестной национальности, поскольку они в совершенстве говорили на пяти языках и даже немного на русском.

Время хоть и медленно, но двигалось вперед, мы уже успели забыть о предупреждении Джорджа. Не верить ему у нас не было оснований, но все же прошло уже три дня, и мы с Николаем молчаливо решили, что опасность миновала.

Вечер за карточным столом затянулся. Было, как никогда, весело и шумно. Вдруг в кают-компанию вошел капитан. Прищурив глаза от яркого света, он сказал:

— Леди и джентльмены! Прошу меня извинить, но очень возможно, что минут через пятнадцать — двадцать наш караван будут торпедировать немецкие подводные лодки. Повторяю, очень возможно... Будет как нельзя более своеевременным, если вы все, захватив лайфжилеты, подниметесь на верхнюю палубу... Прошу еще раз извинить меня за неприятное сообщение, — приложив руку к козырьку форменной фуражки, капитан спокойно удалился.

Все недоуменно переглянулись, посмотрели на часы и, рассмеявшись, продолжали игру. Я взглянул на Лыткina и заметил, как он побледнел. А мне показалось, что мое лицо вдруг запылало жаром.

— Наш кэп, наверное, чуточку переложил за галстук! — заметил рыжий ирландец.

Мы-то с Николаем поняли сразу, что капитан не шутил, но встать из-за стола и броситься в каюту за спасательными жилетами было бы явным проявлением трусости.

— Ну как, Микоша, опять сорвал банк?!

Я по голосу Лыткина почувствовал, что он думает сейчас, как и я, совсем не об игре...

Смех и остроты в адрес капитана продолжались. Стрелка на циферблате медленно ползла к двадцати. И тут взрыв потряс нашу «Тихую рощу». Звякнула посуда в дубовом буфете, кто-то упал со своего стула.

Мы все, бледные, но с достойным видом, один за другим покинули кают-компанию. Никто не побежал в каюты за лайфжилетами, они были этажом ниже.

Когда мы вышли на палубу, всем бросились в глаза полыхающие отсветы пламени на мачте, трубе и низких облачах. Мерцающие багровые всполохи освещали высокие волны, яростно нападающие на идущий рядом с нами и, кажется, обреченный танкер: его носовая часть, объянутая высоким пламенем, заметно погружалась в океан. По палубе танкера в панике металась команда, пытаясь спустить шлюпки. Огромный ценистый вал грохнул наполовину спущенную шлюпку о борт горящего судна и вдребезги ее разбил. Из неесыпались в море люди. На волне через мгновение показались красные огоньки, потом они исчезли и снова возникли, удаляясь все дальше и дальше. Над морем понеслись тонкие, протяжные, раздирающие душу свистки — просьба о помощи. Еще одна шлюпка, не достигнув воды, разбилась о железный борт танкера.

Караван, не сбавляя хода, продолжал идти вперед.

А корма танкера резко пошла вверх, он, на мгновение замерев, стал вертикально и потом стремительно ушел под воду.

Над караваном взвилось несколько осветительных ракет, и мы увидели неподалеку рубку подводной лодки, которая медленно погружалась. Мгновение, и ночь наполнилась грохотом. С ближайших кораблей протянулись к подводной лодке цветные трассы пуль и снарядов. В небо полетела новая порция осветительных ракет.

— И все-таки уходит, смотри! — Лыткин с силой схватил меня за руку, будто опасаясь, что я исчезну вместе с подлодкой.

Вдруг из-за высокой волны вынырнул сопровождающий караван английский морской охотник и, прежде чем мы успели опомниться, на полном ходу врезался в уходящую под воду субмарину. Раздался лязг и скрежет металла. Стрельба будто бы захлебнулась, наступила тишина. Только шипели, опускаясь вниз на парашютах, яркие осветительные ракеты.

Всем нам было хорошо видно, как с морского охотника баграми кого-то вылавливали с высоких волн, потом сразу стало темно-темно...

Прошло около минуты, а может, и больше... Яркая молния прорезала мрак. Все как по команде оглянулись. Далеко за кормой нашего судна полыхало огромное зарево.

— Теперь там сволочи! Гады! Ни помочь, ни снимать, ни... — Николай крепко, по-московски выругался и, оглянувшись на стоявших рядом, спросил виновато: — Вы ведь не понимаете по-русски, правда?

— Да! Да! Совсем мало, мало! — ответил Лыткин ученый и улыбнулся.

Шумели и тяжело бились о борт холодные валы. Молчание нарушил подошедший старпом. Он зажег синий маскировочный свет и показал всем на примере, как надо пользоваться лайфжилетами.

— Лучше поздно, чем никогда! — мрачно улыбнувшись, сказал Коля.

— В такой обстановке юмор! Это очень неплохо! — бодро отозвался ученый.

— Внимание! Леди и джентльмены! — Старпом быстро надел спасательный жилет, и у него на плече автоматически зажглась лампочка. Затем он вынул из карманчика рядом свисток на медной блестящей цепочке и резко засвистел.

Вот теперь я понял, откуда несся этот трагический призывный свист.

— Когда человек попадает в ледяную воду, то при первом же крике о помощи хрипнет и не может подать сигнала о спасении,— закончил свой запоздалый инструктаж старпом.

Мы отправились спать, но не успели лечь в постели, как в каюту вошел Джордж:

— Поздравляю! Мы с вами еще не на дне океана! Но, к сожалению, до Нью-Йорка пока не так близко. Немцы очень методичны в своих подлых действиях. Возможны, как говорится, рецидивы. Надеюсь, вы видели, как наши потопили германскую субмарину и выловили из океана двух вражеских офицеров? Вы знаете, они живы, их сумели отходить, но охотник после тарана затонул. Команда спаслась на шлюпках, и ее полностью удалось перебросить на госпиталь-спасатель.

— Ну, а команда с танкера? — спросил Николай.

— На борт подняли всех, но больше половины людей уже были мертвыми, замерзли... Вот, пока все новости, извините, бегу — моя вахта! Доброй ночи!

Нервное потрясение было слишком велико, мы так и не смогли заставить себя уснуть. Задолго до шести утра все были на верхней палубе. А мы даже захватили камеры, хотя отлично знали, что снимать в подобной темноте бесполезно. Профессиональная привычка взяла верх. Да и с камерой в руках не так страшно ждать опасности.

Мы собирались там же, на высокой палубе спардека, под шлюпками. Они висели по две — одна над другой, расчехленные, с полным аварийным запасом провизии и воды. В одной даже под банкой тускло горел керосиновый фонарь типа «летучей мыши».

— Вы знаете, господа! Человек больше пятнадцати минут в ледяной воде не выдерживает! — в мрачном раздумье сказал вдруг профессор.

— А нам и этого вполне достаточно! — нервно смеясь, ответил рыжий ирландец.

Как-то утром мы услышали сильный стук в дверь. Она распахнулась, перед нами стояли несколько матросов во главе с Джорджем. Весело улыбаясь, они радостно скандировали:

— Великая победа! Величайшая победа русских под Стalingрадом!

Мы ходили по кораблю с гордо поднятой головой. Всюду нас поздравляли, обнимали, жали крепко руки.

— Пока вернемся, и Берлин наши возьмут! А мы здесь ни одной приличной съемки не сделали! — сетовал Лыткин.

Весь день прошел в разговорах о сталинградском кotle, о Паулюсе, о разных вариантах нашего дальнейшего наступления...

...И вот наконец еще одно утро.

— Коля! Проснись, вставай скорее! Что-то неладное!

В дверь каюты барабанило несколько кулаков.

— Входите, пожалуйста! Не заперто!

Дверь стремительно распахнулась, и к нам в каюту ввалились вместе с Джорджем несколько матросов, радостных, возбужденных.

— Судя по всему, не потоп, а новый хороший сюрприз. Не так ли? — спросил весело Лыткин.

— Пошли наверх! Скорее! Нью-Йорк рядом!

Нас буквально вытащили из каюты и под веселым конвоем доставили на верхнюю палубу. Там на нас с радостными криками набросилась возбужденная команда. Нас нарасхват обнимали, хлопали по плечам.

— Нью-Йорк! Нью-Йорк! Понимаете! Все благополучно, все живы!

— Да, конечно... Но при чем здесь мы? — спросил Николай радостного Джорджа.

— О! А кто обещал команде в порту Свенси принести кораблю счастье? Мы живы! Ведь из девяноста семи кораблей сейчас осталось только сорок шесть!..

Ясно, почему Джордж радовался больше других — он знал обо всем раньше и подробнее.

А вот и седой мистер Флит. Он с лукавой улыбкой пожал нам руки и, показав в сторону Нью-Йорка, сказал:

— Страшный город! Будьте там очень осторожны! Не забывайте моих советов!

Из-за серого горизонта вырастал Нью-Йорк. Впереди надвигалась, шла нам навстречу огромная, позеленевшая от времени «Свобода» с факелом в поднятой руке.

— Смотрите: слева по борту, там, за монументом Либерти, — знаменитый «Остров слез», «Эллис айленд»! — сказал подошедший Джордж.

— Странное соседство — монумент Свободы и «Остров слез»!

Возвышаясь и довлея над всем, гиганты-небоскребы медленно заполняли край неба. Мы втроем — Лыткин, я и мистер Флит — молча наблюдали панораму Нью-Йорка с моря.

— Эмпайр стейт билдинг! Семьдесят первый раз прихожу я в этот страшный город! — прервал молчание мистер Флит. — Я люблю Лондон, не могу сравнить его с этим холодным нагромождением камня и железа!

Мы прибыли рано. Было серое холодное утро. Наш «Пасифик Гроуд» ошвартовался у 42-го причала. Толстые канаты накрепко привязали «Тихую рощу» к Новому Свету.

Недалеко от нас, рядом с таким же причалом, лежала на боку огромная «Нормандия», подожженная и потопленная фашистскими диверсантами. Ее рыжий от ржавчины киль был облеплен рабочими.

Нас попросили зайти в кают-компанию. Там, развались в кожаных креслах, сидели полицейские, поднявшиеся на борт первыми.

— Кого-то встречают, — шепнул мне Лыткин.

К нам подошел капитан и представил нас полиции.

— Ваши документы, господа!

Мы протянули свои мореходки. Их передали, видимо, старшему полисмену. Он вышел с ними из кают-компании.

— Странно, почему полиция проверяет, а не таможенники?

— Смотри, проверяют только нас, а другие идут без проверки...

— Не за нами ли все эти представители власти?!

Все пассажиры покинули судно, а нас очень вежливо попросили немного задержаться. Только мистер Флит не уходил, а стоял в сторонке и наблюдал за процедурой изучения наших документов, которая очень затянулась. Наконец нам сообщили, что наши документы не в порядке и что мы арестованы.

— У вас нет визы на въезд в Соединенные Штаты, — сказал, улыбаясь, толстый полисмен.

— Знаешь, Николай, — предложил я, — никуда с теплохода не пойдем — это пока не Штаты, а Британия. Пусть вызовут сюда нашего консула, тогда и решим, как быть. Просто не верится...

Но, увы, все же пришлось поверить, когда нам довольно категорично предложили следовать на берег. Мы наотрез отказались это сделать без ведома нашего консула.

— Связываться с консульством — это не наше дело. Мы обязаны выполнить приказ и отправить вас на Эллис Айленд, — настаивал полисмен.

— Вот тебе и на! Вместо Америки в тюрьму попали! — я взглянул на Коля.

— Да не просто в тюрьму, а на «Остров слез»!

Помня наставления мистера Флита, мы не притронулись к своим вещам, а просто пошли вперед по трапу, предварительно тепло попрощавшись с капитаном. Нас сердечно провожала команда, грустно помахивая фуражками.

— Ну вот и все, пойдем, Коля, в Америку!

...Мы шли по зыбкому трапу, впереди проглядывали небоскребы, а на пирсе нас ждала полицейская карета. Оглянувшись последний раз, мы увидели на мостице капитана. Он снял фуражку и помахал нам. Позади трое солидных полисменов тащили наши вещи, аппаратуру, пленку. Трап кончился. Англия осталась за спиной, впереди через стальную решетку — Америка.

Завыла сирена, замелькали рекламы — пестрые, яркие. Мы мчались, обгоняя бесконечные вереницы автомобилей.

В детстве я часто мечтал побывать в этом заморском городе. Мечтал взобраться на верхушку самого высокого небоскреба и взглянуть на чужой, неизвестный мир. Вот и взглянул...

— Ну как, нравится тебе Нью-Йорк? — горько съронизировал Лыткин.

Резко тормознув, карета остановилась. Очнулись от дремоты наши конвойные. Задняя дверь открылась, и нас повели на пристань. У пирса стоял странный маленький пароходик, причаленный не то кормой, не то носом. Два вспотевших толстяка полисмена притащили, кряхтя от натуги, наши кофры.

— Чем они набиты — камнями? — спросил, отдуваясь, один из полисменов, опуская на палубу наши вещи.

Кроме нас на пароходике было еще несколько пассажиров, но без конвоя. Через пару минут «Фери» — так назывался пароходик — отчалил.

— Чудно — стояли к пирсу носом, а вперед пошли кормой!

Да, Лыткин не ошибся — суденышко ходило от берега к берегу не поворачиваясь, как членок. Неуклюже, переваливаясь с волны на волну, поплыли мы к статуе Свободы. Теперь мы смотрели на монумент совсем другими глазами. Чем ближе мы к нему приближались, тем грознее, будто меч, заносила над нами свой факел позеленевшая «Свобода».

Наконец смешной кораблик причалил к каменному пирсу «Острова слез», и нас ввели в огромный, вокзального типа холл. Он был заполнен, как нам на первый взгляд показалось, развшенным для сушки бельем.

— Вот ваше место! — поставив вещи, сказал самый толстый полисмен и, протянув руку, добавил: — Мы не плохо потрудились, надеюсь, вы отблагодарите нас?

Одного доллара оказалось мало.

— Нас пять джентльменов! — показав на остальных, сказал толстый.

— Черт с вами... Держи, толстопузый, на всех! — Николай крепко выругался.

Взяв пятерку, полисмены приложили руки к фуражкам.

— Сенк-ю, сэр! Гуд бай! — откланялся толстяк, и мы остались одни под высокой крышей мрачного помещения.

— А мы здесь совсем не одни! — сказал я, оглядевшись, Лыткину.

Оказалось, что развшено не белье, это перегородки из простыней и одеял между разными людьми и целыми семьями, вынужденными жить здесь долгое время. Мы сели на свои кофры.

— Цыганский табор! — мрачно заметил Николай.

— И не один. Сколько их тут? Дети, старики, женщины. Это значит, все такие же безвинные, как мы с тобой.

— Ну что ж, разобьем и мы свою палатку, только у нас нет ни простыни, ни одеяла...

Лыткин курил сигарету за сигаретой и, наступив брови, решал какую-то очень важную проблему. Кончились сигареты и табак для моей трубки, растаяло сизое облачко дыма. Очень захотелось поесть, но никто не приходил. Мы устали сидеть в неудобных позах на жестких кофрах.

— Ты сиди, а я схожу позвоню, — вдруг сказал Коля и встал.

— Куда? Кому? — наивно спросил я, не поняв шутки.

— Рузвельту! — зло крикнул Николай и нервно заходил взад и вперед...

Время, казалось, остановилось.

Вдруг щелкнул замок, и в дверях показался маленький седой старичок, розовощекий, с чеховской бородкой.

— Здравствуйте, господа! Будем знакомы! Если нет возражений, я ваш переводчик и покорный слуга! — С нами говорил явно русский человек на чистейшем петербургском диалекте. — Перейдем к делу! Меня просили передать вам, что через час вас будут судить.

— Разве мы преступники? — не выдержал я.

— Конечно, на вашем месте я бы задал такой же вопрос, но только вы, ради бога, не волнуйтесь — ничего страшного не случится. Очевидно, вы первый раз в Америке? Ваше волнение мне очень понятно. Меня тоже судили. Да, да! Но это было еще до революции. Да, да! Принес меня сюда бог тоже без визы...

Приветливость этого человека немного успокоила нас.

— Страйтесь, господа, — простите привычку так вас величать — быть на суде предельно краткими и правдивыми, и тогда, смею вас заверить, все обойдется хорошо! Как там у нас на фронте? Я ведь русский — живу от одной сводки Совинформбюро до другой. Да, да! А как переживаю! Нет, не сумею объяснить... — Мягко поклонившись, переводчик удалился.

Через час наш знакомый старичок появился не один, а в сопровождении полисменов.

— Господа, вам надлежит пройти в зал суда. Прошу!

Нас ввели в большой светлый зал. Все здесь было предусмотрено — тюрьма и суд соседствовали. За высокой трибуной сидел седой мужчина в военной форме. Его китель был расстегнут. Откинувшись на спинку кресла, он читал книгу в яркой обложке и на наш приход никак не отреагировал. Мы сели вдали на отведенные для нас места.

— Скамья подсудимых! — шепнул Коля.

Над седой головой судьи, между скрещенных звездных флагов висел большой портрет Вашингтона. Было тихо.

— А все же очень занято, Коля. Везет нам. Не многим удастся попасть под суд, да еще в Америке! Такое увидеть, испытать...

Прошло минуты три. Судья наконец оторвался от своей книжки и, взглянув на нас пристально, нажал на кнопку. Тут же явился наш переводчик.

Поговорив с ним, судья встал и жестом попросил нас сделать то же. Громко и официально он произнес что-то вроде монолога.

— Ты понял? — тихо спросил Лыткин.

— Нет! А ты?

Николай покачал головой.

Судья жестом пригласил его к трибуне. Лыткин встал с достоинством, не торопясь, зашагал к судье.

Я видел, как он стоял перед судьей и, отвечая на вопросы, поднял правую руку. О чём они говорили, услышать было невозможно.

Николай вернулся на место, и сразу же пригласили меня.

— Не робей, все будет о'кей! — успел он мне сказать, смахивая со лба капельки пота.

Я подошел к высокому постаменту. Судья строго и торжественно произнес:

— Поднимите правую руку и поклянитесь именем господа бога, что будете говорить чистую правду!

— У нас не принято клясться именем бога, я и так буду говорить правду. — Я в упор смотрел в глаза судьи, а из-за него в упор смотрел на меня Вашингтон.

— Вы находитесь в Америке и должны уважать законы нашего государства.

Он был, увы, прав, спорить было безрассудно. Я на мгновение поднял правую руку и сказал:

— Обещаю суду говорить только правду...

— Скажите, с какой целью вы прибыли в Америку?

Я коротко объяснил цель нашего путешествия.

Судья задал еще несколько несущественных на мой взгляд вопросов и удалился. Перерыв...

Ждали довольно долго.

— Суд идет! — объявил наконец вышедший переводчик.

Мы встали. Нас пригласили подойти к самой трибуне. Судья медленно поднялся и очень строго и важно зачитал решение:

— Суд запретил господину Лыткину Николаю Александровичу и господину Микоше Владиславу Владиславовичу въезд в Соединенные Штаты Америки.

Переведя первую фразу, старичок остановился и взглянул на судью:

— Согласно конституции, вы имеете право в течение двух с половиной месяцев обжаловать наше решение.

Как только официальная часть была закончена, судья неожиданно со строго казенного тона перешел на доверительный, даже задушевный.

— Скажите, господа, сколько вам нужно времени для обжалования решения суда? — спросил он.

Не ожидая такого вопроса, мы растерялись, но быстро пришли в себя. Я задал судье контрвопрос:

— Скажите, господин судья, сколько понадобится времени, чтобы мы успели из Нью-Йорка доехать до Сан-Франциско, там пересесть на корабль, кстати, купленный у вас, американцев, и отправиться во Владивосток? Вот это время мы и попросим у вас и ничего не будем обжаловать.

— При желании это можно сделать за пару дней, но это будет дорого стоить... — Он вынул из бокового кармана пачку сигарет «Лаки Страйк», предложил нам, щелкнул зажигалкой. — Два с половиной месяца вам достаточно?

Мы с Николаем пожали плечами, не зная, как реагировать, и, не успев ничего ответить, услышали:

— Вот и прекрасно! Вы свободны, господа! Можете идти!

Пока мы шли к выходу, судья вернулся на свое место на высокой трибуне.

— Следующий! — крикнул он.

— Пошли скорее, Николай, пока он не передумал!

Когда мы подошли к своим вещам, старичок вызвал полицейских и снова повторилась та же процедура, только в обратном порядке — полицейские тащили нам тяжелый багаж, потели, сажая на пароходик, но все мы теперь видели в светлых и веселых тонах.

— Смотри! Улыбается, а раньше я не заметил, — глядя на монумент Свободы, сказал Коля.

Впереди покачивалась тесная толпа небоскребов. Солнце, радостно играя на гранях Эмпайра, посыпало нам свою улыбку. Даже полисмены вдруг превратились в простых, внимательных и услужливых. Правда, вместо пяти долларов за услуги и внимание на радостях пришлось заплатить десять.

Мы неслись в густом потоке автомобилей, двухэтажных автобусов, нам навстречу надвигались громады небоскребов. Наконец шофер припарковался на свободную для такси стоянку и обернулся к нам:

— Нижний город!

Лыткин открыл дверцу машины и спросил у оказавшегося рядом полисмена, как проехать к советскому консульству.

— Добрый день, господа! Вы из России? — спросил полисмен и объяснил все нашему шоферу. — Красные лупят гансов, только пух летит! Поздравляю! Счастливый путь! — добавил он по-русски и откозырял нам.

Не прошло и десяти минут, как мы подкатили к генконсульству.

— Ну как Америка? Нравится? — крепко пожимая нам руки и широко улыбаясь, спросил нас генконсул Ломакин. — Я в курсе событий, уже знаю, как вас поздравили с прибытием в Нью-Йорк! Ничего, здесь такое случается. Ваши коллеги Соловьев и Халушаков благополучно прибыли в Бостон и обошлись без суда, они ждут вас.

— Значит, живы-здоровы!

— Мы знали, что вы должны следовать за ними, но не смогли уточнить, когда и каким караваном. К сожалению, из Лондона нам ничего не сообщили. Ваши друзья страшно за вас волновались. Они отстали от своего каравана и до Бостона добирались совершенно одни, без конвоя и охраны. Больше месяца они болтались в Северной Атлантике. Теперь, товарищи, отдыхайте. Вы будете жить в гостинице «Грегориан» на 35-й стрит, рядом с Эмпайром, совсем близко от ваших друзей...

И вот мы снова вместе. Все тревоги и волнения позади, даже не верится. Снова появилась надежда на большую работу, и мы ждем решения этого вопроса.

Нью-Йорк по сравнению с Лондоном показался нам праздничным. Море света, тысячи флагов союзных держав развеваются на крупных оффисах и больших универсальных магазинах. И наш советский флаг всюду занимает второе место после американского. О том, что в мире война, напоминали военные. Их особенно много было на Бродвее и на 42-й улице — улице увеселений, кинотеатров, ресторанов, баров и шоу...

— Теперь мне понятно, почему они не открывают Второй фронт. Здесь ведь тепло, светло и не дует! — сказал Василий Соловьев.

В «Рокфеллер-центре» мы обратили внимание на скромную афишу: «Леопольд Стоковский дирижирует симфоническим оркестром НБСи — Нейшил Бродкастинг Корпорейши. Воскресенье, март 21, НБСи, студия 8Х, Радио сити. Программа: Мусоргский, Стоковский, Милхауд (Симфония) и т. д.»

— Пойдем? До начала десять минут!

Мы вошли в вестибюль. Но над кассой аншлаг.

— Жаль...

Мы стояли в раздумье, не зная, куда пойти дальше.

— Господа! Извините, если я не ошибаюсь, вы советские моряки? Очень приятно! Я администратор студии. Вы хотели попасть на концерт мистера Стоковского?

— Да, но касса закрыта и билетов нет.

— Это можно поправить, маэстро Стоковский будет рад видеть советских моряков на своем концерте. Прошу вас, проходите! Вы — наши гости! Сюда, пожалуйста, это его ложа! — Проводив нас, администратор удалился.

Как в сказке!

Мы сидели в светлом, просторном, не очень большом концертном зале, переполненном публикой. Не успели мы как следует оглянуться, как перед оркестром появился стройный, высокий, в ореоле седых волос человек. Он скорее походил на персонаж из библии и напоминал кого-то из апостолов с картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Зал задрожал от бурныхapplодисментов. Стоковский поклонился и, не дождавшись конца рукоплесканий, взмахнул рукой. Все зрители замерли и будто перестали дышать...

В антракте к нам подошел администратор:

— Господа! Маэстро Стоковский после концерта будет рад приветствовать вас в своей уборной.

Когда концерт окончился и затихли applодисменты, наш доброжелательный администратор проводил нас в небольшую гостиную.

— Знакомьтесь! Дочь мистера Стоковского.

Перед нами стояла стройная симпатичная девушка, светловолосая, голубоглазая.

— Соя! — сказала она и крепко, по-мужски пожала нам руки. — Садитесь, пожалуйста! Отец сейчас придет. Вы из России? Страшно там сейчас? Боже, какое послано людям испытание! Мы с отцом глубоко верим в победу русских над фашистами! — Соя была очень эмоциональна, и все ее чувства отражались на лице.

Дверь отворилась, и в комнату вошел Стоковский. Он

уже сменил черный фрак на элегантный серый костюм. Вид у него был утомленный, но он бодро направился к нам.

— Добрый вечер, господа! Признаюсь, приятно удивлен... Я не предполагал, что русские моряки любят классическую музыку. Рад, что это оказалось заблуждением. Благодарен вам за ваше присутствие на этом концерте как старый музыкант и как исполнитель музыки вашего великого национального классика. Вы давно из России? Мы с дочерью страшно переживали, особенно в начале войны. Но теперь, на мой взгляд, кризис миновал, и фашистам не уйти от возмездия. Я в этом убежден! Да! Война, война! Сколько она уносит жизней, сколько приносит горя... — Стоковский погрустнел, замолчал, потом спросил: — Вы прямо из России?

— Нет, мы ждали караван в Лондоне.

— О, расскажите, как там дела... Лондон — моя колыбель. Я родился в этом удивительном городе. Он так дорог мне...

— Горит Лондон! Много жертв. Разрушают его фашисты безжалостно. Весь район вокруг собора святого Петра превращен в пустыню.

— Помоги им бог! А как у вас в России?

— Было тяжко, но теперь погнали фашистов, и надеемся, что без остановки до самого Берлина.

— Бывал я у вас в Петербурге, Москве, Киеве! Интересно, помнят меня там? И знают ли?

— Вы у нас очень популярны, а после фильма «Сто мужчин и одна девушка» о вас заговорила вся страна. Теперь вас знают в любом, даже самом отдаленном уголке Советского Союза.

...Каждый день Нью-Йорк открывал нам двери своих музеев, театров, кино. В музее Нового искусства на 53-й улице мы познакомились с полотнами и скульптурами лучших представителей современного искусства. Мы долго ходили по залам, спорили, недоумевали, удивлялись, утверждали, отрицали. Чуть не поссорились, споря о Кандинском. У полотен Матисса и Пикассо был апогей, у Ренуара и Моне — успокоились. У Родена — общее согласие и восторг. Здесь спорить было не о чем.

Возвращаясь в гостиницу, мы зашли в консульство:

— Какие новости?

— Вот молодцы, как это вы догадались появиться у нас? Вас-то мне и нужно! — У консула в приемной сидела пожилая пара. — Знакомьтесь!

С кресла тяжело поднялся седой, подстриженный бобриком старик с красным лицом.

— Давид Бурлюк! Боюсь, молодые люди, вы меня не знаете... Моя жена! Прошу знакомиться!

— Тот самый Бурлюк, который... — нескромно вырвалось у кого-то из нас.

— Да, да, тот самый, который друг Володи Маяковского. Так вы хотели сказать? Извините, я перебил вас... Кто-нибудь из вас знал Володю? — обратился он почему-то к Лыткину.

— Знал — это не то слово! Я только два раза виделся с ним, даже говорил... — сказал Николай. — Я очень люблю Маяковского. Очень многие вещи знаю наизусть. Помните:

...В сто сорок солнц закат пылал,  
В июль катилось лето,  
Была жара,  
Жара плыла,  
На даче было это...

— Ну, Коля, сел па любимого конька! Смотри, как разволновал старика, — прошептал Соловьев.

По красным щекам Бурлюка действительно катились слезы.

— А помните «Флейту- позвоночник»? — спросил Бурлюк и поднялся с кресла: — ...Версты улиц взмахами шагов мну... — Он замолчал, вспоминая забытую строфу.

Но Лыткин тут же продолжил:

...Куда уйду я, этот ад тая!  
Какому небесному Гофману  
Выдумалась ты, проклятая?

— Да, да! Правильно! Вы отлично знаете Маяковского. А он ведь был у меня здесь в гостях. Мы гуляли по Нью-Йорку. — Бурлюк задумался. — Сейчас я работаю над большим портретом Володи, скоро закончу. Хочу подарить его вам, советским людям.

...Наше знакомство с городом продолжалось. Снимать нам не разрешили.

Наш посол в Вашингтоне Литвинов посоветовал:

— Пользуйтесь случаем, знакомьтесь со страной, поезжайте в Голливуд, посмотрите киноиндустрию. А пока — осваивайте Нью-Йорк.

Мы приехали в этот шумный мирный город, повидав свои разрушенные города, после сурового военного Лондона, из жизни, шедшей на грани со смертью, переполненной трагизмом и человеческими страданиями. И поэтому

нас оглушил мир, покой, веселый, как нам казалось, городской шум. А мысли и чувства американцев были так далеки от бушующей на планете войны... Остро ощущались внешние контрасты. Фронтовые города и город, не знавший воздушных тревог. Люди суровые, озабоченные, встревоженные — у нас, и беззаботные, как нам казалось, здесь. Разруха, нищета, скудные пайки — у нас, и изобилие здесь.

— Как-то раз я спросил таксиста, есть ли в Нью-Йорке нищие.

— Нет. Запрещено. Но каждый может делать свой бизнес. Продавать спички, чуингам, шпильки. Покупают их только для того, чтобы помочь этим несчастным. Так сказать, нищета, узаконенная делом. Вы не можете просить милостыню, но можете научить этому собаку — это тоже бизнес.

Проезжая мимо дешевого кинотеатра, шофер на секунду задержался. В дверях стояли люди, одетые героями фильмов ужаса, — Франкенштейн и доктор Джекиль.

— Бизнес! Но не нищенство...

Потом, когда мы проезжали мимо монумента на углу Бродвея и Центрального парка, Николай спросил водителя, кому памятник.

— Не знаю. Сейчас подъедем, прочитаем.

Подъехали. Прочитали: «Христофор Колумб».

На одном из приемов в среде молодых ученых Халушаков спросил:

— А как вы относитесь к Теодору Драйзеру?

— А кто это такой? — осведомился в свою очередь молодой преуспевающий ученый.

...От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса четверо суток езды.

Наконец поплыла за окнами залитая лучами заходящего солнца экзотическая Калифорния. Удивительное ощущение, будто я здесь когда-то уже был...

Голливуд! Легендарный, сказочный киногород. Когда-то я, работая киномехаником, «крутил» в Саратове голливудскую продукцию по три сеанса каждый вечер. И вот оказался в этом царстве фильмов, где живут Чарли Чаплин, Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс, Рудольф Валентино...

Голливуд, предместье Лос-Анджелеса, расположился в ложбине между гор. С вершины, от Обсерватории, живописный вид на город, дальше в дымке — Санта-Моника и за ней сверкает на солнце Тихий океан. Он всего в восемнадцати милях отсюда.

Не успели мы как следует прийти в себя, как посыпались приглашения. Фирма «Уорнер Бразерс» предлагает посетить студию и посмотреть новые фильмы. «Двадцатый век фокс» приглашает просмотреть у себя в ателье последний боевик и встретиться с исполнителями. Мистер Голдин просит проконсультировать фильм о Советском Союзе, который он снимает. Режиссер Фрэнк Каупер предлагает посмотреть его документальный фильм «Прелюдия войны» и высказать свое мнение. Популярный композитор и дирижер Поль Уайтмэн, «король джаза», как его прозвали в Америке, ждет нас вечером на своем концерте.

С нами встретился и долго разговаривал о последних событиях на Восточном фронте Леон Фейхтвангер. Он тосковал по Германии, высказывал свою ненависть к Гитлеру. Мы присутствовали на съемках фильма «По ком звонит колокол» и беседовали с актерами, воплотившими на экране образы героев романа Эрнеста Хемингуэя, кинозвездами Ингрид Бергман и Гарри Купером. В павильоне снимались эпизоды в горах. Разговор был коротким, в перерыве между съемками, но очень интересным. Все хотели знать, как скоро будет повержена Германия и когда же наконец откроют наши союзники Второй фронт. Мы рассказали о том, как познакомились с Ингрид в Лондоне, под бомбежкой, как дрожали слезы на ее ресницах в момент взрывов за степной кинотеатра, где показывали фильм «Интермеццо», как стоячески смотрели картину лондонцы. Знаменитый комик Боб Хоуп показал нам этюды из своей веселой роли в будущем фильме.

...Фрэнк Каупер и Литвак — фронтовые режиссеры в форме полковников американской армии — показали нам свой фильм «Битва за Россию». Когда увидел вдруг свои севастопольские кадры, мое сердце так забилось, что казалось, вот-вот выскочит из груди.

— Что с вами? Вам нехорошо? — спросил меня по-русски сидевший рядом полковник Литвак.

— Нет, просто раз волновался. Увидел родной Севастополь, снятый мною в сорок втором году, в дни последнего штурма.

Мы обратили внимание на то, как удачно американцам удалось использовать немецкую хронику в столкновении с нашей военной кинодокументалистикой. В фильм вошел материал, снятый американскими, советскими и немецкими операторами. Зритель видел войну с нескольких позиций. Американцам тогда было легче этого достичь — война шла не на их территории... «Битва за Россию» ошеломила нас,

мы увидели войну не только своими глазами, но и глазами врага, глазами стороннего наблюдателя. События словно бы обрели особую рельефность, глубину и четкую антивоенную направленность.

А потом на встрече со старым оператором нью-йоркской кинохроники Майклом Дойлом мы увидели удивительный материал — всего сто восемьдесят метров пленки, снятой им на Гавайях во время нападения японских самолетов на Пёрл-Харбор. Было отчетливо видно, как японские самолеты пикируют на американские военные корабли. Высокие столбы воды и пламени, тонущие матросы в кипящей от взрывов бомб гавани, паника среди населения...

— Как вам все это удалось снять, коллеги? — спросили мы в один голос.

— О, это было очень просто, это снял бы любой оператор-хроникер, если бы был на месте события. Важнее было оказаться там вовремя! Да, да! Слушай! Счастливый случай и ничего больше!

...Фирма «Метро Голдвин — Майер» разделилась. Тысячу долларов в день платит Майер покинувшему его компаньону за право носить фирменную марку — рычащего льва и фамилию Голдвин. И вот Самюэль Голдвин пригласил нас к себе на студию.

— Посмотрите, как мы снимаем «Северную Звезду»! Критикуйте крепче, не стесняйтесь. Я хочу иметь правдивый фильм из жизни украинского колхоза в дни начала войны с Гитлером.

Мы были приятно удивлены, когда режиссер-постановщик фильма Майлстоун представил нам героиню — колхозницу-партизанку. Ее играла известная киноактриса Энн Бакстер.

— Вот и попробуй покритикуй! Ничего не скажешь, наша, полтавская! — Халушаков обошел актрису вокруг, стараясь придраться к чему-нибудь, найти изъян в костюме, в общем облике, но только воскликнул: — Вылитая Оксана с пид Полтавы!

Нас глубоко тронула сцена окружения партизанского отряда и гибели двух партизан. Подкупали простота, человечность и правдивость сцен, полное отсутствие «ключки» и предвзятости.

В одном из павильонов детский хор встретил нас песней «Широка страна моя родная». Происходила запись музыкальных фонов. Меня такая тоска по дому охватила, хоть плачь. Комок в горле, а Соловьев запел, оглядываясь, не слышит ли кто:

— А не пора ли нам, братцы, домой податься? Там война, а мы тут экскурсантами бродим. Неудобно как-то...

Не успели мы вернуться в «Никкер Баккер», как за нами приехали со студии «Уорнер Бразерс». Да, уставать было некогда. Нас ждал один из братьев — Гарри Уорнер. Он встретил нас, как старых знакомых:

— Я только что закончил «Миссию в Москву». Мы с послом Девисом хотим сами показать фильм в Москве, но вы будете первыми зрителями. Вы знаете, что большинство фирм Голливуда сейчас ставят фильмы об СССР: «Мальчик из Сталинграда», «Девушка из Ленинграда», «Северная Звезда»?.. Вы, русские, сейчас популярны у американского народа, как никто никогда не был популярен!

Действительно, американский народ бурно выражал свои симпатии к России. Незадолго до нашего приезда член сенатской комиссии по иностранным делам Пеппер произнес хвалебную речь о доблести советских войск, в которой были и такие слова: «Кто может определить размеры нашего долга перед русскими? Россия никогда не падет. Россия и свобода будут существовать вечно».

И это не исключение. Но — речи произносили, а Второй фронт открывать не торопились...

После вступления США в войну в декабре 1941 года была выпущена серия антифашистских фильмов. О России писали американские писатели: Колдуэлл — роман «Долгая, долгая ночь», Лоусон — сценарий о советских партизанах «Контратака» и «Конвой судов в Россию». Альберт Мальц вместе с кинематографистами смонтировал материалы советской кинохроники, написал дикторский текст к сценарию фильма «Москва дает отпор».

Неизмеримо поднялся интерес к советскому документальному кино и у кинематографистов, и у широкого зрителя. Была выпущена целая серия, пользовавшаяся особой популярностью, — «Почему мы воюем?». Именно в эту серию входил фильм Фрэнка Капра и Литвака «Битва за Россию».

Луис Майлстоун, постановщик прогремевшего на весь мир фильма «На Западном фронте без перемен» и «Северной Звезды», вместе с Иорисом Ивенсом снял картину «Наш русский фронт». Режиссер Берстин поставил фильм «Русская история», куда вошли фрагменты из «Александра Невского», «Петра Первого», «Броненосца «Потемкина» и других.

Многие в Голливуде тогда значительно «покраснели». Даже «Метро Голдвин—Майер» — фирма, поставившая до войны много антисоветских фильмов, одной из первых начала в этот период делать доброжелательные картины об СССР. Именно в 1943 году Грегори Ратов поставил «Песню о России», дружественную нам, хотя и менее значительную, чем «Северная Звезда».

Кстати, «Северная Звезда» начиналась титрами:

«...22 июня 1941 года немецкая армия пересекла советскую границу. Она пересекла много границ. Но это была особая страна и особый народ».

Но в 1958 году, спустя всего пятнадцать лет, «Сайд энд Саунд» сообщил, что в лондонских кинотеатрах демонстрируется «первая версия» «Северной Звезды». Картина была изрезана и изуродована, тексты заменены другими и кончались фразой: «Нацистскую угрозу сменила угроза коммунистическая...»

А еще раньше, в 1947 году, когда на Голливуд обрушилась Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, многие с легкостью и готовностью отказались от своих работ военного времени, те же Гарри Уорнер и Луис Майер, те же Гарри Купер и Роберт Тейлор...

Но многие остались навсегда настоящими и истинными друзьями Советского Союза, и это в основном было результатом героической борьбы нашего народа в те годы.

— Друзья! Завтра в вашу честь я устраиваю большой прием! — сказал наш консул в Лос-Анджелесе М. Я. Мукасей.— Кого, вы думаете, я пригласил на эту встречу? Чаплина! И он принял приглашение. «Военные кинооператоры, прямо с фронта? Это превосходно!» — сказал он мне. Ну как? Не ожидали?

Да, конечно, мы никак не ожидали. Чаплин вел, как нам было известно, довольно затворническую жизнь и в последнее время мало встречался с коллегами.

И вот наконец мы стоим у входа в большой зал и встречаем гостей. Подходят знакомые уже по встречам на киностудиях актеры, режиссеры, продюсеры и совсем незнакомые люди. Всем мы крепко жмем руки, говорим добрые слова приветствия. Но Чаплина все нет и нет.

— Неужели не придет? — волнуется Лыткин.

— Не может быть! Обещал, значит, придет! — успокаивает нас консул.

Вдруг в переполненный зал быстро вошел небольшого роста, скромно одетый человек с седой головой и молодым лицом, широко улыбаясь, пошел нам навстречу. Ни с кем

не здороваясь, ни на кого не обращая внимания, он протянул нам руку. Мне показалось, что мы всегда были знакомы с этим человеком. Он с добрым любопытством заглядывал нам в глаза и после обмена рукопожатиями с сильным акцентом произнес по-русски:

— Гайда, тройка, снег пушистый!.. Твои губы шепчут о любви!.. На этом мой русский истощился, перехожу на английский! Не правда ли, это смешно?.. — Чарли Чаплин весело рассмеялся.

Все вокруг тоже смеялись. Было весело и просто.

Чаплин стоял перед нами совсем не такой, каким мы привыкли видеть его на экране. И в то же время не узнать его было невозможно. Только его большие глаза с синими искорками могли одновременно быть и веселыми и грустными...

— Мы — ваши старые друзья, мистер Чаплин, — сказал Лыткин. — Знаем и любим вас уже многие годы. И вы даже не подозреваете, сколько у вас друзей в Советском Союзе.

— Разве я популярен в России? Ведь мои фильмы так редко у вас показывают.

— Что вы! Каждый наш мальчишка — ваш друг... Вас знают в любом уголке страны. — Я замялся, трудно было вот так просто объяснить человеку, что он такое для каждого из нас. Потом я стал рассказывать. Рассказал, как познакомился с ним впервые, когда в двадцатых годах весь Саратов вдруг оклеился странными и притягательными афишами. На них не было загадочных названий «фильмы», не было блистательных заманчивых имен, да и вообще не было никакого текста. С белого полотна смотрели черные глаза под черным котелком человека с черными усиками, с тростью и в стоптанных башмаках.

Афиши были всюду, висели долго и стали просто неотъемлемой частью города. Потом появились другие, с тем же рисунком и с лаконичным звучным именем «Чарли Чаплин». Имя врезалось в память как удачная рифма, интриговало и жгло любопытством.

Потом пришла большая любовь. Он был ни на кого не похожим, своим, близким и знакомым. Это была хорошая привязанность к любимому герою, над которой даже никто очень не задумывался.

— А вы видели «Диктатора»? Похоже? — спросил Чаплин.

— Да, в Лондоне, под бомбенской...

— Знаете, в сорок первом году меня хотели судить за

фильм как подстрекателя к войне... Это было седьмого декабря. Не правда ли, смешно?

7 декабря 1941 года был день, когда японцы напали на Пёрл-Харбор.

Тогда, в Лондоне, мы были потрясены с первых кадров «Диктатора». Такого Чаплина мы еще не знали. Мы многое еще не знали о нем. Не знали и того, что менее года тому назад — 22 июля 1942 года — он произнес речь, которая транслировалась по радио на митинге в Медисон-сквергарден. Я прочел эту речь намного позже, в его автобиографии. Тогда Чаплин сказал:

«На полях сражений в России решается вопрос жизни и смерти демократии, судьба союзнических наций — в руках коммунистов. Если Россия потерпит поражение, азиатский континент, самый обширный и богатый в мире, подпадет под власть фашистов... Останется ли у нас тогда хоть какая-нибудь надежда одержать победу над Гитлером?.. Если Россия будет побеждена, мы окажемся в безвыходном положении.

...Нам необходимо... прежде всего немедленно открыть Второй фронт... одержать этой весной победу... попытаемся сделать невозможное. Не забудем, что все великие события в истории человечества представляли собой завоевания того, что казалось невозможным...»

— Да! Я забыл посмотреть, кто же здесь есть, — сказал Чаплин, надел очки и быстро оглядел зал. Ни на ком не остановив взгляда, он продолжал беседу дальше, будто, кроме нас, никого вокруг не было. Он заговорил о последней хронике с фронта, разгроме гитлеровцев под Сталинградом.

— У фашистов лица настоящих дегенератов. А какое независимое, одухотворенное выражение лиц у советских офицеров. Допрос пленных немецких генералов — полная драматизма сцена. Она даже ночью мне снилась...

Рассказывая об увиденных кадрах, Чаплин преображался, его мимика, глаза, руки говорили не меньше слов. Прощаясь, он взял с нас слово обязательно посетить его студию.

...И вот мы не едем, а будто летим на студию к Чаплину. Резко скрипнув тормозами, машина остановилась у зеленых, увитых диким виноградом ворот. Высокий привратник, судя по орденским ленточкам на груди, ветеран прошлой войны, приветливо распахнул перед нами дверь.

— О, русские ребята! Заходите, заходите, пожалуйста! — говорил он, широко улыбаясь, — мистер Чаплин будет с

минуты на минуту. Разрешите поздравить вас с успехами на фронтах. Сейчас радио принесло потрясающую новость: русские гонят Адольфа обратно в Германию! Вот это сенсация!

За воротами послышался нетерпеливый гудок, наш восторженный собеседник распахнул широкие ворота, и во двор мягко вкатился черный старомодный «роллс-ройс».

Распахнулась дверца, и Чаплин, веселый и оживленный, выскочил нам навстречу, крепко потряс наши руки. Из машины вышла совсем юная девочка. Когда она подошла к нам, Чаплин представил ее:

— Уна, моя жена и будущая кинозвезда, но все это у нас впереди. — Он счастливо рассмеялся. — Уна, поздоровайся с мальчиками.

Уна расцеловала каждого из нас, как старых друзей, и супруги радушно повели всех в просмотровый зал.

— Я покажу вам, друзья, один свой старый фильм, который сделал восемнадцать лет назад. Он ровесник Уны. Не правда ли, смешно? — И Чаплин опять залился веселым счастливым смехом.

Пока мы рассаживались в маленьком узком зальчике, Чаплин перепрыгнул через пару раскладных стульчиков, на ходу сбросил с плеч легкое пальто, подбежал к роялю и сыграл что-то очень бравурное. Потом закрыл крышку, пробарабанил по ней несколько тактов и повернулся к нам:

— Шостакович! Не правда ли, это смешно?

Эта фраза — его постоянная поговорка.

С того момента, как погас свет, и до того, как он снова зажегся, мы смеялись до слез, до боли в животе. Чаплин смеялся с нами вместе, будто тоже впервые видел фильм.

— Не правда ли, это смешно? — спросил он, как только мы пришли в себя от хохота.

Потом настал наш черед. Мы решили показать документальный фильм «Черноморцы», который мы с Дмитрием Рымаревым снимали во время героической обороны Севастополя. Фильм неделю назад прислали в наше консульство.

Мы волновались. Страшно было показывать королю кино свою скромную работу и страшно было за эту работу — ведь для нас она была частицей до боли родного Севастополя и тех суровых, но дорогих дней — дней обороны. Ведь Чаплин сам не видел войны — почтует ли он то же, что чувствовали мы, когда снимали эти кадры?

Свет погас. Застрекотал проектор.

Мы сидели рядом. Я комментировал фильм по ходу действия и украдкой следил, как реагирует Чарли.

На экране морская пехота перешла в контратаку.

— Прекрасно! Чудесно! Превосходно! Невероятно! — Чаплин не переставал восклицать, подпрыгивая в кресле.

Но вот развернулись события последних дней обороны. От Севастополя остались руины. Тонули корабли, догорали последние здания, у разбитых орудий умирали матросы.

Чаплин приумолк, затих, опустил голову, и в руках его появился платок. На экране — последние дни обороны Севастополя. Огромные взрывы тяжелых снарядов на Северной стороне, закопченный, пробитый осколками памятник «Затопленным кораблям», у подножия плещется Черное море. Конец. В зале зажегся свет.

Чарли Чаплин повернулся к нам, намереваясь что-то сказать, и мы увидели, что его влажные глаза потухли.

— Я так потрясен, так взволнован, что не могу говорить! — сказал он тихо.

Наступила тишина. Чаплин сидел, положив седую голову на руки. Прошло еще несколько минут. Потом он встрепенулся:

— Друзья, я хотел пригласить вас к себе домой, но сегодня постный день. Не правда ли, это смешно? В Америке — постные дни... — Он рассмеялся и пригласил нас поехать с ним в ночной клуб киноактеров «Браун дерби» («Коричневая шляпа»).

Огромный ресторан был почти пуст. Мы ушли в противоположный угол зала.

Все стены там были увешаны карикатурами на киноактеров, и среди других мы увидели смешной шарж на Чарли Чаплина.

Не успели мы расположиться за столом, как потянулись любители автографов. Я повернулся в зал и глазам своим не поверил — он был переполнен.

Охотники за автографами, видимо, раздражали Чаплина. Очень скоро он не выдержал, вскочил на стул и гневно посмотрел туда, откуда наплывала река поклонников. Через несколько секунд паломничество прекратилось.

Усаживаясь поудобнее в кресло, Чаплин сказал:

— На мальчишеской бирже в Нью-Йорке за один автограф Шерли Темпл — героини детских фильмов — дают три моих автографа. Не правда ли, смешно? — Он снова рассмеялся, но глаза его были грустными, как тогда, в просмотром зале.

Мы спросили, что он сейчас делает, что собирается снимать.

— Вы знаете французскую «Сказку о Синей бороде»? Я сейчас думаю над сценарием по этой вещи. Это будет «Сказка о Синей бороде» на американский манер. Вы знаете, все сказки повторяются... У каждого народа есть похожие сказки. Но они не только похожие, они повторяются и в жизни... Только в каждой стране и в каждое время в одной и той же сказке по-разному расставляются акценты. Это, кстати, и характеризует нравы и время — акценты... Как вы думаете, почему Синяя борода убивал своих жен?

Посыпались ответы:

— Ну, он просто персонаж сказки ужасов — наивный Франкенштейн своего времени.

— Нет, он не злодей — он просто проверял честность своих жен и разочаровывался в них.

— Да нет — ему просто очень быстро надоедали его жены.

Чаплин рассмеялся:

— Вот видите, сколько версий... Он, знаете, убивает их из-за денег. Это моя версия. Я ведь хочу сделать современную сказку и... непременно американскую...

(Эта «американская» сказка, выйдя на экраны, называлась «Мсье Верду». Чаплину так и не дали «расставить акценты» на американской действительности.)

— Мне очень хочется поехать в Советский Союз. Скажите, в какие времена лучше всего это сделать?

— Приезжайте сразу же, как кончится война. Это будет самым лучшим временем года в нашей стране...

На прощание он нарисовал на обороте фотографии моей матери, которую я всегда ношу с собой, маленький шарж на себя — усы, котелок, трость, стоптанные ботинки и грустные черные глаза. Это было удивительно похоже на те афиши, с которых началась наша встреча с Чаплиным в далеком Саратове двадцатых годов...

На улице Чаплина ждала сдержанная полицией толпа шумных, восторженных американцев, которые четвертое десятилетие не уставали приветствовать своего любимого актера и режиссера.

Он грустно попрощался с нами:

— До встречи в Москве, мои дорогие!.. — Он быстро вошел в открытую дверку своего «роллс-ройса», помахал нам рукой, и черный лакированный кар умчал его по ночному бульвару.

...Окончились утомительные голливудские встречи. И вот мы мчимся мимо апельсиновых рощ, отягощенных оранжевыми плодами, на «Пасифик Экспресс» в Сан-Франциско.

Сан-Франциско в калейдоскопе виденных городов запечатлелся самым красивым. Расположенный на берегу огромной голубой бухты, он как бы вышел из ее глубины, поднялся многоэтажными террасами по склонам холмов и, оглянувшись на залив глазами окон, застыл в изумлении.

На город, на весь его облик наложило свою печать море... По улицам, набережным, площадям бродят колоритные группы матросов. В кителях, форменках, в робах, в пестрых полосатых майках и свитерах, в национальных экзотических одеяниях Африки, Азии, Океании.

Шумит, поет, танцует в пьяном угаре романтический Фриско. Шумит припортовый район. Шумит Маркет-стрит. Мелькают слева и справа бары, кино, бурлески, казино, лотереи, шоу, дансинги. Дорогие, дешевые, средние. На любой вкус, на любой карман.

Поет, орет реклама, играет пестрой гаммой красок. Зовет, манит, притягивает изголодавшихся по земле моряков к встречам и зрелищам. Бродят они, покачиваясь, от одного кабака к другому, нередко устраивая жестокие свалки с блеском ножей и стрельбой из пистолетов. Бродят, плутают и не могут выбраться из джунглей огромного города, пока не иссякнут добытые потом и кровью в океанах зеленые купюры.

— Друзья! Нам везет, как никогда, никакого каравана не будет! — сказал нам вечером Лыткин.

— Это как понимать? Ты, Николай, всегда как-то странно шутишь... — сердито откликнулся Василий Васильевич.

— Нет, не шучу, консул Ломакин просил нас перебираться на наше судно, оно на днях пойдет во Владивосток. Это «Трансбалт»!

— Ур-ра! Ты, надеюсь, теперь не шутишь? Пошли собираться!

И вот, после трехдневного знакомства с Сан-Франциско, мы покинули гостеприимный отель «Белив» и переселились в скромные каюты огромного, самого большого тогда в Советском Союзе, парохода «Трансбалт». Этот товаро-пассажирский лайнер был гордостью Совторгфлота. Однажды на линии Ленинград — Владивосток в сильный штурм надломился он посередине на гигантской волне, чудом до-

брался до ближайшего порта и после ремонта снова вступил в строй, осуществлял доставку оружия из Америки.

...Прощай, Америка! Прощай, Сан-Франциско! Проплыл рядом островок со знаменитой тюрьмой, где сидел известный всему миру гангстер Аль-Капонэ. Проплыли над нами мосты, и открылся Тихий океан.

«Трансбалт», оставляя черную ленту дыма, все дальше и дальше уходил на запад.

...Тихий океан. Голубой простор. Ни облачка на небе. Ритмично покачиваю нашу машину длинные глянцевые волны.

Изголодавшись по съемкам, мы в первые же дни «набросились» на экипаж и за пару дней сняли небольшой очерк о рейсе «Трансбалта».

На этом съемки в Тихом океане были завершены. Снова наступил длительный отдых, и мы половину свободного времени проводили за слушанием сводок Совинформбюро. Нам хотелось как можно быстрее добраться до родной земли, скорее вернуться на фронт и не опоздать к освобождению Севастополя. Гитлеровцы сидят на Азово-Черноморском побережье и зубами держатся за половину Новороссийска. Как там мои ребята — Дмитрий, Костя, Федор?

— Ну, чего задумался, Микоша? — спросил подошедший Лыткин.

— Завтра капитан обещал выйти в пролив Лаперуза. Пойдем к нему!

Мы поднялись в штурманскую рубку. Последние дни капитан не покидал своего поста, и спать ему почти не приходилось.

— А, добро пожаловать! Проходите вот сюда. Ну что, какие заботы? — капитан был в прекрасном настроении и встретил нас доброй улыбкой.

— Когда пролив? — спросил я.

— Завтра, друзья, в конце дня! Сам жду не дождусь, видите, все время торчу на мостице и, признаться, очень волнуюсь. Обстановка, прямо скажу, сложная. Как бы не выкинули чего наши островные соседи... Вот если пройдем Лаперуза спокойно, считайте себя дома...

— А что, разве есть основания для беспокойства? — поинтересовался Соловьев.

— Пока нет, — уклончиво ответил капитан. — А там видно будет. Кругом японцы, хотя мы и не замечаем их...

— Он очень мелкий и узкий, этот ваш пролив? — не унимался Василий.

— Всего сорок три километра и усеян множеством подводных рифов. Требует большой осторожности, а в тумане непроходим.

Долго тянулся день. Еще дольше ночь и новый, последний в Тихом океане, день... Солнце клонилось к закату, когда мы рассмотрели впереди, прямо по курсу, два небольших военных корабля.

— Японцы! Я вижу их флаг! — крикнул кто-то.

У меня как-то сразу засосало под ложечкой. Японцы народ серьезный, и встреча с ними перед входом в пролив вряд ли простая случайность.

— Чего это вы так переполошились? Мы же с японцами не воюем! — рассмеялся Соловьев.

«Трансбалт» сбавил ход. На мостице появился капитан, поговорив с помполитом, переключил телеграф. Машина замерла, на баке отдали якорь.

— Эсминец и канонерка, а может, сторожевик, не пойму...

— Тоже мне моряк, капитан третьего ранга, не может распознать класс корабля! — ехидничал Василий.

— Не нравится мне эта задержка, пролив — японские воды... Наверное, была с их стороны команда отдать якорь, а то чего бы ради...

— Только бы не проверка трюмов!

— Смотри, от эсминца шлюпки гребут прямо к нам!

На «Трансбалте» готовились к встрече. Спустили трап, и у входа, поджидая японцев, стояли капитан и два его помощника: старпом и первый помощник — помполит. Вид у них был мрачный.

Резкими рывками шлюпки приближались к нашему кораблю. Японские матросы гребли под визгливую команду кормового слаженно, ритмично. Между кормовым и загребыми плотно стояла небольшая группа офицеров. Японцы явно били на эффект. Их матросы на шлюпках работали как автоматы, а офицеры стояли подобно изваяниям.

— Хорошо идут! Ничего не скажешь! — шепнул Коля.

Недалеко от трапа прозвучала резкая, неприятная на слух команда, очевидно «Суши весла». Передняя шлюпка плавно и точно подвалила к трапу и в сантиметре от него остановилась, не коснувшись ступеней. Офицеры, отдав честь, легко выпрыгнули на трап и засеменили наверх.

Небольшого роста, плотные, смуглые, как нам показалось, все на одно лицо, с блестящими медалями и сияющими пуговицами, они напоминали театральных персонажей

из «Гейши». Один из них говорил по-русски и, здороваясь, подчеркнуто вежливо и театрально произносил с акцентом:

— Сдлавствуйте, господина капитана! — Пожав руку и отдав с поясным поклоном честь капитану, он с будто на-  
клеснной улыбкой продолжал ритуал: — Сдлавствуйте, гос-  
подина сталсая помосника! Сдлавствуйте, господина пом-  
полита!

Когда этикет приветствий был выполнен до конца, японцы, отойдя от трапа в сторону, предъявили свои пол-  
номочия, дающие им право проверять грузы всех торговых  
кораблей, следующих через их территориальные воды.

Мы знали, чем наполнены трюмы «Трансбалта», и зна-  
ли, что с таким грузом не один корабль был отправлен «не-  
известными» подлодками на дно.

Японцы потребовали показать им трюмы и накладные  
на грузы. В наименовании грузов значилось: сельхозмashi-  
ны, станки и т. п.

— Надо мало смотреть тлюмный глуз! Масины, стано-  
ки... — показывая большие, выдающиеся вперед желтые зу-  
бы и сладко улыбаясь, говорил старший по званию офицер.  
Как оказалось, они все спосно владели русским языком.

Прежде чем вести японцев в трюм, их угостили по  
русской традиции водкой и свежей черной икрой.

Недолго ходили маленькие офицеры между огромных  
контейнеров с голубыми диагональными полосками на све-  
жих досках. Они даже не просили вскрыть ни один из  
них. Настолько было ясно, что скрывалось за голубой по-  
лоской. Поглаживая рукой в белоснежной перчатке ги-  
гантский ящик, веселый японец приговаривал:

— Холосый станок, масинки! Холосый! — и, причмо-  
кивая губами, вел за собой остальных в следующий трюм.

Когда осмотр был окончен и все собрались у трапа, це-  
ремония прощания повторила церемонию встречи: с ма-  
леньким изменением в тексте.

— Пласяйте, господина капитана! Пласяйте, господина  
сталпома! Пласяйте, господина помполита! — подчеркнуто,  
еще слаше улыбаясь, японец фамильярно похлопал помпо-  
лита Румянцева по плечу. Откуда он мог знать, что первый  
помощник капитана Румянцев — помполит на корабле?

Исчезли они так же быстро, как и появились. На про-  
щание их еще раз угостили водкой с икрой и калифорний-  
скими апельсинами.

Прошел томительный час после ухода японцев с палу-  
бы «Трансбалта», а мы все ждали команды — продолжать  
путь дальше.

«До утра с якоря не сниматься!» — просигналили наконец японцы.

— Да! Дорогой Василь Васильевич! А вы говорили — Япония...

— Брось, Коля, шутить! Неизвестно, чем завтра они нас порадуют...

— Ясно чем! Отведут под конвоем в Кобэ! — мрачно предположил Халушаков.

Наступила ночь, ветер совсем стих. Над морем поднялся туман. Стояла густая тишина. Туман густел и клубился. Мы, выйдя на палубу, совсем растаяли в нем. Стояли в двух шагах и не видели друг друга. Добравшись на ощупь до фальшборта, мы сели на банку. Нас обволокло сырое темное месиво. Сидели молча, каждый думал о своем и, наверное, о том, что нас ждет завтра. Вдруг до нашего слуха донесся легкий лязг цепи.

— Вы слышали? Работает лебедка! На малых оборотах!

— Неужели поступила команда? — наивно обрадовался Соловьев.

— Ребята! Якорь вирают!

— Да, команда поступила — только не от японцев, а от нашего капитана — смываться, пока туман! Завтра будет поздно! Какой молодец! — зояснил всезнающий Лыткин.

— А помнишь, что он нам вчера говорил? В тумане пролив непроходим.

— Но другого-то выхода нет!

Мы были возбуждены, разговаривали, не видя друг друга. Вместе с тревогой в нас вселилась уверенность. Мы радовались смелости и отваге нашего капитана.

— Представьте, как будет здорово, если пройдем! Утром рассеется туман, и какую эмоцию озарит солнце на роже этого самодовольного японца?!

— Здлесьте и плостевайте, господина самулай! — пародировал Василий Васильевич.

Разговор прервала тихо заработавшая в недрах «Трансбалта» машина, и мы двинулись вперед. Всю почь ни один человек на судне не сомкнул глаз. Мы до утра просидели на мокрой банке в полном мраке и неизвестности. Туман рассеялся только в одиннадцать часов утра. Мы были далеко от пролива Лаперуза, в позших территориальных водах.

Только по прибытии в Москву мы узнали, что на обратном пути из Владивостока в Сан-Франциско «Трансбалт» торпедировали «неизвестные» подлодки, и он затонул в районе пролива Лаперуза. Команду спасли японцы.

## Часть четвертая

### ОСВОБОЖДЕНИЕ

Замкнулось кругосветное кольцо, я снова на родной земле, снова на берегу Черного моря в разбитом, сожженном Новороссийске, только что отбитом у врага. Пробую вспомнить, вернуть в сегодня этапы драматических мгновений всего безвозвратно ушедшего, что так волновало, тревожило и радовало. Время... Неумолимое время — шагающее, плывущее, летящее и неведомое...

Время в своем стремительном движении вперед теряет на пути пережитые события, и они, как вехи истории, замирают в веках на страницах книг, полотнах живописи, в миллионах метров кинопленки, снятых нами — фронтовыми кинооператорами...

Кинохроника — машина времени — может «отработать назад» и воскресить пережитое. Оборона Одессы, Севастополя и Кавказа, горящий Архангельск, трагические рейсы караванов с кочвоями вокруг света, пылающий Лондон и сверкающая беспечная Америка. Время затеряло в пути пережитое, и мы можем теперь воскресить его только для размышления, чтобы никогда не забыть и не дать повториться.

...Бой затих. Последние его отголоски растаяли за Волчьими воротами. Новороссийск в наших руках. Ровно год и шесть дней назад — 10 сентября 1942 года — фашисты были остановлены у цементных заводов «Октябрь» и «Пролетарий», и вот 16 сентября 1943 года сдаются в плен жалкие остатки гитлеровских войск.

Когда отгрел бой в Новороссийске, навстречу нам вышла единственная пожилая женщина, чудом уцелевшая в городе. Фашисты расстреляли или вывезли на катогру всех жителей города.

Я дома. На своей горячей от боев земле, среди своих друзей. Только Петро не вернулся из Севастополя... Мы снимали героические действия 18-й армии по освобождению Ново-

российска вместе с Михаилом Пойченко, Марком Трояновским, Дмитрием Рымаревым. Потом вместе с войсками Северо-Кавказского фронта дорогого всем нам генерала Ивана Ефимовича Петрова мчались мы по разбитым пыльным степям... Шел сентябрь сорок третьего, и дорога неумолимо вела нас к Черному морю, к Тамани. А там, впереди, — Крым, Севастополь...

Немцы с колоссальными потерями откатывались к Керченскому проливу. До самой Тамани наши части гнались за ними по пятам. Была осень, все побережье окрасилось в оранжево-пурпурные тона. На нашем пути, слева и справа, пылали в осеннем наряде бесконечные виноградники. Отяжененные переспелыми гроздьями, они притягивали к себе томимых каждой бойцов. Немцы, отступая, минировали — и не только дороги. Разгоряченные преследованием врага, солдаты сворачивали по пути в заманчивые виноградники и погибали на минах. Минеры не успевали даже поставить предупредительные таблички.

С передовым отрядом мотопехоты мы на полуторке с зеленым фургоном вместо кузова мчались в облаках оранжевой пыли к Тамани: Дмитрий Рымарев, начальник фронтовой группы Н. Б. Левинсон и два Кости — ассистенты Дупленский и Ряшенцев. Водитель Федя Дмитриенко сменил нашего друга Прокопенко, пропавшего без вести в Севастополе.

У станицы Новостеблиевской немцы словно опомнились, оказали сопротивление. Позиция для них была очень удобной — между морем и большим лиманом. Это стало единственной возможностью противника сдержать порыв наших частей, чтобы дать время переправиться своим войскам через Керченский пролив и закрепиться в Крыму.

Вечером, пока еще не совсем стемнело, мы присмотрели небольшой холмик, не занятый врагом, и, когда стемнело, пробрались на его вершину, замаскировались в оставленной гитлеровцами траншеи. Обзор с этой высотки был отличный, просматривались глубоко в тыл немецкие позиции. Я установил на штативе огромный телеобъектив и прикрепил к нему «Аймо». Камера выглядела каким-то жалким придатком к стволу объектива.

— Скажите, какого калибра этот странный миномет? — спрашивали наши бойцы.

— Тысяча триста! — отвечали мы с гордостью.

И действительно, фокусное расстояние объектива соответствовало этой цифре. Когда рассвет открыл передо мной панораму, я увидел как на ладони немецкие позиции и

участок асфальтированного шоссе, которое вытянулось от них к нам. Это было удивительное зрелище: шоссе с обоих концов было до отказа забито — и у фашистов и у нас — техникой и войсками... Только короткий его отрезок, просматриваемый с обеих сторон, оставался абсолютно пустынным. В нашу сторону вражеские машины шли порожняком, а обратно возвращались заполненные солдатами. Гитлеровцы спешно отходили...

Впервые удалось снять отступление врага зорко и убедительно. Поспешно уходила техника. Переполненные грузовики увозили солдат. Изредка по обе стороны дороги тяжелые взрывы вздымали коричневую землю, но на них в спешке, кажется, никто не обращал внимания.

Камера работала. Я неотрывно следил в визир-бинокль за происходящим, фиксируя кадр за кадром. Рядом стояли Дмитрий и Федор, нетерпеливо дожидаясь возможности заглянуть в визир.

Пока я заводил пружину, Рымарев заглянул в визир и крикнул:

— Танки! Танки! Снимай скорее!

Я прильнул к камере и поймал в кадр несущийся Т-34. Он явно кого-то преследовал. Из ствола время от времени вырывалось пламя, но звук выстрела доходил намного позже.

— Наш танк преследует немецкую танкетку! — успел я по ходу действия сказать друзьям. Я снял, как она, прыгнув за косогор, стремилась ускользнуть от догоняющих ее снарядов.

— Попал! Попал! Ура, горит!

Мне было видно, как открылся люк и двое гитлеровцев нырнули в желтую траву и расположились в разные стороны.

— Ложись! — вдруг крикнул Рымарев, и через секунду рядом начали рваться мины.

Мы залегли, съемку пришлось прекратить.

— А земля-то теплая, родная, чуешь, как пахнет? Не раз спасала, родная, — я погладил коричневый откос траншеи и еще крепче прижался к нему щекой.

— Ребята, между залпами убираем камеру и немедленно смыываемся, — сказал Левинсон.

Первый минометный налет затих, и мы, похватав что что успел, поползли вниз с нашей удобной позиции. Прошло не больше трех минут, и все началось с еще большей силой.

— Сукины дети! Продырявят телевик, его не расплатаешь по земле. — Дмитрий приподнял голову.

— Не высовывайся, а то продырявят голову. Телевик другой пришлют, а вот голову... Так и Севастополь не увидим... — ругался Федор.

Рымарев снова уперся очками в землю. Рядом, распластавшись, лежали оба Кости, а Ряшенцев накрылся тяжелым штативом. Переждав налет, мы перетащили аппаратуру в другое место, но точка оказалась «слепой»...

Вместе с нашими танками на всем ходу ворвались мы в Тамань. Стояла жара. Пыль, поднятая гусеницами и колесами, долго не оседала. Солнце гасло в этих облаках пыли, как в пасмурный день.

Мы снимали следы поспешного бегства врага. Немцы построили через пролив канатную дорогу, но наши самолеты разрушили ее. У берега колыхались на легкой волне разбитые транспорты. Волны прибили к берегу трупы немецких солдат.

В Тамани нас приютили в чистенькой белой хатке на берегу моря. Наконец-то впервые после Новороссийска мы могли помыться и лечь спать в чистую постель, а не в придорожную жухлую траву. Даже не верилось в такое счастье...

Кончилась золотая осень. Сначала сняли все минные поля — виноград. Полили бесконечные проливные дожди.

Рядом с нашим домиком был крутой обрыв к холодному шумящему осеннему морю. Мы сидели на лавочке перед домом, внизу расстипалось серое море, и каждый думал о своем: со дня на день ждали команды — скоро десант. Тамань наша, но что нас ждет? Сорок километров страшного пути через пролив, сквозь стальной ураган.

«Теперь недолго ждать — скоро Севастополь», — думал я. На сердце стало светлее. Подошел Рымарев, обнял меня сзади, положил мне на плечо свой небритый подбородок и сказал:

— Теперь недолго ждать — скоро Севастополь!

Даже в мыслях мы с Дмитрием были вместе. Я не стал ему говорить, что мы думали об одном и том же, но от этого стало легко-легко.

В километре от нас, в море, на больших скоростях носились вражеские торпедные катера. За пими тянулись высокие пенные буруны. Изредка они ставили дымовую завесу, и Крымская земля с силуэтами фиолетовых гор исчезала за серой пеленой.

Когда, паглея, гитлеровцы подходили ближе, наши батареи отгоняли их, а мы, пользуясь случаем, пополняли запасы снятого материала.

Началась подготовка к крымскому десанту, шло накопление техники и переправочных средств. Все это происходило по ночам, и нам ничего не оставалось делать, как пользоваться вынужденным отдыхом. Тамань для нас оказалась не по-лермонтовски райским уголком с теплым кровом, домашними обедами, материнской заботой нашей тихой хозяйки. На нас обрушилась непривычная на войне тишина, и первое время мы мучились от бессонницы.

Но вот однажды вечером, когда мы, собравшись за столом, высказывали и обсуждали самые различные предположения, касающиеся будущего десанта, раздался стук в окно.

— Товарищи командиры, к вам солдат! — сказала, чуть приоткрыв дверь, хозяйка.

— Разрешите доложить! — обратился к нам боец. — Завтра в восемь ноль-ноль старшему киногруппы надлежит быть у начальника политотдела пятьдесят шестой армии.

Утром Левинсон, вернувшись из политотдела, оживленно сообщил нам:

— Ну, ребята, предстоит грандиозная операция, и нас всех распределили по кораблям.

Меня определили на морской охотник. И вскоре вызвали на него. Каждому члену экипажа была разъяснена его точная, четкая задача во время десанта. Теперь нам не хватало времени не только поговорить, но и выспаться. Несколько раз по тревоге выходили в море для проверки оружия и отработки личным составом четкого взаимодействия — ночью, днем, утром... Шла упорная и тяжелая работа — не только отработка технических приемов десантирования, но и испытание нервов, тренировка воли. Все нужно было предусмотреть, все продумать, все предвидеть, чтобы избежать непредвиденных и коварных случайностей.

За несколько дней нашей группе ни разу не удалось собраться, поделиться своими впечатлениями, волнениями, предположениями. Свободных минут хватало лишь на то, чтобы вздрогнуть. И снова за дело.

Мы не были посвящены в планы командования, узнали о них только спустя много лет. Черноморский флот и Азовская флотилия должны были форсировать Керченский пролив и высадить для захвата плацдарма части 56-й армии генерала К. С. Мельника и 18-й армии генерала К. Н. Лесслидзе. Наши войска должны были захватить Керчь и порт Камыш-Бурун.

По замыслу Керченско-Эльтигенской десантной операции предусматривалась одновременная неожиданная для врага высадка трех дивизий 56-й армии, которую должна была перебросить Азовская флотилия, и одной дивизии 18-й армии. 56-я армия нацеливалась на Ени-Кале (это направление было главным), 18-я армия — на Эльтиген. Эльтигенское направление было вспомогательным.

Тогда мы не знали, что вместе с нами к десанту готовились 130 тысяч наших солдат и офицеров.

И вот наступил долгожданный день, вернее, ночь. Долгожданный только потому, что мы действительно к нему долго шли, а не потому, что всем так не терпелось попасть в это пекло...

Мы не знали, что за несколько дней до этого части 18-й армии уже перебрались через Керченский пролив и захватили плацдарм в районе Эльтигена — это был тот самый десант на Эльтиген, который впоследствии был назван «огненным». Он высадился в ночь на 1 ноября и отвлек на себя значительные силы врага. Затем 2 ноября был десантирован первый эшелон 56-й армии — на участок Маяк, Жуковка.

Мы готовились к высадке со вторым эшелоном — 55-й гвардейской стрелковой дивизией генерала Б. Н. Аршинцева — в ночь на 3 ноября с косы Чушка.

Я не знал и не видел, что творилось в этот день на берегу. Еще с вечера накануне занял свое место на «охотнике».

Из Азовского моря, как из аэродинамической трубы, дул, завывая, резкий, леденящий душу ветер. Он гнал крутую, ералашную волну, и она дробно и тревожно стучалась, билась о борт, обдавая брызгами мостики. Я забрался в тесную рубку, прильнул к иллюминатору и погрузился в свои невеселые думы. Беспорядочная болтanka никак на меня не действовала и не мешала мне фантазировать, забегать вперед, и я уже видел себя в освобожденном Севастополе. Вдруг сыграли боевую тревогу, и мы понеслись куда-то в темную ледяную завывающую бездну...

Когда сквозь тучи проглянула луна, стало видно, что наш плывущий на волнах «охотник» идет среди множества других плавсредств — ботов, шлюпок, железных pontонов и просгых рыбачьих лодок, наполненных до отказа бойцами в шлемах и меховых ушанках, с рюкзаками за спиной и автоматами на шее.

Перегруженные лодки сидели низко в воде, и волны легко захлестывали борта. Бойцы не успевали касками вычерпывать из лодок воду.

Наш катер-охотник и несколько других корабликов, как могли, старались помочь бойцам, поднимали их на борт.

Но переправа продолжалась.

Резкими вспышками молний покрылся восточный краешек крымской земли. Задрожал утренний прозрачный воздух, затряслась под ногами палуба, захватило дыхание и заложило уши. Протяжный, нарастающий гул от орудийной канонады слился с ревом проходящих на бреющем полете «илов».

Я приложил ко лбу холодное «Аймо» и начал снимать летящие самолеты. Так только и удалось погасить охватившее волнение.

С песчаной косы Чушка протянулась до самой крымской земли густая дымовая завеса. Она как бы замерла, застыла, закрывая собой идущие на штурм Крыма корабли с десантом. Завеса мешала гитлеровцам вести прицельный огонь, и они били из Керчи наугад. Вражеские спаряды вздымали вверх белые фонтаны разрывов, и пестрая цветастая радуга переливалась, играла в водяной пыли.

Впереди — темный, задымленный, в огненных вспышках берег. Низко над проливом туда и обратно один за другим летят санитарные У-2, увозя из боя тяжело раненых солдат и матросов. А выше стройными клиньями — тяжело нагруженные «пешки». Воздух воет, звенит, гудит, тяжело охает и захлебывается, как бы не в силах выдержать лавину звуков.

Бот и берег. Подрулили к барже, наполовину выскочившей на грунт. Не помню, как я очутился на берегу. Сплю. У сколоченных наспех причалов идет лихорадочная работа, с больших барж сходяг «доджи», «студебекеры», груженные снарядными ящиками. Где-то в пыльных вихрях начинают ухать мины, и все падают плашмя — кто в жидкую грязь, кто на ледяные камни...

Еле успеваю перезарядить «Аймо» и снова сплю. Подчалила самоходка, по трапу быстро сбежали матросы с автоматами наперевес. Они цепочкой кинулись в горы под стены крепости Ени-Кале и, перестроившись в шеренги, пошли в бой. В стороне от причалов маленький аэродром. Там то и дело взлетают и садятся самолеты. На разбитой дороге качаются, двигаясь в сторону Керчи, сотни грузовиков. Обгоняя тяжелые машины, мелькают юркие «виллисы».

В голове только одна мысль — снимать, снимать все,

что происходит. Первое время от волнения и, наверное, от страха я как бы скрывался за крепко прижатой ко лбу журчащей камерой. Она вела меня вперед, и мне наивно казалось, что могла защитить мое лицо, голову от пули или осколка.

Загромыхали с катеров зенитки, покрывая небо белесыми вспышками разрывов. Над причалами и аэродромом появились вынырнувшие из-за горы «мессеры». Они с резким воем разрезали воздух, поливая свинцом причалы, грузовики и разбегающихся от них бойцов. Вдали, подняв черный столб с пламенем, рванула цистерна с горючим.

Запас пленки кончился, и я стал оглядывать причалы в поисках своей полуторки. Она, если не утонула в пути, должна быть где-то здесь. Наконец заметил издали, как с большого парома скатывалась наша зеленая машина. Из нее вышли Ряшенцев и шофер Дмитриенко. Я бросился к друзьям. Мы с Константином помогли Феде выкатить машину на крымскую землю. С самоходки рядом сбежали по трапу и присоединились к нам Наум Левинсон и Федор Короткевич.

— Живы! Рымарева с Дупленским не видели? — Левинсон с беспокойством посмотрел вокруг.

— Проедем, поищем — надо торопиться.

Когда мы выруливали из густого месива на дорогу, увидели идущих нам навстречу перепачканных глиной Рымарева и Дупленского. Вид у них был усталый, измученный, но, увидев нашу зеленую будку, они радостно бросились к нам.

— Вы что, форсировали пролив по дну? — пробуя отковырнуть глину с шинели Рымарева, спросил я.

— Пришлось пообнимать родную! Еле уползли, такое месиво было, даже «Аймо» поднять ни разу не удалось.

Мы были так рады друг другу, мы так мало надеялись на эту встречу, что теперь, когда опасность еще не миновала, опьяненные необыкновенной удачей, вдруг забыли, что находимся в центре боевых действий...

Из-за крутого поворота дороги, огибающей шлаковые горы завода имени Войкова, показалась по другую сторону голубого залива Керчь. Над городом, увенчанная цепочкой снарядных разрывов, доминировала гора Митридат. Керчь была обита дымом пожарищ, кое-где сквозь него прорывались оранжевые языки пламени и вздымались к небу высокие столбы бомбовых взрывов. Красивым амфитеатром раскинулся город на берегу бухты, усеянной крестами мачт потопленных кораблей, барж и катеров...

Пригород на этой стороне залива уже отбит у врага. Наши корректировщики сидят на домнах и сообщают координаты целей батареям, ведущим непрерывный огонь по врагу.

Мы с Рымаревым забрались на самый верх домны, на железный балкон, опоясывающий ее по окружности. Отсюда была великолепная панорама во все стороны — и Керчь, и бухта, и прилегающий район города были у нас как на ладони. Совсем неподалеку, на нашей высоте, летали, охотясь друг за другом, «кобры» и «мессеры», а мы охотились за ними, выжидая самые решительные моменты воздушного боя.

Вот наш истребитель потянул за собой шлейф черного дыма, и через секунду вспыхнул белый венчик парашюта. Ветер нес летчика в море, а самолет, объятый пламенем, не долетев до города, врезался в землю. «Аймо» замолкла.

Я засунул камеру в мешок и занялся перезарядкой, а Дмитрий неотрывно следил за парашютистом. В это время небо наполнилось гулом и зенитным грохотом, наша домна, как огромный резонатор, загудела, завибрировала... Несколько эшелопов наших штурмовиков устремилось с разных сторон на город. Они летели низко, вне действия зенитного огня противника. Охраняя их, наши истребители заполняли все небо. Воздух клокотал, будто закипел гигантский котел...

Запас пленки кончился. Я посмотрел в сторону того берега, где мы высаживались. Трудно было поверить собственным глазам. Просто невероятно — каким образом матросы и солдаты, вооруженные только автоматами, взяли в лоб этот неприступный высокий берег с его хитроумными укреплениями, траншеями, дотами, заминированными полями...

Были взяты пригороды, но освободить Керчь тогда не удалось. Войска перешли к обороне.

Здесь на северной окраине города, недалеко от завода Войкова, в винном погребе, который мы окрестили «Крепость Дюпон», мы и перезимовали. Оборудовали себе уютную базу для жилья, соорудили двухэтажные нары и стол, железную печку, на которой военный фоторепортер «Красного Флота» Евгений Халдей удивлял нас своим кулинарным искусством. К нам присоединились мои земляки-олжане военные кинооператоры Даниил Каспий и Давид Шоломович. Рано утром мы расходились на «охоту» за кадрами, а при наступлении темноты собирались в нашей «крепости».

пости», обменивались впечатлениями за день и прислушивались к гулким разрывам снарядов...

Здесь мы и встретили новый, 1944 год, твердо веря, что он станет годом освобождения Севастополя от ненавистного врага.

### Шел сорок четвертый.

Керчь все еще оставалась в руках врага. Наши части шаг за шагом продвигались вперед. Через изуродованные, исковерканые снарядами траншеи, доты, накаты блиндажей, трупы вражеских солдат и развалины домов наша пехота и моряки упорно продвигались все дальше и дальше, занимая квартал за кварталом. На ветвях обгорелых акаций застряли куски одежды, жести и тел. 11 апреля на рассвете после ночной артподготовки наши части ворвались и отбили новый участок пригорода. Завязалась злая уличная схватка. Дрались за каждый домишко, за грудыбитого кирпича, за руины. Гитлеровцы бешено сопротивлялись, их исступленные контратаки следовали одна за другой, но все они разбивались о стойкость наших воинов.

Взятие Керчи решало участь всего Крыма — этот город давал ключи и от Севастополя. Фашисты это отлично понимали и держались за свои рубежи.

Готовился решающий штурм полуострова. Готовились и у ворот Керчи, и у далекого Сиваша, и у неприступного Перекопа.

8 апреля 4-й Украинский фронт перешел в наступление. Это было началом Крымской наступательной операции. Замысел ее был предельно точен: войска 4-го Украинского фронта шли с севера от Сиваша на Симферополь и Севастополь. Наша Отдельная Приморская армия (бывшая 56-я) должна была двигаться им навстречу от Керчи для того, чтобы расчленить и уничтожить остатки 17-й немецкой армии и другие вражеские соединения.

Когда успехи 4-го Украинского фронта в северной части Крыма создали благоприятные условия для успешных действий на Керченском полуострове, в ночь на 11 апреля 1944 года переплыла в наступление и наша армия. Уже под утро город и полуостров были освобождены.

А на следующий день по всему Крыму развернулось наступление на врага, отходившего к Севастополю.

Отговорила вдруг тяжелая артиллерия, затихли ее громкие раскаты, и замерло эхо в сиреневых скалах Чатыр-Дага и Ай-Петри. Освобожденная Керчь осталась позади, и свя-

занные с десантом тревоги и волнения тоже ушли навсегда в прошлое. Фашисты, бросая технику, теряя раненых и убитых, сопротивляясь, откатывались на запад.

По извилистому шоссе Южного берега Крыма с передовыми частями Отдельной Приморской армии мчались мы на своей зелено-полуторке. С нами вместе на Крым наступала весна. Снова, как и прежде, по утрам стелились и таяли молочные туманы, и, как видения, то возникали, то исчезали причудливые громады скал, сосен и кипарисов. На склонах гор застыли, как бело-розовые облака, фруктовые сады. По обе стороны дороги замерли кипенно-белые черешни, пурпуровым пламенем горели костры персиковых рощ. Каждый поворот крутой дороги открывал родную землю в весеннем цвету...

Мы то и дело выскакивали из машины и снимали: то не скончаемые вереницы сдавшихся в плен немцев и румын, то брошенную технику — зенитки, мотоциклы, пулеметы, машины, то снарядные ящики и повозки с убитыми лошадьми. Мы обогнали артиллерию, грузовики со снарядами и, вырвавшись на простор, помчались с максимальной скоростью. Впереди, по обочине дороги, понуро шли длинные колонны пленных безо всякого конвоя.

За поворотом дороги мы догнали огромную самоходку. Она занимала всю проезжую часть, и обогнать ее было невозможно. Нас окутало голубое облако выхлопных газов.

— Лучше отстанем немного, а то совсем задохнемся! — предложил я Левинсону.

Отстав метров на триста от грохочущей самоходки, мы остановились, чтобы отдышаться.

— Красота-то какая! — Наум подставил лицо солнцу и блаженно зажмурил глаза.

В этот момент вздрогнула земля. Впереди из-за поворота дороги — там, где скрылась самоходка, к небу взметнулся черный столб дыма и пламени.

— В машину, скорее! — крикнул Левинсон, вскакивая на подножку.

За поворотом дороги мы увидели перевернутую самоходку. Какая же огромная сила могла поднять в воздух многотонную стальную громадину!

Неподалеку на траве лежали убитый майор и изуродованный лейтенант. Они были выброшены взрывом из открытой башни.

Подошла санитарная машина и другая — штабная. Прибывший подполковник определил, что самоходка наехала на целую груду мин у въезда на мостик.

— Осмотреть мост и разминировать! — скомандовал подполковник группе бойцов.

Результат их работы был ошеломляющим: по ту сторону мостика саперы выкопали килограммов триста взрывчатки.

Когда путь стал свободен, мы уже с большей осторожностью покатили дальше, внимательно осматривая асфальт и придорожную траву.

Судак, Феодосия, Алушта, Гурзуф, Ялта — всюду оставили свой кровавый след фашисты. Обгорелые остатки домов, расстрелянные жители, сотни убитых в упряжке лошадей. Завалы взорванных на шоссе деревьев часто преграждали нам дорогу. Заминированные, опутанные колючей проволокой пляжи производили впечатление тюремной территории. Всюду встречали нас худые, измученные, но радостные и возбужденные люди...

У Байдарских ворот встретился большой завал. Вся вереница машин и техники остановилась. Из зарослей кизила и шиповника вышли на дорогу несколько бородатых людей с немецкими автоматами и пулеметными лентами через плечи.

— Мы крымские партизаны! Ждали вас здесь, дорогие товарищи, чтобы показать вам другую дорогу! — сказал один из них подошедшему подполковнику.

Офицер стоял в нерешительности, не зная, видимо, что предпринять. Его колебания заметили не только мы, но и партизаны.

— Вы зря нам не верите! Мы же будем с вами и никуда теперь от вас не уйдем. Наш штаб далеко отсюда — в Старом Крыму. Документов предъявить вам не можем, сами знаете — не носим с собой!

Наконец подполковник дал команду следовать за партизанами. Дорога оказалась совсем близко, правда не очень хорошая, но надежная — без мин и сюрпризов. Не прошло и часа, как наша колонна проследовала мимо Байдарских ворот. Нас встретила зеленая Золотая долина, а в первом же селении наши машины буквально забросали цветами. Радостные возгласы приветствий сопровождали нас, пока мы не расположились на ночлег. С темнотой спустились с гор партизаны и рассказали о том, что им пришлось пережить во время оккупации.

— В нашем отряде всю зиму пробыл кинооператор капитан Иван Запорожский, несколько дней назад он с небольшим отрядом ушел в район Ялты, — сказал один из

партизан. — А что было в Севастополе и как там лютовало гестапо, даже рассказывать страшно... Многих мы там потеряли...

Дата 15 апреля 1944 года запечатлелась у меня на всю жизнь. Наши передовые части подошли к рубежу обороны Севастополя. Итальянское кладбище, гора Гасфорта, деревня Комары, Федюхины высоты и Генуэзская крепость над Балаклавой... Там засели перед Севастополем немцы. С того дня и до 12 мая, когда последний фашист был выбит с Херсонесского мыса, остались в моей памяти самые яркие, хотя, может быть, и отрывочные, воспоминания о событиях, связанных с битвой за наш Севастополь...

На рассвете 15 апреля с передовым отрядом разведки мы двинулись к Севастополю. Только тридцать пять километров отделяло нас от него. В крымские пейзажи никак не вписывались многочисленные солдатские кладбища. Слева и справа от дороги, вблизи и поодаль следовали один за другим строгие геометрические порядки стандартных крестов, увенчанных стальными немецкими касками.

— Сколько их тут! Я даже не предполагал!.. — удивлялся Костя Дупленский. — Помнишь, Дмитрий, еще в сорок первом Гитлер обещал штурмовавшим Севастополь войскам в награду за взятый город длительный отдых на Южном берегу Крыма...

— Да, знали бы они, сколько продлится их отдых... — мрачно сказал Ряшенцев, пробуя сосчитать количество бесконечных рядов касок.

Мы теперь увидели воочию результаты нашей обороны — вот во что обошлись гитлеровцам двести пятьдесят дней, проведенных у стен Севастополя.

На повороте пятнадцатого километра шоссе открылась широкая panorama. У меня даже дух захватило. Справа от дороги, круто поднимаясь, выросла гора с разбитой белой часовней на вершине.

— Итальянское кладбище!

— Смотрите! Мы здесь были в обороне! Знакомые места! — закричал Костя Ряшенцев.

— Это не то слово — знакомые! — заметил Левинсон.

«Да! Это, конечно, не те слова!» — подумал я и начал искать более подходящие. На этой горе, на ее склонах, за короткое время боев, атак, штурмов и контратак, когда часто твоя жизнь висела на волоске, а у кого-то обрывалась навсегда, пережито было больше, чем мог бы пережить чело-

век за всю свою долгую жизнь. «Нет таких слов — не измерить, не сравнить, не выразить!» — решил я, глядя на Итальянское кладбище.

Когда головная колонна машин с легкой артиллерией приблизилась к подножию горы с Итальянским кладбищем, засвистели пули... Здесь у немцев был первый заслон перед Севастополем. Начался бой. Машины дали задний ход и укрылись за пригорком. Застучала прямой наводкой наша артиллерия. Все рассыпались и залегли в сухой, высокой прошлогодней траве. Мы укрылись в кустах и начали снимать. Пули взвизгивали почти одновременно с выстрелами — значит, гитлеровцы были совсем рядом. Присмотревшись, мы увидели их пулеметные гнезда. Над ними поднимались желтые облачка пыли. Вскоре пыль, выбитая немецкими пулями, и дым от орудийной пальбы заслонили солнце. Мы снова, как в сорок первом, оказались в привычной обстановке, только Севастополь теперь был не за нами, а впереди нас.

Едва мы расположились на обед, прибежал запыленный вестовой:

— Товарищи операторы, командир дивизии требует!

Как ни жаль, но обед пришлось отставить. Мы последовали за вестовым на НП. Генерал поставил задачу разведчикам — уничтожить пулеметные гнезда на склоне горы.

— Обойдете Итальянское кладбище справа, вот здесь! — комдив показал карандашом на карте. — Незаметно, под прикрытием кустарника, поднимитесь вот сюда, неожиданно нападете на фашистов от разбитой часовни. Задача ясна? Выполняйте! — Генерал нарисовал синим карандашом план обхода горы и ниже на склоне — пулеметные точки врага. Он обвел их красным и дал младшему лейтенанту.

— Есть, выполнять!

— А про нас забыли, товарищ генерал, — напомнил я.

— Да. Прихватите оператора. Подстрахуйте его во время съемки. Выполняйте!

Мы отправились в обход, прячась за голые кустики колючки, покрытые сухим прошлогодним вьюном. Незамеченные, мы обошли гитлеровцев и поднялись на гору выше их расположения. Почему генерал решил, что в развалинах часовни никого нет, было неясно. Ниже нас, на удобной для обзора террасе, лежали за пулеметом трое вражеских солдат и время от времени били короткими очередями по нашим подразделениям и, конечно, не предполагали, что их можно обойти с тыла.

Я приготовился к съемке. Как только автоматчики от-

крыли огонь, нажал на рычажок. Немцы судорожно задвигались, будто бы какая-то незримая сила подбросила их снизу, и вдруг замерли. Только тут я заметил еще одну террасу, ниже и правее. Там несколько солдат бросили пулеметы и побежали, низко пригибаясь к земле. Двое уткнулись в кусты и замерли, остальные исчезли из поля зрения.

Мы обследовали разрушенную часовню и установили, что эти пулеметчики базировались там и без прикрытия спустились вниз, не ожидая нападения с тылу.

Возвращались к себе по хорошо знакомой мне местности. Вот здесь осенью сорок первого мы с Дмитрием Рымаревым несколько дней и ночей грели животами землю Итальянского кладбища. Вот старые наши окопы-одиночки и зигзаги траншей, густо заросшие травой. Кое-где лежат еще не окоченевшие трупы немецких солдат — результаты сегодняшнего боя. На ржавой колючей проволоке висит головой вниз немец с длинными соломенными волосами. Его каска откатилась и лежит рядом с другой, ржавой. Куда ни ступи — всюду продырявленные осколками каски, позеленевшие гильзы, рваные осколки мин и снарядов, исковерканные автоматы, диски, котелки, термосы...

Меня догнал Костя Ряшенцев. Мы остановились. Перед нами кусочек земли, который в течение нескольких месяцев обороны переходил из рук в руки. Миньи и снаряды глубоко вспахали эту землю, потревожив могилы французов, итальянцев, англичан, похороненных в прошлом веке.

Мы осторожно продвигались вперед. Разведчики рассыпались, внимательно прочесывая кустарники. Меня окликнул отставший позади Костя Ряшенцев:

— Смотрите, что я нашел!

Он держал в руках несколько выгоревших на солнце обрывков ленточек с потускневшими названиями кораблей: «...ская Коммун...», «Черно...», «...ский Кавк...» и почти целую ленточку с эсминца «Свободный»...

Костя не прятал слез, он встал на колени, прижался лбом к влажной земле.

— Такая же холодная, как и тогда, когда мы стояли здесь насмерть! Меня, раненного, выволокла отсюда сестра и тут же была убита, а я был как мертвый... — Костя тяжело поднялся с земли. — Вы помните, под Ассами, когда мы с вами познакомились, название какого корабля было у меня на бескозырке?

— Ну конечно помню... «Бесщадный».

Костя протянул мне обрывок ленточки. Я с трудом прочитал полустершееся окончание — «...щадный».

— С нашего корабля! Кто бы это мог быть? Я живой, а его нет, вот судьба... Может быть, это и его каска...

Неподалеку звонко разорвались один за другим четыре снаряда. Мы тут же вернулись из сорок первого в сорок четвертый. Я взял у Кости обрывок ленточки и положил в записную книжку рядом с фотографией матери. С ней я никогда не расставался. Другую ленточку с названием эсминца «Свободный» спрятал в свою фуражку.

Гора с Итальянским кладбищем — в наших руках, Сапун-гора теперь прямо перед нами. Позиции фашистов и наши наступающие части — как на ладони. За крутым косогором напротив Итальянского кладбища сверкнули разом десятки огненных всполохов. Это «катюши» «сыграли» по Сапун-горе. Мгновение, и там, у немцев, вздыбилась земля, вырос коричневый лес разрывов. Снимаю, завожу «Аймо» и снова снимаю.

Какая удачная точка...

Наши танки пошли вперед. Маневрируя под вражеским огнем, они продвигаются в сторону Балаклавских высот.

— Началось! Костя, ты только взгляни, там, за Сапун-горой, — Севастополь, даже не верится! Скоро будем там!

Немцы, отступив, точно заняли рубежи нашей обороны сорок второго, а мы теперь оказались на их месте. Мы уже на своей зеленой полупорке сумели въехать в широкий крепостной ров на самом гребне горы. Внизу под пами была занята немцами Балаклава.

— Микоша! Внимание на солнце — летят «юнкеры»!  
Снимай!

Левинсон и Костя помогли мне развернуть камеру с тяжелой трубой. Я снимал до тех пор, пока угол зрения позволял мне вести панораму. Вдруг бомбардировщики прямо перед зенитными разрывами совершили неожиданный маневр — веером, круто меняя высоту, каждый пошел на свою цель. Две бомбы рванули неподалеку от нашей крепости с внешней стороны и не причинили никакого вреда, третья разворотила пирс в Балаклаве, а четвертая подняла высокий сверкающий столб воды в центре бухты.

— Горит! Горит! — закричал Ряшенцев.

Я повел панораму за «юнкерсом», который со шлейфом черного дыма шел на снижение к морю. Не долетев нескольких метров до воды, он врезался в край горы, рванул, заливая пламенем ее до подножия, и рассыпался на мелкие части.

— Даже парашютами не успели воспользоваться.

— Вот она — цена мгновения! — многозначительно сказал Левинсон.

Разговор на этом оборвался. Над Сапун-горой появились наши «Илы», и я прилип к визиру камеры.

Замаскировавшись в крепости над Балаклавой, мы вели съемки, наблюдали за городом, за Сапун-горой, и вся местность, занятая врагом, была у нас как на ладони. Выгодная точка позволила свободно с утра до ночи снимать не только эпизоды воздушных боев, но и сухопутные атаки, танковые налеты, обработку немецких позиций нашей артиллерией...

Мне хорошо было видно в визире камеры, как «илы» один за другим, тяжело нагруженные, буквально пробирались среди зенитных разрывов, пронизывая их, и сами сеяли огонь на врага. Вот ожесточенный ответ гитлеровцев достиг цели, и наш штурмовик погиб, врезавшись в траншеи, блиндажи врага, круша все и всех вокруг. Я снимал этот беспримерный акт героизма, и мое сердце сжалось от боли...

— Это же надо понять! Ведь каждый из нас знает, что с парашютом с высоты десять—пятнадцать метров не выпрыгнешь! — Левинсон наблюдал за работой нашей авиации в бинокль и не переставал восхищаться героизмом летчиков.

Да, теперь каждый день, каждый час, каждая минута приносили столько съемочного материала, что не хватало пленки — приходилось экономить. За всю войну до этого дня не было такого удовлетворения и радости от увиденного и снятого. Я охрип от радостных возгласов во время съемок:

— Ур-ра! Горит, горит! Сбили! Давай! Давай еще!..

Весна все больше и больше наполняла крымскую землю теплом, светом и красками.

В зеленой ложбинке между Итальянским кладбищем и Федюхиными высотами позади цветущего яблоневого сада притаился дивизион «катюш». Я пробрался в сад в надежде снять из него лавину реактивного огня. Не долго мне пришлось ждать. Сквозь усыпаные душистыми цветами ветви понеслись смертоносные трассы на Сапун-гору.

Белые цветы. Пчелы. Сладкий аромат и несущие смерть струи стремительного огня... Весна и смерть идут по Крыму плечом к плечу. Весна и освобождение. Я снимал, стараясь отвлечься от нахлынувших чувств. Уходить не хотелось. Я не знаю, как долго я сидел в этом маленьком, израненном осколками снарядов садике на краю нейтральной зоны. Я забыл обо всем на свете, будто вернулся домой на Волгу. Пахло миром и медом...

Жалко, что не могу вместе со съемкой записать соловьевые трели, воссоздать аромат весеннего цветения... Я сидел,

слущая, и не верил себе. Чем громче была канонада, тем неистовой и пронзительней пели соловьи, словно соревнуясь с грохотом залпов, с воем летящих снарядов «катюш», с разрывом мин и гулом штурмовой авиации. Но когда наступала короткая тишина, соловьи замирали, как бы удивляясь ей.

Сначала мне показалось, что это случайное совпадение, но, просидев в саду около часа, я убедился, что птица действительно поет именно тогда, когда гремит канонада, и умолкает вместе с ней.

Но вот гитлеровцы засекли позицию «катюш». Полетели первые пристрелочные снаряды. Установки, фыркнув моторами, покинули позицию, а я почувствовал, что если хоть минуту задержусь в этом райском уголке, то будет поздно. Я убегал в полный рост, ползти было некогда. И не зря. Через три-четыре минуты уже не было ни сада, ни соловьиной песни. Розовое облачко весны попало в зону активного артиллерийского обстрела.

С каждым днем канонада становилась гуще, продолжительней, небо дрожало, гудело от сплошного рева моторов. Я представлял себе немцев в Севастополе, их моральное состояние. Попытался сравнить со своим во время обороны... Мы не боялись умереть, мы защищали свое Отечество. А они? Они пришли на чужую землю. Страшно, наверное, умирать без всякой цели на чужой земле...

— Ура! Балаклава наша! — кричали матросы, перепрыгивая через груду руин на выходе к зеленой бухте.

Мы умывались холодной прозрачной водой из бухты. Весело кричали чайки, выписывая острые зигзаги над водой.

— Искупаться бы! Да уж очень холодна... — Ряшенцев сунул руку в воду.

— Бухта минирована! Никаких купаний! — скомандовал невесть откуда взявшийся капитан-лейтенант.

Мы двинулись вперед за морской пехотой. Вскоре пришлось залечь за небольшим пригорком: беспорядочно посыпались мины.

— Товарищи киносъемщики, рано утром приползайте вон на ту высоту, я буду корректировать огонь всей батареи на мыс Херсонес. Все хорошо видно — и аэродром с самолетами, и пароход у берега. Драпают немцы. В стереотрубу все как на ладони. Приползайте — устрою вам в фашистском минометном гнезде маскировку... А я пополза.

Мичман, предложивший нам заманчивый вариант, сразу слился с местностью.

На рассвете мы с Ряшенцевым, преодолев по-пластунски

метров пятьсот, неплохо устроились с нашим телесъемки-  
вом на самой верхушке высоты. Как только стало светать,  
мичман проснулся и прилип к стереотрубе.

В видоискатель моей камеры хорошо было видно, как  
гитлеровцы ведут эвакуацию своих войск с Херсонеса. Мич-  
ман непрерывно передавал по полевому телефону данные о  
противнике на свою батарею.

К самому берегу на Херсонесе подошел вражеский тран-  
спорт, и я начал снимать.

— Подождите, командир, скоро такое представление буд-  
ет... Дадим мы им огоньку!

С судна сбросили на берег сходни. По ним на борт стали  
подниматься солдаты. Пора снимать, а мичман все не дает  
им «прикурить».

— Мичман! Давай, прошу тебя! Опоздаем, слышишь?  
Дай же огонька, как обещал! Уйдет ведь транспорт!

На борт гитлеровцы поднимались густой беспорядочной  
массой. Кого-то столкнули с трапа в море. Я начал снимать.

— Рано, рано, товарищ капитан третьего ранга!

Мичман, прильнув к окулярам, кричал в телефон что-то  
для меня совсем не понятное, не обращая на мои просьбы,  
казалось, никакого внимания. Цифры, цифры...

Но вот один за другим поднялись четыре столба свер-  
кающей воды в стороне от транспорта, не причинив ему  
никакого ущерба.

Я снимал, а снаряды все ближе и ближе подбирались к  
судну. Батарея ведет огонь залпами: четыре взрыва — пау-  
за, еще четыре... Вот наконец вижу в кадре визира: один  
снаряд разорвался на мостице, другой на кормовой над-  
стройке. Судно начало отваливать от берега.

Еще один снаряд ухнул на спардеке. Транспорт увели-  
чил ход и все дальше удалялся от берега. Мичман замолчал,  
отстранившись от своей трубы. Батарея прекратила огонь.

— Уходит, уходит! У всех на глазах уходит! Ну как же  
это можно допустить!

Мичман оборвал меня, закричав радостно:

— «Илы»! «Илы» пикируют! Снимайте! Ур-ра! — Он  
придвинулся ко мне вплотную: — Товарищ капитан треть-  
его ранга, дайте хоть одним глазком глянуть, как они его  
там разделяют. В вашу трубу лучше видно.

— Смотри, только скорей!

Мичман заглянул в визир и сразу отпрянул:

— Заходят! Снимайте!

Я успел нажать рычажок, когда штурмовики ринулись  
один за другим в пике. Вспыхнуло яркое пламя от «эрэсов»,

и транспорт быстро окутался густым облаком дыма. Так он и скрылся за горизонтом, объятый дымом. Тут же на аэродроме близ маяка приземлилось несколько больших десантных самолетов. И сразу же оттуда круто взмыл в небо Ю-88. За ним тянулся плотный след дыма. Я еле успевал поймать самолет в кадр. Заложив вираж, пилот хотел, как мне показалось, вернуться обратно, но было уже поздно: кренясь на одно крыло, «юнкерс» полетел к морю. Я вел за ним длинную панораму. Немного не дотянув до воды, самолет врезался в скалу и взорвался. Камера умолкла. Меня охватило неприятное чувство, к горлу подступила тошнота. Над местом гибели самолета таяло легкое облачко золотистой пыли... Мы молча посмотрели друг на друга.

— Что с ним произошло? Чего это он так торопился на тот свет? — задал вопрос мичман и, не дожидаясь ответа, присел на край окопа. В этот момент к нам подошел Левинсон.

— Успел снять, как он скалу пробовал на зуб? — спросил он.

— Здесь он у меня, в кассете!

— Ладно! Сядь, передохни немногого...

Так и не удалось гитлеровцам наладить эвакуацию войск с аэродрома у Херсонесского маяка. Наша авиация полностью блокировала небо и море. Напрасно осажденные фашисты ждали обещанных кораблей и транспортных самолетов. Медленно, но неотвратимо, шаг за шагом, советские войска сжимали кольцо вокруг Севастополя.

— Удивительно! Знали бы мы тогда, что будем сидеть на том месте, где были позиции немцев, и штурмовать Севастополь. Неуютно им теперь... — говорил Ряшенцев.

— Пусть попляшут теперь под нашим огнем, узнают, что такое чужая земля, — откликнулся Левинсон.

Теперь наша авиация висела в воздухе и не давала фашистам поднять головы. Сотни штурмующих «илов» перепахивали Сапун-гору...

«Видел бы Дмитрий!» — подумал я, вспоминая своего друга. Кому пришло в голову отозвать Рымарева после Керченского десанта на финский участок фронта? Это его заменил лейтенант Дулленский.

— Неужели теперь части будут брать Сапун-гору в лоб? Не могу представить себе! Да и нужно ли? Все равно фашистам в Севастополе каюк! — удивлялся Костя.

— Нужно или не нужно — знают лучше нас, — бросил Левинсон. — Возможно, задуман хитрый маневр, а мы о

нем узнаем в последний момент и войдем в Севастополь вместе с передовыми частями.

Наум Борисович явно чего-то не договаривал.

...К вечеру 8 мая смолкла тяжелая канонада, перестали гудеть над головой самолеты, замолкла ружейно-пулеметная перестрелка. Затишье окунулось в напоенную весенней свежестью ночь. Перед самым рассветом запели соловьи, предвещая утро.

— Кто бы мог подумать, что в мире войны? — сказал Левинсон и, прикуривая, посмотрел на часы. Он разбудил нас очень рано.

Первые лучи солнца окрасили верхушки Сахарной головки и разбитую часовню на Итальянском кладбище. Вздрогнула вдруг, как при землетрясении, Крымская земля. Завыл, заревел раздираемый, как прочная ткань, воздух. Перед объективом моей камеры медленно прошла панорама Федюхиных высот. Растигнувшись от ружейно-пулеметной стрельбы пылевые облачка четко обозначили рубеж наших передовых частей. Впереди грозно и непрступно застыла усеянная темными кудрями взрывов Сапун-гора. Там в наших когда-то блиндажах и траншеях засели фашисты. Начался штурм. Три полосы железобетона, сведенные в мощные узлы сопротивления, вместе с хитрой системой противопехотных заграждений были преодолены солдатами и матросами в невиданном порыве. Но каждый сантиметр земли был взят с боем, каждый шаг бойцов был подвигом. Весь склон Сапун-горы был глубоко вспахан, густо засеян горячим металлом, щедро полит потом и кровью.

Мы продвигались с частями Отдельной Приморской армии в бригаде морской пехоты полковника А. С. Потапова. На самом берегу, в развалинах Георгиевского монастыря, немцы оказали жестокое сопротивление, но выдержать стремительного натиска морской пехоты не смогли и отступили — часть к Херсонесскому мысу, часть в Севастополь.

Шла, наступала наша армия, и этот порыв вперед, как и рождение весны, не могла остановить никакая сила...

Маневр по осуществлению штурма Севастополя, на который мы надеялись, был произведен, но это не избавило от необходимости брать Сапун-гору в лоб. Он только обманул врага, заставил его оттянуть часть сил от задуманного нашим командованием направления главного удара к Мекензиевым горам, где наступление началось двумя днями раньше.

Выйдя первыми на Корабельную сторону, бойцы неболь-

шого отряда морской пехоты подбросили вверх свои бескозырки и трижды прокричали: «Ур-ра!»

Здравствуй, Севастополь! Здравствуй, мы вернулись к тебе, как обещали в дни горькой разлуки!

Грянул в голубом весеннем воздухе первый беспорядочный салют из автоматов. Перед нами за Южной бухтой дымятся руины города. В районе Караантинной вздыхают тяжелые взрывы.

Внизу, под нами, у Павловского мысса полу затонувший эсминец «Свободный». Я был свидетелем его гибели. Будто вчера это было... Напротив, у Графской пристани, торчат мачты потопленного крейсера «Червона Україна». У памятника «Затопленным кораблям» ярко пылает немецкая самодходная баржа. Кипит над Севастополем ружейно-пулеметный клекот... Немцы с боем оставляют горячие от солнца руины. И вот еще один бросок. Перед нами израненная, пробитая пулями и осколками снарядов колоннада Графской пристани. Черный дым от горящей баржи стелется за колоннами по бликующему морю. Играет солнечными горячими зайчиками Северная бухта. Разбитая лестница густо усеяна рваными осколками и стрелянными гильзами. Вместо деревянного пирса в конце лестницы зияет огромная воронка.

Мы стоим пыльные, опаленные порохом и весенным солнцем, счастливые и радостные. Какой день — мы в Севастополе!

Двести пятьдесят дней не смогли сломить фашисты нашу оборону, а сами продержались всего 24 дня. Мы вышли на подступы к городу 15—16 апреля. Сегодня — 9 мая, день освобождения Севастополя!

Я взглянул на флагшток над Графской — он пуст.

— Костя, подержи камеру, я сейчас вернусь!

Сбросив китель, я быстро забрался наверх, снял тельняшку и повесил ее, как флаг, на железном шпиле. Потом достал из фуражки выгоревший на солнце обрывок ленточки с минного поля из-под Итальянского кладбища и обвязал им острие шпилля выше тельняшки.

Я опустился вниз, и мы дали салютный залп из своих пистолетов. Тельняшка и черная матросская ленточка развеялись на фоне синего крымского неба, приветствуя счастливый день победы над врагом.

Кто ты, отважный матрос с минного поля из-под Итальянского кладбища, отдавший жизнь за родной Севастополь, я не знаю, но ленточка с твоей бескозырки вернулась в твой любимый город и, как знак траура по всем погибшим, торжественно и скорбно полощется на солненом ветру...

Свершилось. Севастополь наш. Теперь скорее на мыс Херсонес. Там еще сопротивление — фашисты сдались не все. По знакомой дороге, изъявленной минами и снарядами, сквозь толпы беспорядочно идущих навстречу заросших измощденных пленных, медленно лавируя среди разбитой техники, мы пробирались вперед.

Я вспомнил, глядя на дорогу, как мчал нас по ней Петро Прокопенко... Казалось, сейчас прозвучат его: «Охфицеры, тримайся!» «Эх, Петро, Петро. Неужели ты никогда не вернешься в Севастополь? Не споешь нам «Виуют витры, виуют буйны...»? Хиба ж це дило?..» Мои певеселые мысли прервались. Наша машина остановилась. Дорогу загородила плотная толпа раненых вражеских солдат. Я смотрел в их лица, пытаясь увидеть зверя, того самого — кровожадного, который убивал, терзал и мучил на нашей земле пи в чем не повинных людей.

А навстречу мне шли, даже не шли, а еле переставляли ноги худые, измученные люди, несчастные существа. Я невольно с омерзением отвернулся от этой толпы, и, когда мы снова тронулись, переключил внимание на догоравший в кювете «фердинанд». Я велел Дмитриенко остановить машину и начал снимать все, что творилось на дороге.

— Костя, сними этих раненых, — попросил я Дупленского, — а я займусь той группой и техникой.

Стрельба впереди совсем прекратилась.

— Мы с Ряшенцевым пойдем вперед, вы, когда кончите здесь, догоняйте нас, — обратился я к Левинсону.

Вот и Херсонес. Где же знакомый аэродром? Как все изменилось, стало чужим, неузнаваемым... А может быть, еще не доехали? Я высунулся из машины и сразу увидел маяк на краю мыса, у самого моря.

«Маяк — белая свеча Крыма, — как тебя изранили снаряды! Пробили насквозь, а ты не поддался — гордый, с простреленной грудью стоишь, как матрос, и не падаешь от пули, не умираешь от ран...»

— Ну как, может, поснимаем? — спросил Левинсон.

То, что я увидел, выйдя из машины, не придумать при самой дикой фантазии... Оранжевое поле бывшего аэродрома представляло собой хаотическое нагромождение разбитой и еще уцелевшей военной техники. Будто чья-то сильная рука в порыве гнева переворошила все и вся в поисках сбежавшего преступника. И под эту тяжелую руку попали зенитки и орудия всех калибров, полосатые танки «тигр», самоходки «фердинанд», грузовые автомобили с солдатами и поклажей, легковые и штабные машины, «юнкерсы» и «мес-

серы», повозки, запряженные живыми и мертвыми лошадьми, беспорядочные штабеля ящиков с провиантом, боеприпасами, медикаментами, прожекторные установки с огромными параболическими зеркалами...

Всюду валялись вражеские солдаты, и вперемежку с ними — раненые. Трудно было понять, кто еще жив, кто мертв. Множество гитлеровцев, бледных, с выпущенными от страха глазами, стояли с поднятыми руками. Одни, как изваяния, замерли в этих позах, другие сидели безучастно на земле, на ящиках, в грузовиках и повозках. Многие лежали на земле лицом вниз, закрыв голову руками. Ужас и смятение владели фашистами. Они прятались друг за друга, падали на землю, накрываясь плащ-палатками, давили друг друга; перелезая через убитых солдат и мертвых лошадей, бросались с крутого берега в море, плыли, тонули... Море не спасало. Море помнило сорок второй. Пришло возмездие...

Все пространство моря — от берега до горизонта — было усеяно самодельными плотами, надувными лодками, досками и бревнами от блиндажей с людьми на них. Голубое спокойное море невозмутимо играло солнечными бликами, равнодушное к этому тотальному разгрому.

Я снимаю, завожу «Аймо» и снова снимаю. Мне некогда рассматривать и детализировать, я стараюсь снять как можно больше общих планов этого краха фашистов и, ловя камерой детали, не успеваю рассмотреть, кто из плавающих на воде жив, а кто уже мертв. Это, я думал, успеет сделать зритель, глядя на экран после войны. Мною же руководило одно непреодолимое желание — запечатлеть самое главное, успеть взять у события всю неповторимость и силу воздействия, которые сейчас испытываю я на себе. Я знал, что пройдет десять — двадцать минут и эмоциональная свежесть восприятия происходящего поблекнет, острота моего видеопоя притупится. Я торопился снимать, пока не прошел ужас и страх в глазах немецких солдат и офицеров, зная, что если успею снять вовремя хоть небольшую долю того, что было перед моими глазами, то и этого, наверно, будет достаточно, чтобы многие люди на земле никогда не посмели взяться за оружие, боясь, что их ждет то же, что увидят они на экране.

«Да, это возмездие!» — думал я, подходя к крутому обрыву над морем. Перед объективом у самого края блиндажа, его настил наполовину сдвинут под обрыв. В глубине укрытия лежат мертвые солдаты с автоматами в закостенелых руках. Все вокруг них усеяно стрелянными гильзами.

— Вассер! Вассер! — послышался вдруг слабый стон.

Среди убитых оказался один раненый. Он, кажется, был безнадежен и повторял свою просьбу все слабеющим голосом.

Я сходил к машине за канистрой с питьевой водой и дал немцу вволю напиться.

— Эх вы, гуманист! Дал бы он вам как-нибудь попить! — сказал укоризненно Костя.

— Нельзя не выполнить последней просьбы умирающего! — ответил я Ряшенцеву, когда увидел его непонимающий взгляд.

Удивленные глаза смертельно раненного солдата с мольбой и благодарностью остановились на мне, и он с трудом пропел:

— Данке, камрад!

Его лицо приобрело тот серый оттенок, когда наступает конец всем страданиям. Я до сих пор вижу голубой цвет его застывших в удивлении глаз.

— Нет, Костя, ты не прав! — сказал я тогда. — Виноват не он! Виноваты другие! Просто за их преступления расплачиваются миллионы невинных...

Мы шли дальше. Костя молча брел позади. В моих ушах продолжало звучать хриплое солдатское «данке», последнее на этом свете «данке»...

Я подошел к группе вражеских солдат, которые молча стояли, прижавшись к грязно-серой броне «тигра». Когда я поднял камеру и направил на них, немцы, как по команде, все разом подняли руки вверх. Неужели не понимали, что их снимают, а не расстреливают? Совершенно неожиданно получился очень эмоциональный, драматический кадр. Выражение запечатленных лиц соответствовало, по крайней мере, тому, что происходит со смертельно перепуганными людьми при расстреле.

На самом берегу моря у отвесного обрыва я увидел и снял кадр, который потом именовался «стеной смерти». Около тридцати офицеров высокого ранга сидели в неестественных позах под обрывом, плотно прижатые друг к другу. Мы даже не поняли сразу, что здесь произошло.

— Ты знаешь, Костя, наверное, они не захотели живыми сдаться в плен. Почти у всех в висках кровавые раны...

Жуткая панорама прошла перед моим объективом. Я вел ее по мертвым лицам, а они открытыми неподвижными глазами смотрели на меня. Вдруг в кадре появились мигающие глаза, смотревшие прямо в объектив. Мне стало не по себе. Я опустил камеру и снова услышал хриплое: «Вассер! Вассер!» Голос был резкий, властный, требовательный.

Я не знаю, выжил ли офицер после того, как ему протянули кружку воды, но вежливого «данке» никто не услышал.

Тут же, недалеко, лежал наполовину притопленный в воде деревянный трап. По нему уходили из Севастополя немцы на пароход, который я снимал телеобъективом с Балаклавских высот. Весь берег был завален трупами.

Не дали воины нашей Отдельной Приморской и 51-й армий 17-й немецкой армии «улизнуть» из Крыма. Только на Херсонесе была взята в плен 21 тысяча вражеских солдат и офицеров. А всего гитлеровцы потеряли на крымской земле более 100 тысяч человек.

Заревели моторы. Низко над Херсонесом пролетел Ю-88.

— Не знал, что мы уже дома! — сказал Левинсон.

Над аэродромом ураганом пронесся пулеметный шквал. Видимо, пилот, заходивший на посадку, только в последнюю минуту понял, что случилось, и у самой земли резко забрал вверх. Но было поздно. Один из моторов вспыхнул, и «юнкерс», свалившись на одно крыло, за маяком нырнул в море. Оно сегодня «гостеприимно», сотнями принимало фашистов.

В конце августа я получил назначение в оперативную группу для съемок стремительного наступления наших войск на запад. Победно завершалась грандиозная Ясско-Кишиневская операция, начатая 20 августа 2-м и 3-м Украинскими фронтами. Главные силы немецкой группы армий «Южная Украина» были разгромлены. Гитлер потерял 22 свои дивизии и все румынские.

Путь на Балканы был открыт.

И вот 30 августа на оперативном самолете студии я и мои друзья Дмитрий Рымарев и Алексей Лебедев вылетели в Бухарест.

Мы знали, что за неделю до этого, 23 августа, в Бухаресте началось вооруженное восстание. В тот же день был свергнут Антонеску и объявлено о создании правительства национального единства. Новое правительство объявило о выходе из войны. А на следующий день, 24 августа, Румыния объявила войну своим вчерашним союзникам.

Повстанцы освободили Бухарест от врага и удерживали его до прихода советских войск. 31 августа вместе с нашими частями и мы, операторы, были в столице Румынии.

Запруженные праздничной, пестро одетой толпой улицы Бухареста кипели радостно и возбужденно.

«Траяска Советика! Траяска Советика!» — эти громкие возгласы, музыка и песни наполняли теплый воздух. Наши танки входили в Бухарест. Густой дождь цветов падал с верхних этажей на смуглых, покрытых светлой пылью бойцов, на гусеницы танков, стволы орудий, устипал горячую от августовского солнца мостовую...

Трудовая Румыния, ненавидевшая прогитлеровский режим, встречала нас как лучших друзей. Радость была бурная, восторженная, неподдельная. Только потом мы узнали, что после восстания 24 августа Гитлер приказал подавить «мятеж» любой ценой. Гудериан предлагал фюреру принять все меры к тому, чтобы Румыния исчезла с карты Европы, а румынский народ перестал существовать как нация.

Люди с ужасом вспоминали фашистскую бомбардировку Бухареста 24 августа. В тот же день и наземные части гитлеровцев перешли в наступление с целью уничтожить повстанцев, и если надо будет, то и город. Не случайно в это решающее время Гитлер поручил карательную акцию генералу Р. Штахэлю — кровавому коменданту Варшавы. Городу и людям грозила участь восставшей Варшавы. В это время Красная Армия стремительно продвигалась к Бухаресту. Равбитая Красной Армией группа армий Фриденера не смогла удержать Бухарест.

...На Каля Виктория среди восторженной, радостной толпы я неожиданно встретил своего старого приятеля фронтового кинооператора майора А. Г. Кричевского. Мы не виделись с ним с начала войны.

Несколько дней мы с Кричевским снимали в Бухаресте, но война торопила события — путь лежал дальше на юго-запад, и мы получили через командира фронтовой подвижной группы полковника Л. Н. Саакова распоряжение следовать вместе с войсками в Болгарию.

Необходимость достать машину задержала нас, а части тем временем переправились через Дунай.

Мы отправились в район Бухареста на Пьяце де Круче. Там было вавилонское столпотворение — сновали «виллисы», «доджи», трофейные «мерседесы», «олимпии», «опели», «хорьхи»... Мы даже растерялись. Вдруг недалеко от нас остановился новенький «опель-капитан».

— Смотри. Это, кажется, то, что нам надо! — толкнул меня Кричевский.

За рулем сидел похожий на грузина молодой парень с черными элегантными усиками.

— Идем! Скорее, а то уедет! Цивильный...

Разговор с шофером не получился. Он ни слова не знал

по-русски, а мы ничего не понимали по-румынски. Однако изобретательные жесты и мимика сделали свое дело. Мы «затрофеили» «опель-капитан» вместе с шофером, которого звали Ангелом. Машина принадлежала, как выяснилось потом, одному немецкому коммерсанту, который успел бежать вместе с фашистами. Ангел с радостью согласился ехать с нами в Софию.

На рассвете следующего дня, побросав свои скучные по-житки и «Аймо» в «опель», мы выскользнули из шумной, веселой столицы.

Было начало сентября.

Красная Армия продолжала стремительное наступление, освобождая все новые и новые районы Румынии. В 11 часов утра 8 сентября войска 3-го Украинского фронта перешли румынско-болгарскую границу.

Только на переправе через Дунай мы догнали наши войска. Ангел оказался не только чудесным водителем, но и прекрасным организатором. При его деятельной помощи нам удалось пристроиться на небольшой паром, и мы высадились на болгарскую землю.

Выше нас по течению с огромного парома скатывались тридцатьчетверки и, поднимая облака пыли, уходили на юго-запад...

Похлопав по плечу Ангела, Кричевский начал на пальцах объяснять ему, что мы должны догонять наши части. Потом решил объяснить по-немецки. Шофер сразу все понял, повеселел, и мы понеслись по мягкому от солнца шоссе. Дорожные знаки и указатели вели нас прямёхонько в столицу Болгарии...

Отлетали назад километры, а на дороге по-прежнему не было ни души.

— Не могли же они так далеко от нас оторваться? — поделился я тревогой с Кричевским.

— Может быть, это не главное шоссе и где-то есть другое, по которому они движутся?..

На дорожном знаке надпись: «София — 420 км». Остановились.

— Спроси у Ангела, какие есть еще дороги на Софию?

— Он первый раз в Болгарии...

Пока мы обменивались предчувствиями, послышалась автоматная очередь. Впереди из-за крутого поворота дороги выскочили с немецкими автоматами несколько человек. Ангел остановил машину. Люди окружили нас со всех сторон, и дула их автоматов заглядывали нам прямо в глаза.

— Выходь всичку! Руки наверх!

Минутная пауза длилась бесконечно. Возбужденные лица испытывающие смотрели на нас. Затем, словно по команде, все сразу кинулись на нас.

«Ну все, кончено! — подумал я и закрыл глаза. — Пропали! Как глупо...»

Но что это? От изумления я открыл глаза. Нас целовали и обнимали человек десять.

— Русски! Ур-ра! Братушки! Партизаны, партизаны — понимаешь на болгарский та езык? Мы партизаны! Всички дружи! Драги товарищи! — тряся и до боли сжимая мои руки, кричал увешанный трофейным оружием здоровенный бородатый парень.

Все сразу разъяснилось: нас по «опелю» приняли за удирающих немцев. Да еще «подыграла» моя флотская форма с черной фуражкой и «крабом» — издали партизаны приняли за эсэсовца. Только выдержка бородатого командира партизан, вовремя давшего команду не стрелять, спасла нас от беды. К счастью, единственная очередь, услышанная нами, вырвалась из нетерпеливого автомата мальчика-подростка и нас не задела.

— Ангел, ты молодец! Вовремя остановился, — сказал я шоферу, а он, не понимая меня, растерянно заулыбался.

— Хорошо, что ты не пытался удрать... Были бы мы как решето! — объяснил Ангелу по-немецки Кричевский и дружески обнял его.

С этого момента все изменилось. Впереди нас мчался тяжелый мотоцикл, на нем гроздьями висели партизаны и оповещали жителей сел, которые мы проезжали:

— Красная Армия вступила на болгарскую землю!

А мы решили, что наши части другим путем дошли до Софии. Чем ближе была столица Болгарии, тем больше было цветов. Нас буквально засыпали ими. Мы задыхались от аромата роз. И еще. Восторженные жители слишком настойчиво угождали нас вином. Появилась грозная опасность изрядно захмелеть. Мы чаще только чокались. Чтобы не обижать радушных болгар, наши сопровождающие выручали нас — вино и угождение складывали в багажник «опеля».

— Как же снимать? Вот положение!

Снимать действительно было почти невозможно. Ведь мы сами оказались в центре внимания тех, кого хотелось бы снять.

— Смотри! Смотри, что на улицах делается!

— Да, отступать не только невозможно, но и некуда! — Кричевский схватил «Аймо» и начал снимать прямо из окна.

Нас окружила восторженно кричащая толпа. Она становилась все гуще и гуще. Мы медленно ехали, а люди, возбужденные, радостные, двигались рядом с машиной вместе с нами. По лицу Ангела градом катился пот. Его черные глаза были расширены от удивления.

— Пока я снимаю, ты отвечай на приветствия! Потом поменяемся! — крикнул я Кричевскому.

Матери протягивали нам своих детей, старушки благословляли нас крестным знамением. Совсем медленно мы продвигались к центру города. Но вот произошло что-то совсем непонятное. Кажется, заглох двигатель, «опель» на мгновение остановился, но тут же начал качаться, как на волнах.

— Что же это такое? Смотри! Нас подняли и несут на руках!

— Снимай! Снимай!

Вокруг, как море, бушевала радостная толпа.

Мы почувствовали на себе, какую огромную любовь снискала у этих людей наша славная Красная Армия.

Потом нам рассказали о том, что в ночь на 9 сентября в Софии вспыхнуло восстание. В этот день было объявлено о приходе к власти правительства Отечественного фронта.

Именно успехи наших войск в Ясско-Кишиневской операции позволили активизировать действия антифашистских сил в Болгарии. И выход войск З-го Украинского фронта к румынско-болгарской границе стал для жителей Софии сигналом к восстанию.

Радостью и ликованием нас встречали не только партизаны, не только жители городов, сел и столицы Болгарии, но и солдаты болгарской армии. Они видели в нас представителей армии-освободительницы.

Только через два дня вошли части Красной Армии в болгарскую столицу. И только через два дня нам удалось по-настоящему снять встречу жителей Софии с нашими воинами... Это было 15 сентября 1944 года.

17 января 1945 года мы входили в Варшаву. Непривычная тишина. Огромная безмолвная пустыня — Левобережье и Центр — сложное нагромождение мертвых обгорелых камней. «Старо място» в руинах, как будто эти кварталы пережили страшное землетрясение. Обгорелые скелеты домов еще окутаны последним дымом. По следам прежних улиц протоптаны узкие тропинки, и вот на них появились первые жители — оборванные, изможденные... От бесчисленных боев и стычек во время восстания, от январских схва-

ток остались немые баррикады и трупы на них — множество трупов, подбитые, еще дымящиеся танки, ежи колючей проволоки, разбитые фонари, и под ними тоже убитые.

Множество сиротливых пьедесталов от памятников. Стоит среди этого хаоса одинокий Коперник. Дом Шопена — лежащая в руинах мемориальная доска. Изувеченный трамвай на искореженных рельсах с надписью «Только для немцев», убитый немецкий солдат в дверях вагона, тела погибших горожан. И над всем этим — свастика. На уцелевшем обломке стены — надпись «Адольф Гитлер-плац». В тюремном окне — истощенные, страшные лица людей, вцепившиеся в прутья решеток. И вот они уже на тюремном дворе, их только трое. Остальные, как штабеля дров, лежат рядом — расстрелянные. Плачут родные и близкие над мертвыми мужчинами, женщинами, стариками и детьми. Плачет старуха, стоя на коленях у тела убитого мальчика лет одиннадцати. Голова его запрокинута, полуоткрытые глаза не подвижно устремлены в небо. Рядом запрокинута так же, как у мертвого подростка, лежащая в руинах мраморная голова Шопена... Я снимаю, снимаю...

И вдруг над руинами под гимн «Еще Польска не сгинела» взвивается и полощется в небе национальный красно-белый флаг.

Между руин проходят польские дивизии. В город входят наши тяжелые танки и артиллерия. Им навстречу стекаются все уцелевшие горожане. Их немного, очень немного. Они в порыве радости целуют, обнимают наших и польских солдат, целуют польские флаги на радиаторах машин. Это все те, кто пережил оккупацию, кто чудом выжил в героические дни восстания и в ужасные дни планомерного варварского разрушения Варшавы. В основном это дети и старики.

Когда в августе 1944 года в Варшаве вспыхнуло восстание, фашисты не скрывали своего злорадства: это был по-вод к уничтожению польской столицы. В двадцатых числах сентября на совещании Гиммлер высказался предельно откровенно: «С исторической точки зрения факт организации поляками восстания является для нас божьим благословением. В течение пяти-шести недель мы покончим с ним. Тогда Варшава, этот очаг сопротивления, где находится цвет интеллигенции польского народа, будет стерта с лица земли. Не будет больше столицы народа, который в течение 700 лет блокирует нам Восток и который от первой битвы под Танненбергом постоянно стоит на нашем пути...

Я отдал приказ о полном уничтожении Варшавы. Приказ требует: каждый дом и каждый квартал должен сжигаться и взрываться...»<sup>1</sup>

В середине сентября наши войска заняли предместье Варшавы Прагу, но так и не смогли перебраться через Вислу и освободить Варшаву. Я не имею права судить о ситуации, сложившейся к тому времени, и о том, почему мы не смогли спасти столицу Польши. Но вот как об этом писал генерал С. Поплавский, командующий 1-й армией Войска Польского, которая освобождала Варшаву: «К тому времени Красная Армия прошла с тяжелыми боями более 600 километров по полям Белоруссии, западных областей Украины и Литвы. Тылы ее растянулись.

К концу июля темпы наступления советских войск начали замедляться. Сказались потери, ощущался недостаток горючего. Отставала артиллерия и артиллерийское снабжение. Снизила свою активность авиация из-за перебазирования на новые аэродромы»<sup>2</sup>.

Когда после тяжелых шестидневных боев наши войска овладели Прагой, солдаты увидели сквозь ее обгорелые руины на левом берегу Вислы Варшаву. Она горела, и над черными остовами домов вздымались частые взрывы.

Наши части попытались с ходу форсировать Вислу, но, изнуренные тяжелой и длительной операцией, были не в силах отбить город. Затихла канонада, затихла ружейно-пулеметная перестрелка, перестали рваться снаряды на Правобережье, а за Вислой с торчащими из нее пролетами взорванных мостов — был догорающий город и неумолкающая ружейно-пулеметная стрельба.

Советское командование знало, что уже полтора месяца в польской столице пылает героическое восстание, поднятое слишком преждевременно и без согласования с ним и Войском Польским, но было бессильно помочь повстанцам.

Каждый день советские самолеты сбрасывали восставшим оружие, боезапасы и продукты — это был единственный способ поддержать их. Варшавяне сражались против отборных частей СС и полиции, стояли против танков и самолетов. Город сражался героически и продержался 63 дня, а когда, сметенный с лица земли, пал, на Воле и в Старом Городе погиб весь штаб восставших и еще 200 тысяч лучших сыновей и дочерей Польши.

<sup>1</sup> Цит. по: Поплавский С. Г. Товарищи в борьбе. М., 1974, с. 165.

<sup>2</sup> Там же, с. 159.

...И вот настал день 14 января 1945 года. Советские солдаты пошли в бой за Варшаву.

Поднимаются стволы орудий, на которых от руки написано «За Варшаву». Солдаты заряжают пушки. На снарядах тоже надпись — «За Варшаву».

Раздались первые оглушительные залпы из-за леска вдали, небо озарили стремительные всплески огня — бьют «каки-то». У старого костела извергает непрерывный огонь артиллерия. Дрожит земля. Под ее прикрытием через Вислу на лодках-понтонах десант через лес разрывов устремился на тот берег. Бой перебросился в руины города, артиллерия на этом берегу смолкла. Последнее склокотание боя постепенно затихло. Варшава освобождена.

Недавно еще пустой, мертвый город вдруг задышал. Люди толпами стекались на свои пепелища. Они шли пешком с незамысловатым скарбом, с тележками и узелками. Непонятно было, что они могут найти в этой пустыне, где и как они могут жить. Варшава напомнила мне Севастополь и Сталинград. Тогда я думал, что Варшаву уже нельзя воскресить.

На груде кирпичей сидит человек. У него такой вид, как будто он долго сюда стремился — и вот пришел к ничему. И некуда ему больше идти, и никуда он больше не пойдет.

С первых же дней появились на улицах города люди с лопатами и тачками. Они разгребали и расчищали завалы. Тогда я думал, что во сто крат дешевле и легче построить новую столицу, нежели поднять из пепла погребенный город. Да и возможно ли это вообще? Но люди никуда не хотели уходить. Ни лишения, ни доводы здравого смысла не заставили их бросить то, что осталось от города. Люди вцепились в развалины, как в самое дорогое, что у них осталось. Я уверен, что ни у кого из них ни на секунду не было сомнения, что Варшава будет восстановлена.

Люди поселились в этих развалинах, и им надо было помочь. Советские солдаты прокладывали проходы через засыпанные щебнем улицы и площади, работали вместе с горожанами. Наши саперы разминировали дома и писали на их стенах и оставах: «Мин нет!»

Люди торопились. Они шли на любые лишения ради восстановления своего города. Варшавяне жертвовали на это свои последние деньги. Всем было страшно трудно, но они работали сначала для города, потом для себя. На железнодорожную станцию стали приходить грузы из СССР. Приехали возрождать город иностранные студенты, на улицах Варшавы появились советские строители.

Еще весной 1945 года Советское правительство создало комиссию содействия Польше для восстановления Варшавы.

Все увиденное нами в январе сорок пятого осталось за-печатленным на кинопленке, снятой мной и моими товарищами. Вскоре на экраны вышел фильм «От Вислы до Одера», где зрители увидели прорыв Среднеевропейского вала, освобождение Варшавы и Познани. И уже позже была сделана лента «Возрождение Польши», куда вошли и наши съемки зимой сорок пятого, и то, что снимали мы с операторами Алексеем Семиным и Владимиром Цитроном сразу после окончания войны — в сорок шестом.

Война шла дальше на запад.

Отгремел 2-й Белорусский фронт на Висле, далеко позади остались закопченные руины Варшавы.

В составе киногруппы 2-го Белорусского фронта, куда меня перебросили еще в сорок четвертом, я снимал стремительное наступление наших войск.

Начальник нашей киногруппы режиссер-оператор Марк Трояновский был известен еще до войны своими съемками на Севере. Он первым шел на ледоколе «Сибириаков» Северным морским путем из Мурманска во Владивосток, снял фильм об этом переходе, был участником Челюскинской эпопеи и экспедиции Отто Юльевича Шмидта на Северный полюс. Мы подружились с ним во время спасения челюскинцев. И вот еще одна встреча.

Наши войска, войдя в Восточную Померанию, стремились отрезать восточно-прусскую группировку противника от остальной Германии. Для этого надо было выйти к Балтике.

— Итак, друзья, завтра к вечеру вам предстоит отправиться в трудный и не лишенный риска путь. С танковой колонной в тыл к немцам... — Марк сделал паузу, видимо, стараясь понять, какое впечатление произвели его слова, потом спросил: — Ну как, не ожидали?

— Мы же на войне, Марк Антонович! А на войне — как на войне! — с улыбкой ответил мой напарник и земляк кинооператор Давид Шоломович.

Трояновский расстелил на снарядном ящике, в котором мы возили кинопленку, карту и показал нам путь к конечной точке на берегу Балтийского моря, недалеко от города Толькемит. Мы переглянулись.

— Зелень! Судя по всему, дремучие леса, — сказал я Марку.

— А что, если там встретим Красную Шапочку и Серого Волка? — пошутил Шоломович.

— Перестаньте, капитан! — оборвал Давида Марк. — Сообщаю о приказе командования, а вы изволите острить! Встретите Волка, и притом зеленого... Продумайте все и подготовьтесь как следует.

Мы пошли в свою крытую полуторку и занялись пленкой и кассетами.

— Танковый рейд -- это здорово, а? — Давид посмотрел на меня с ехидной усмешкой. — Но не будем вешать носа...

— Конечно, не будем, тем более что рейд-то ночной, очень удобно перезаряжаться, а не снимать.

Мы надолго замолчали.

Шоломович прямо из ВГИКа ушел на войну, в авиацию, и показал себя смелым и веселым человеком. Всюду, где бы он ни появлялся, после него оставалось бодрое, приподнятое настроение. Широкая, с хитрецой, улыбка не сходила с румяного лица Давида, даже когда он сердился. Всегда приветливый, добродушный толстяк, он сразу стал душой пашего маленького фронтового коллектива. Мы как-то сразу с ним подружились. Возможно, оказались здесь наши противоположные характеры, а может быть, Волга соединила нас, как земляков — Самару и Саратов.

...Январь сорок пятого выдался мягким и снежным. Всю эту ночь шел снег, густой и крупный, как лебяжий пух. Огромные хлопья без ветра тихо падали, окутывая землю белым мягким покрывалом. Наутро мы с трудом выбралисъ из дома, где приютила нас на ночь пожилая женщина. Снег лег метровым слоем, и дорога исчезла под ним бесследно.

Четыре тяжелых танка и четыре Т-34 готовились к рейду. Экипажи возились около них, черные от копоти и масла. Мы с Давидом и старшиной Федором Кулаковым, нашим новым водителем, готовили свою машину.

— Может быть, отменят наш выезд? Снег-то идет и идет! — предположил мой друг.

— Думаешь, застрянем?

— Думать даже нечего! Спроси у Федора!

— Если в след пойдем за танками, может, и пробьемся, а если они свернут, разойдутся в разные стороны, то хана, утонем!.. — сказал Кулаков, стукнув кирзовым сапогом по скату.

В это время к нам подошел курносый лейтенант.

— Это вы киносъемщики? Айда со мной, начальство требует! — сказал он.

У головного танка на расчищенной от снега полянке стоял майор в новеньком меховом шлеме.

— Так кто из вас спятил — вы или ваше начальство? — набросился он на нас. — Нет у меня для вас места в танках! Надеюсь, это вам понятно?

— Мы, слава богу, на войне не первый день и знаем, кто и для чего сидит в танке, — ответил я горячemu майору. — А кричать на нас не следует, мы, как и вы, выполняем приказ командования...

— Но сверху на танк я ведь вас не посажу! — уже спокойнее сказал майор. — Мы будем действовать без пехоты. Путь далекий, замерзнете на ходу.

— У нас свой вездеход. Оборудован по последнему слову техники, в огне не горят и пули отскакивают — фанера! — с серьезной миной на лице сказал Шоломович. — Вон видите, товарищ майор, зеленает за кустами.

Майор взглянул на нашу зеленую фанерную халабуду и громко расхохотался. Только когда мы убедили его в том, что у нас другого транспорта нет, и напомнили, что приказ командования не обсуждается, он, пожав плечами, распорядился нашу машину поставить за четвертым танком, за ней будут следовать еще четыре машины.

— Передние пробьют в снегу дорогу — ваша колымага легко за ними пройдет, а замыкающие тридцатьчетверки прикроют вас с тыла.

В 17 часов предстояло тронуться в путь. Наша фанерная мишень заняла свое место на дороге между танками.

Скоро наступили сумерки, и наша железная армада, громухая и лязгая, двинулась в неизвестное. Лавина рева обрушилась на уши, и мы с Шоломовичем с непривычки оглохли. Но когда железный караван растянулся по заснеженной дороге и лязг гусениц приглушил густой мачтовый лес, бегущий по обе стороны дороги, мы понемногу привыкли и к грохоту, и к ядовитому выхлопному газу.

Машине шла, кренясь на один бок. Ширина колеи полуторки была значительно уже ширины гусениц. Одним скатом мы катились по следу гусеницы, а другим по примятому днищем танка снегу. Машину все время тянуло в сторону. Я перебрался в кабину к шоферу. Федор Кулаков был отличным мастером вождения по любой дороге и без дороги. Но я видел, как трудно было ему сейчас вести машину. Скоро совсем стемнело. Фары зажигать было запрещено.

Давид сидел в полуторке у открытой задней дверки, его внимание было приковано к идущему позади танку. Порой казалось, что он неминуемо раздавит нашу фанерную кон-

структурю. Иногда Шоломович, стуча в стенку кабины, подгонял Федю вперед, боясь наезда Т-34. Погода была пасмурной, но судя по светлому пятну на темном небе, пробивалась луна. Высокой нескончаемой стеной стоял по обе стороны лес, тяжело накрытый снегом.

Снова повалил густой снег. Стало совсем темно. Дали команду включить фары. Конусы света увязали в ослепительной белой мгле, которая непробиваемым барьером двигалась перед фарами.

В стену кабины сильно и нервно застучал Шоломович. В то же мгновение впереди неожиданно возникла черная громада. Федор так тормознул, что я чуть лбом не высадил ветровое стекло. Фуражка оказалась под ногами. Передний танк стоял перед нами в двух метрах. Дверка кабины открылась, и хохочущий Давид поволок меня в кузов.

— Ну, полюбуйся только! Еще две-три секунды — и нас с тобой можно было бы подсовывать под дверь!

Задний танк стоял в нескольких сантиметрах от нашей машины. Я все понял: мой друг был не столько весел, сколько нервно возбужден. Еще бы — пережить такое, сидя одиноко в фанерном ящике.

Стоянка была короткой. Снова лязг гусениц ориентировал нас в белом месиве ночи. Федя, будто по интуиции, точно определял свое место среди железного грохота на невидимой дороге.

Вдруг снег сразу прекратился, в небе засветилась луна.

Фары по команде погасли. Лесная дорога вывела танки в маленький чистенький городок. «Помендорф», — прочел я на желтой дорожной вывеске.

Колонна загрохотала по центральной улице засыпанного снегом городка. Гулко разнесся лязг гусениц, но черные впадины окон не проснулись, не мелькнул ни один огонек, хотя я был уверен, что никто здесь не смог бы заснуть.

Мы стали спускаться с горки в темную низину. Тут два задних танка сошли с дороги, начали справа и слева обходить нас, удаляясь и как бы выстраиваясь для атаки. Замыкающий Т-34 тоже свернул в сторону и остановился над кюветом. Экипаж выскочил из машины и засуетился вокруг нее. А мы, спустившись в низину, увязли в глубоком снегу и забуксовали на месте. Танк, шедший впереди нас, быстро удалялся.

— Надо догнать его! — Шоломович первым выскочил из машины.

Мы побежали за танком, но тут же утонули в вязком снегу.

Танки ушли от нас.

Кажется, целую вечность мы выбирались из этой чертовой ложбинки. Взмокли страшно. Наконец Феде удалось после многочисленных маневров тронуть полуторку задом. Подталкивая машину с двух сторон, мы выбрались на пригорок и остановились в изнеможении возле танка.

— Вот это да! Неплохо устроились! Нам бы так! — ожидался Шоломович, увидев, что рядом с танком, у самых гусениц, укрытые красной периной, спят два танкиста.

— Вот видишь, спят в тылу у немцев и ничего не боятся, а мы сдрейфили в овражие одни остаться! Срам! — сказал я в тон другу.

— Здесь фашистов днем с огнем не разы... — Давид осекся, потому что в этот момент рядом засвистели пули, и тут же донеслась пулеметная очередь.

— Ложись! — крикнул Федя, и мы попадали в кювет за танком.

Снова стало тихо. В стороне, куда ушли танки, будто вспыхнули яркие молнии, и мгновение спустя тяжело грохнули орудийные залпы.

— Наши ведут бой! А мы здесь загораем... — как бы обращаясь больше к себе, сказал Давид.

— С кем же? Ведь там должно быть море? — Я вспомнил карту, показанную нам Трояновским.

— Нет, это бывает тяжелая батарея, и похоже, что морская, корабельная, как там, на Черном море... Уж не по танкам ли гитлеровцы лупят?

Снова наступила тишина. Я выглянул из кювета. В ста метрах от нас была редкая бересовая роща, за ней просвечивали дома Помендорфа. Луна еще ниже склонилась над березами, и длинные тени перепоясали искристый снег. За березами я увидел шевеление...

— Смотри, немцы! Скорее будите танкистов! — крикнул я друзьям.

Федор щелкнул затвором автомата, приготовился.

Между березами мелькали тени, а присмотревшись, мы увидели, как по глубокому снегу переползали в белых хатах немецкие автоматчики. Кулаков полоснул по ним длинной очередью. Тут же начали взвизгивать ответные пули, и наша полуторка затрещала, пронизанная ими.

Я стащил перину с танкистов и потянул одного из них за сапог, так сильно, что он съехал в кювет.

— Какие там немцы? — удивился боец.

С сухим треском по башне чиркнула пуля. По стволу и башне.

— Сейчас мы им, гадам, врежем! — спохватился танкист. — А я подумал, что вы, товарищ майор, шуткуете! Кося! Вставай!

Заспанный наводчик полез в башню.

Немцы подошли совсем близко. Мы, не сговариваясь, вытащили пистолеты. Только на что онигодны?!

Слева от нас за лесом полыхает зарево. Еще один взрыв потряс ночь, и новый костер поднял свой кровавый стяг над черной зубчаткой леса.

— Владислав! Не наши ли танки горят? — встревожился Давид.

Да, пожалуй, я был прав, когда высказал предположение, что корабельная артиллерия била по нашим танкам, вышедшим к морю.

Федя снова застroчил и осыпал нас стрелянными гильзами. Гитлеровцы подползли к крайним березам. Между нами осталось открытое снежное поле.

Наконец ожила башня нашего танка, и пушка нацелилась на рощу. Резко ударили в уши один за другим выстрелы.

Капонада за лесом утихла, только дрожащее пламя продолжало лизать темное небо.

По кузову полуторки снова застучали пули. И опять наступила тишина. Оказывается, у Федора кончились патроны. Он, лежа в снегу, откинул автомат в сторону и вытащил из-за голенища немецкий парабеллум. Танкисты еще раз ударили по березовой роще.

Багрово-красная луна ушла за ажурную зубчатку елей. Стало темно. Как только начиналось за березами движение, танк давал немцам знать о себе.

Наступила тишина. И — тьма, даже снег и тот почернел. Где-то далеко-далеко раздавались пеяные звуки.

— Танки идут! — сказал тревожно Федя.

— Неужели немцы?

Вдруг из-за деревьев в стороне от Помендорфа мелькнули острые лучи фар.

— Наши! Наши! — закричал Кулаков.

Наш танк ударил по роще еще несколько раз, но она не отзывалась. Фашисты молчали. Они, видимо, убрались.

Вскоре к нам подошли два танка Т-34 и несколько «студебеккеров» с боеприпасами. Мы залезли в продырявленный кузов нашей машины и двинулись обратно в Помендорф.

Наутро мы снимали на берегу Балтики серый, хмурый залив Фриш-Гаф. Лес мачт судов и рыбачьих лодок, затухающие пожары, наши танки на берегу валива...

Уже спустя много лет я прочел в воспоминаниях Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского о событиях тех дней:

«Уже 25 января танковая армия своими передовыми частями, а 26-го — главными силами вышла к заливу Фриш-Гаф в районе Толькемито (Толькмицко) и блокировала Эльбинг, отрезав этим пути отхода противнику из Восточной Пруссии на запад.

С выходом войск правого крыла 2-го Белорусского фронта к Эльбингу (2-я Ударная армия), к заливу Фриш-Гаф и Толькемито (5-я гвардейская танковая армия) вся восточно-прусская вражеская группировка была полностью отрезана от остальной Германии»<sup>1</sup>.

Потом был штурм Эльбинга, тяжелые бои в Восточной Померании, преследование врага днем и ночью. Дальше — длительная осада города и крепости Грауденц (Гродзенц), где были блокированы 15 тысяч вражеских солдат и офицеров, штурм и взятие крепости. Это был февраль сорок пятого. И опять жесточайшие бои.

Март раскалил дороги, закрыл небо плотным серым одеялом, щедро сыпал мелкий пронизывающий дождик. Мы рвались к Данцигу (Гданьску). Во вторую половину месяца начало пробиваться солнце. В такой солнечный день я снимал освобождение Цопнота (Сопота), потом Гдыни. А когда в конце месяца мы вплотную подошли к Данцигу, снова небо плотно затянулось низкой серой облачностью. Бои за эти три города, бывшие как бы продолжением один другого, были особенно кровопролитными, и потому взятие Гданьска — главного опорного пункта фашистов в Восточной Померании — было для нас особенно радостным.

Я снимал стариинный город, разрушенный боями, верфи Шехау с готовыми к бегству немецкими подлодками, нескончаемые колонны пленных, немецких беженцев, разбивших свой лагерь на площади перед Артусовым дворцом.

Восточная Померания была очищена от врага. 2-й Белорусский фронт выполнил свою задачу в Восточно-Померанской операции. А мы оставили истории тысячи метров пленки, снятой нами в эти первые месяцы сорок пятого года.

После освобождения от врага польского Поморья наш 2-й Белорусский перегруппировался на штеттин-ростокское направление, к Одера — для участия в предстоящей Берлинской операции.

Мы снимали перегруппировку войск.

<sup>1</sup> Рокоссовский К. К. Солдатский долг. М., 1980, с. 303, 306.

Итак, наша группа на Одере. И сюда, на передний край 2-го Белорусского фронта, талые воды Одера принесли весну. Грайфенхаген — маленький городок на самом берегу реки. Здесь будет бросок на левобережье. А пока идет подготовка к форсированию водного рубежа.

...Чуть слышно апрельский ветерок ласкает над нами колокола.

— А хорошо тут, под самым небом! Давай забудем на минутку, что там, внизу, война! — сказал я майору Алексею Семину — моему новому напарнику, кинооператору, с которым мы забрались под самые колокола высокой кирхи в поисках интересных кадров.

Под нами несет свои мутные весенние воды широко разлившийся Одер. Длинный песчаный остров с редкими полу затопленными кустами и деревьями делит реку на два рукава.

Все внимание Алексея было на том дальнем, за вторым рукавом реки, крутом берегу.

— Думаю, где опи пас встретят, — сказал Семин. — На острове или там, на круче.

— Лучше бы ни там, ни тут!

Время от времени колокольня вздрагивала от тяжелых взрывов. Гитлеровцы были по набережной из дальнобойных орудий. Тяжким вздохом вдали отзывались сброшенные с самолета бомбы. За Одером отстучал немецкий пулемет.

— О чём задумался? — вдруг спросил меня Семин.

— Вспомнил про Севастополь и как впервые меня познакомили с тобой...

— Ты что-то путаешь, я там никогда не был.

— Ошибаешься, был. Только на газетной полосе.

— То есть как? Расскажи-ка...

В памяти возникли «кадры» Севастополя...

Ю-88, надорванно ревя моторами, тяжело выходил из крутого пике. Нас с Рымаревым густо присыпало желтой пылью от разбитого ракушечника. Дмитрий снял очки и стал их протирать. К нам в воронку прыгнул корреспондент «Красной звезды» Лев Иш и протянул газету.

— Держите! Здесь про вашего брата пишут — Семина и Каюмова! Знаете таких?..

Прочел заголовок: «Смелый поступок военного кинооператора». И дальше текст заметки: «Грузовая машина с несколькими бойцами, корреспондентом Пригожевым, операторами Маликом Каюмовым и Алексеем Семиным попала на минное поле. Семин вышел, чтобы проверить путь, и шел впереди, указывая направление. Но случилось так, что

он прошел спокойно, а машина одним из скатов задела за мину. Семин оглянулся от оглушительного взрыва за его спиной. Машину перевернуло, разворотило борт. Семин вытащил из-под нее своих товарищей. Все были ранены и контужены. У Малика Каюмова была пробита нога. Всех их Семин доставил в санбат через минное поле».

Мог ли я тогда, узнав о Семине, предположить, что два года спустя здесь, в Германии, тоже буду обязан ему жизнью? На 2-м Белорусском фронте незадолго до нашей встречи Алексею второй раз было суждено вынести из раненого Каюмова, теперь уже из боя.

Кинооператоры были направлены в деревню, оставленную, по нашим данным, немцами. Но когда они подошли к окопице, их кто-то обстрелял. Малик упал в траву. Алексей склонился к нему, и в этот момент уже с противоположной стороны на них обрушился сильный автоматный огонь. В атаку на деревню пошла наша пехота. Семин и раненый Каюмов оказались между двух огней. Надо было немедленно что-то предпринять. Гибель грозила не с той, так с другой стороны. Алексей поднялся во весь рост и громко выкрикнул в сторону наших автоматчиков несколько отборных и сочных выражений. Это действовало на солдат — те поняли, что перед ними явно не немцы. Ни одна пуля не задела Семина, и он вторично сумел вынести раненого друга из боя.

А совсем недавно, когда шли бои за город Эльбинг, произошла моя первая встреча с Алексеем. Во время уличного боя я вел съемку в разрушенном здании гестапо. Среди развалин и мусора на полу увидел огромный флаг со свастикой и изорванный портрет Гитлера. Все это валялось в хаотическом беспорядке, а черная свастика напоминала колоссального паука и шевелилась от ветра, как издыхающий тарантул. Я выбрал самую, на мой взгляд, удачную точку для съемки, но не успел прицелиться камерой, как услышал рядом короткую автоматную очередь и, круто обернувшись, увидел офицера с кинокамерой и около него смущенного солдата с автоматом в руках. На белой стене чернел глубокий след, выбитый пулями.

— Ну, знаете, товарищ капитан третьего ранга, — показал головой майор. — Еще одна секунда — и этот молодой человек, принявший вашу форму за эсэсовскую, отправил бы вас на тот свет.

Это был Алексей Семин. Он вовремя отвел дуло автомата, и пули миновали меня. С этой поры мы с Алексеем были неразлучны до самого Одера.

Мы поднимаемся в горку. Заложило уши, хочется продохнуть. Снаряды ухают, наверное, близко. Вот мы и на бугорке. Перед глазами блеснула яркая до боли вспышка... Резкий удар в голову... Холодный и мокрый песок вдруг ударили прямо в лицо... Откуда-то издалека послышался голос Алексея:

— Что с тобой? Ты ранен?!

— Камера! Где камера? — крикнул я, поднимая из леска голову.

И снова провал. Темнота. Я очнулся, когда Алексей пытался поднять меня.

— Камера у тебя в руках! — сказал он. — Вставай!

Что-то мешало смотреть, левой рукой я вытер с лица мокрый песок. Алексей поддерживал меня. Открыв глаза, я увидел: там, далеко за Одером, из-за шпиля колокольни Грайфенхагена поднималось огромное оранжевое солнце. Но это только мгновение. А потом уже ничего не видел — глаза застилала кровь.

Семин поволок меня, подхватив сзади под руки, вниз к воде.

— Алексей, посмотри, что у меня с глазами! — попросил я.

— Вроде бы целы. Ты меня видишь?

— Чуть не в фокусе...

Глаза оказались целы, только все лицо было иссечено мелкими осколками. Алексей вел меня в санбат уже по понтоонному мосту...

На этом война в Европе для меня была окончена. Девятое мая я встретил в Москве.

Золотые перья гигантской жар-птицы запылали на горизонте. Плынет под нами земля — теплая, живая. Мы летим на восток, из Москвы в Токио.

Милитаристская Япония повержена. Мы летим на церемонию подписания акта о ее капитуляции. Разгромленная на суше и на море, Япония вынуждена была стать на колени.

Нам предстояло пересечь Японское море и выйти на восточное побережье Тихого океана. Морской летчик капитан Цурбанов впервые вел самолет по этому маршруту. На штурманской карте пролегла прямая Владивосток — Токио. Чем ближе подлетали к чужим берегам, тем больше и заметнее охватывала нас тревога. Испытанные и бывалые шутники, рассказчики анекдотов и страшных историй вдруг замолчали, притихли.

Вдали темной черточкой обозначился берег. Высота четыре тысячи. Дышать стало трудно. Черная туча низко нависла над приближающимися горами.

— Слева по борту истребители! Японцы! Заходят в хвост! — доложил командиру стрелок-радист.

Щелкнули затворы спаренных «эрликонов».

— Не открывать огня! — скомандовал капитан Цурбанов.

Черные черточки, стремительно вырастая, неслись на нас. Почему командир запретил стрелять? Видимо, чтобы не будить зверя, как говорится. Видимо, они просто испытывают наши нервы...

— Справа по борту истребители! — снова доложил стрелок-радист.

Три звена японских истребителей начали опасную карусель вокруг неуклюжей «каталины». Сделав несколько разворотов вокруг нашего самолета, японцы так же стремительно, как возникли, исчезли, пырнув в густое облако.

Пока в салоне обсуждался этот странный случай, под нами прошла береговая кромка. К напряжению, которое ничуть не ослабло, у всех прибавилось и любопытство. Какая она, Япония?

Побережье густо населено. Вдоль берега бесконечной беспорядочной кутерьмой разбросаны домики. Чуть выше на склонах гор видна укрепленная линия обороны. Мы не отрываем глаз от зенитных батарей на берегу, но земля, к счастью, молчит.

Цурбанов пошел на снижение. Вошли в полосу густого дождя. И вот снова земля, теперь совсем близко. Мы летим в ущелье низко над рекой. Ее крутые повороты, казалось, заставят «каталину» чиркнуть крылом по скалам. Наконец горы расступились, и река вывела нас на равнину. Среди рисовых полей мы увидели большой военный аэродром с рядами японских бомбардировщиков. Облетев вокруг базы и не обнаружив на них ни одного американского самолета, Цурбанов вывел машину на прежний курс. Аэродромы попадались часто, но нигде не было никаких признаков «летающих крепостей»...

Вдруг земля будто провалилась — под нами зеленая бездна. Даль в неясной голубой дымке. Впереди несколько рыбачьих лодок, парусных и моторных. Выходит, пролетели через весь остров, впереди Тихий океан. Неужели Япония осталась позади? Так и есть... Круто развернув самолет, Цурбанов снова начал поиски аэродрома.

— Смотрите! Вон они, там! — показал на группу «ле-

Вдали темной черточкой обозначился берег. Высота четыре тысячи. Дышать стало трудно. Черная туча низко нависла над приближающимися горами.

— Слева по борту истребители! Японцы! Заходят в хвост! — доложил командиру стрелок-радист.

Щелкнули затворы спаренных «эрликонов».

— Не открывать огня! — скомандовал капитан Цурбанов.

Черные черточки, стремительно вырастая, неслись на нас. Почему командир запретил стрелять? Видимо, чтобы не будить зверя, как говорится. Видимо, они просто испытывают наши нервы...

— Справа по борту истребители! — снова доложил стрелок-радист.

Три звена японских истребителей начали опасную карусель вокруг неуклюжей «каталины». Сделав несколько разворотов вокруг нашего самолета, японцы так же стремительно, как возникли, исчезли, пырнув в густое облако.

Пока в салоне обсуждался этот странный случай, под нами прошла береговая кромка. К напряжению, которое ничуть не ослабло, у всех прибавилось и любопытство. Какая она, Япония?

Побережье густо населено. Вдоль берега бесконечной беспорядочной кутерьмой разбросаны домики. Чуть выше на склонах гор видна укрепленная линия обороны. Мы не отрываем глаз от зенитных батарей на берегу, но земля, к счастью, молчит.

Цурбанов пошел на снижение. Вошли в полосу густого дождя. И вот снова земля, теперь совсем близко. Мы летим в ущелье низко над рекой. Ее крутые повороты, казалось, заставят «каталину» чиркнуть крылом по скалам. Наконец горы расступились, и река вывела нас на равнину. Среди рисовых полей мы увидели большой военный аэродром с рядами японских бомбардировщиков. Облетев вокруг базы и не обнаружив на них ни одного американского самолета, Цурбанов вывел машину на прежний курс. Аэродромы попадались часто, но нигде не было никаких признаков «летающих крепостей»...

Вдруг земля будто провалилась — под нами зеленая бездна. Даль в неясной голубой дымке. Впереди несколько рыбачьих лодок, парусных и моторных. Выходит, пролетели через весь остров, впереди Тихий океан. Неужели Япония осталась позади? Так и есть... Круто развернув самолет, Цурбанов снова начал поиски аэродрома.

— Смотрите! Вон они, там! — показал на группу «ле-

тающих крепостей», стоящих в сторонке от японских истребителей, шеф-оператор полковник Михаил Ошурков.

Сделав пару кругов над аэродромом, «каталина» плавно приземлилась. Все повеселились. Посыпались шутки, остроны... К открытому люку подскочили два юрких «виллиса», облепленные американскими офицерами и солдатами. Встреча союзников была бурной, эмоциональной и радостной.

Объяснить цель нашего прилета было не легче, чем найти этот военный аэродром. Но когда из люка выпрыгнули с кинокамерами операторы, все сразу стало на свои места.

— Кинохроника! Рашен кемеремен! Добро пожаловать!

Вскоре мы узнали, что приземлились недалеко от Йокагамы. Когда окончательное знакомство состоялось и взаимные восторги, удивление и вопросы пошли на убыль, мы попросили доставить нас в штаб Макартура.

Шофер-японец повез нас в Йокагаму.

Стало совсем темно, когда кончились сельские джунгли и мы незаметно въехали в город. Кое-где сквозь маскировку прорывался яркий свет. Постепенно зажигались уличные фонари, их сохранилось очень мало. Черными скелетами торчали разрушенные здания.

Выехав на набережную, автобус остановился у большого дома с золотой вывеской: «Банк».

— Прошу выходить, это ваша резиденция! — открыв дверцу автобуса и низко кланяясь, сказал по-английски улыбающийся шофер.

Здесь же, как выяснилось, были расквартированы американцы. Из окон доносился такой громкий и разноголосый гомон, что Ошурков спросил по-русски у улыбчивого шофера:

— Что там? Шабаш ведьм?

— Иес, иес, сэр!.. — Шофер согласно кивал головой и визко кланялся.

— Пошли! — рассмеявшись, сказал Михаил Федорович, и мы направились в дом.

Наверное, никогда раньше банк не напоминал так дыгансский табор, как в этот вечер накануне капитуляции Японии.

Здесь танцевали, пили, пели, дрались, обнимаясь и обливаясь слезами. Тут обменивались безделушками, трофеинным оружием, выторговывали за него кимоно и другие сувениры. Двухметровый детина, мулат, пел, подтанцовывая, легкомысленные куплеты, захлебываясь от удоволь-

ствия, иллюстрируя песенку непристойными телодвижениями и жестами длинных рук.

Другая часть обитателей банка, переутомившись, расположилась здесь же на ночлег.

— Ребята, получите вон у того губастого негра пайки и постельное белье с москитными пологами, а заодно и раскладные тюфяки, — сказал нам все разузнавший Ошурков. — Завтра очень грудный день. Такое предстоит — не представляете! Подкрепитесь и отдохните! Подъем в пять!

Пайки были в аккуратных непромокаемых коробках — завтрак и ужин.

— Не так вкусно, как мало! — сказал с серьезным видом Михаил Федорович. — А теперь на боковую...

Раннее утро 2 сентября сорок пятого года застало нас, группу кинооператоров советской кинохроники, на шире Йокагамского порта. Нам, как и другим представителям международной прессы, предстояло запечатлеть момент, когда будет поставлена точка и титры «Конец» в истории второй мировой войны.

Нас всех (а собралась здесь целая армия журналистов, кинооператоров и фотопротеров) посадили на американский миноносец и доставили в Токийскую бухту.

В центре дуги — живописно изогнутой бухты — как огромная наковальня, возвышался линкор «Миссури».

Американский линкор стоял у японской столицы на виду. День был яркий, солнечный, и, как сияющая корона, сверкала над Токио священная гора Фудзияма.

Грозным монументом на фоне голубой бухты выглядел линкор. Во все стороны смотрели стволы его орудий, а на палубах, боевых рубках, башнях, сверкая крахмалом формы «раз», разместилась многотысячная команда корабля.

«Представление» еще не началось, а зрители уже заняли лучшие места — согласно своему рангу и положению. Предпоследними поднялись на высокий борт линкора мы, международная пресса. Прессе, как мы и предполагали, выделили самые неудобные для съемки места и чрезвычайно короткое время для их освоения. И все же пять фронтовых кинооператоров из Москвы — М. Ошурков, М. Прудников, М. Посельский, А. Сологубов и я сразу же приступили к съемкам главного ритуала конца второй мировой войны — подписания капитуляции Японии.

Скоро к борту линкора подошел американский эсминец «Лексдаун», на борту которого находилась делегация японского правительства, возглавляемая министром иностранных дел Сигэмицу и генералом Умэдзу. Всем нам, журна-

листам, репортерам и операторам, бросился в глаза высокий, в цилиндре, с тростью в одной руке и с небольшой черной папкой в другой Сигэмицу. Он выделялся среди небольшой группы японской делегации не только своим ростом, элегантностью и манерами профессионального дипломата, но и железным хладнокровием.

Когда Сигэмицу подошел к железному трапу, произошел конфуз. Подняться без помощи рук наверх, на палубу линкора, было нельзя. Вот здесь выдержка и невозмутимость покинули Сигэмицу. Обе руки заняты. Вместо одной ноги — деревянный протез, результат первой мировой войны. Пот залил покрасневшее лицо министра. Он переложил неудобную папку с документами под мышку правой руки, оперся всем телом на трость, достал левой рукой носовой платок и снял с головы цилиндр, намереваясь стереть с лица и головы градом катившийся пот, но рук для этой сложной операции явно не хватало. Сигэмицу снова надел цилиндр и, пока вытирал пот с лица, выронил папку, она сползла на палубу. Поднимая ее, он уронил трость и, если бы министра не поддержали сопровождающие, он бы упал.

С большими трудностями и не без посторонней помощи удалось Сигэмицу подняться по предательскому трапу на палубу. Эту сцену снимали все операторы и описали в ярких красках журналисты всех наций. Шум от съемочных камер и щелканье затворов фотокамер были потрясающим аккомпанементом к заранее, видимо, подготовленному для японцев сюрпризу с преодолением препятствий. Наконец трап был «взят», и японская делегация плотным черным пятном застыла на отведенном в стороне от стола месте.

...Пять ритуальных «минут позора» выстояла она.

За столом заняли свои места американцы генерал Д. Макартур и адмирал Ч. Нимиц, представитель Советского Союза генерал К. Н. Деревянко, представители других союзных стран. Макартур вынул из кармана несколько паркеровских ручек и положил на стол. Каждый из союзников, подписавший документ о капитуляции Японии, мог взять себе на память ручку.

Вся церемония длилась 20 минут. Снимать было трудно. Я почти висел в воздухе под спасательной шлюпкой. Кроме того, меня всячески пытались оттеснить и с этого «пятачка» представители союзнической прессы. Но несмотря на это, все детали исторического момента были отражены потом на экранах нашей страны.

Когда последняя подпись была поставлена и высокие

представители союзных держав поднялись из-за стола, грянул как гром военный оркестр, усиленный мощными динамиками. Он оглушил Токийскую бухту веселым маршем. Над линкором «Миссури» пронеслась черной тучей в несколько эшелонов армада американских истребителей.

Ритуал закончился. Черное лакированное пятно японцев, оставленных без всякого внимания, перекатилось через борт на миноносец. Нас же отправили в Йокагаму.

...Всем хотелось проникнуть в столицу поверженной Японии. Чем она живет в эти дни? Наутро мы торопились запечатлеть на плёнке японскую столицу. Японцы смотрели на нас, советских офицеров, с нескрываемым удивлением. Одни, улыбаясь, старательно кланялись, другие, военные, чинно козыряли, оглядываясь потом. Некоторые замирали на месте в недоумении, дрожа, кажется от ярости, поедали нас немигающим взглядом, сжимая в руках оружие.

Перед нашими «Аймо» возникали огромные районы наполовину сожженного, наполовину разрушенного некогда прекрасного города. Только каменный центр «Сити» пострадал сравнительно меньше других районов.

Столица побежденной Страны восходящего солнца на каждом шагу поражала нас смешением азиатского и европейского, древнего и современного, разбитого и уцелевшего, а также удивительными контрастами в облике и жизни людей, в их поведении и отношениях между собой. На фоне чудом уцелевших роскошных особняков, храмов и дворцов особенно резко бросалась в глаза крайняя нищета и бедность населения. Не только на окраинах, но и в центре столицы встречались почти нагие мужчины в рваных и грязных набедренных повязках. Женщины, худые, изможденные, в широких черных штанах и коротких куртках рылись в руинах — в поисках съестного.

Всюду, где бы мы ни снимали — на море, в порту, на берегу канала, — на лодках и мостах сидели от восхода до темноты дети, женщины, старики с удочками и другими рыболовными снастями — это была у них единственная возможность не умереть с голода. Всюду, кроме «Сити», вдоль улиц, перед каждым домом зияли щели и траншеи.

Начав снимать вместе, мы, сами того не желая, соприкоснувшись с жизнью города, разбрелись, и каждого из нас уличные потоки понесли в разных направлениях. Узкая улица из руин вывела меня на огромное пожарище. Посредине рвов и буераков, головешек и пней, траншей и щелей, засыпанных пеплом, возвышалась огромная статуя

Будды. Трудно представить себе, что здесь творилось в момент сотворения этого невообразимого хаоса, а Будда, будто бы насмехаясь над бренностью мира, безмолвствовал.

«Как ему удалось уделеть?» — думал я.

Так, передвигаясь от одного снятого кадра к другому, я незаметно дошел до центра города. Он был в основном европейским, потому и назывался «Сити». Американцы его пощадили. Вдали передо мной открылся императорский дворец, обнесенный древней стеной и глубоким рвом с прозрачной водой и золотыми рыбками. Я снял общий план площади с мостом, перекинутым через ров.

Неподалеку от моста, напротив закрытых ворот мое внимание привлекли лежащие и сидящие в странных позах на зеленом газоне люди. Быстро подойдя к ним вплотную, я вскинул «Аймо» и в тот же миг услышал совсем рядом хорошо знакомый холодный лязг затвора и резкий гортаный окрик «оэ!». Опустил камеру и вижу: прямо передо мной как из-под земли вырос солдат, направив на меня короткий ствол карабина.

Так мы стояли несколько мгновений друг против друга. Я растерялся. Снимать? Уходить? Не отводя взгляда от тяжелых глаз солдата, я опустил «Аймо». Тот стоял окаменевшей глыбой, но карабин все-таки нехотя бросил на плечо. Медленно повернувшись, я пошел прочь... Длинным, бесконечным показался мне путь до угла площади, и только завернув на улицу, я облегченно вздохнул. Мушка карабина часового наконец перестала сверлить мой затылок.

Кадр за кадром накапливали мы материал для будущего фильма «Разгром Японии».

К вечеру я снова вернулся на то место, но площадь была пуста. Никого перед воротами не было, только почерневшие пятна крови еще раз напомнили мне неприятное ощущение, испытанное утром... Еще раз мне пришлось пожалеть о неснятом кадре в Москве, когда мне сказали, что, возможно, то были японские офицеры-самураи, которые в знак протеста против капитуляции совершили на глазах императорской стражи священное харакири.

...Капитуляция Японии была крахом не только для правящей верхушки страны. Нам удалось проникнуть в здание парламента и снять последнее заседание военного кабинета Японии. То, что мы увидели, трудно было назвать собранием здравомыслящих людей. Парламент скорее напоминал агонизирующую биржу в момент катастрофического падения акций.

Капитуляция Японии так и осталась в моей памяти крахом крупного банка немногочисленных держателей акций войны...

Унеся последние жертвы, кончилась война. Это были бессмысленные жертвы — жертвы Хиросимы и Нагасаки. Скреплена подиписями представителей союзных держав последняя во второй мировой войне капитуляция. Пока мы, фронтовые кинооператоры, снимали оставленные войной следы в Токио и его окрестностях, один из нашей группы — Михаил Прудников отснял еще дымящиеся руины и жертвы Хиросимы. Судьба оказала ему милосердие, и радиация миновала его.

Мы летим домой. Под пами руины огромного Токио, в стороне сверкает на солнце вечными льдами священная гора Фудзияма. Непривычное спокойствие овладело нами. До дома далеко — впереди Владивосток, а до Москвы добрых девять тысяч километров. Есть время подумать, вспомнить, осмыслить и прошлое и настоящее.

Как жить? С чего начинать? Наша сожженная, разрушенная Родина с исчезнувшими городами и селами требует немедленного восстановления, и нам, уделевшим фронтовым кинохроникерам, предстоит огромный труд показать, как из пепла возрождается Севастополь, Сталинград, Киев, Минск, как к жизни возвращаются потерявшие очаг люди.

Теперь, когда войны больше нет, особенно хочется, оглянувшись на пройденное, вернуться назад и подытожить, осмыслить прожитое. Под нами, как на географической карте, проплывает Сибирь — мирная, не тронутая войной. Мы летим над Сибирью многие часы, и нет ей конца, а мысли вновь и вновь возвращают меня в Севастополь, и вижу я его чистым, светлым, неразрушенным. Я как бы заново просматриваю фильмы, в создании которых принимал участие: «Героический Севастополь», «День войны», «Черноморцы», «Битва за Севастополь», «Битва за Кавказ», «В логове зверя», «Померания», «Разгром Японии»... Некоторые из них были удостоены Государственных премий СССР. Это этапы пройденного мной пути, малая частица труда нашего «цеха» — двухсот пятидесяти фронтовых кинооператоров, из которых каждый пятый остался на поле боя — рядом с солдатом...

Я помню их всех, они были моими товарищами. Героические страницы вписаны в историю не только снятыми ими кадрами, но и самой их жизнью, ее последними

мгновениями. В присланной на студию коробке со снятой кинопленкой оператор Николай Быков писал: «В Бреслау во время съемки уличного боя был убит осколком снаряда кинооператор Владимир Сущинский. На поле боя снять его я не мог — был ранен этим же снарядом». Через несколько дней прислал на студию снятую пленку кинооператор М. Абрамов с аннотацией к снятому материалу. Среди перечисленных эпизодов такие: перебегающий с кинокамерой Николай Быков, потом убитый Быков, рядом его камера. Не прошло и нескольких дней, как пришло извещение, что и М. Абрамов погиб в бою.

При съемке форсирования канала в Вене под густым огнем осколок мины сразил кинооператора С. Стояновского. Смертельно раненный, он повторял: «Аппарат! Сохраните аппарат! Не засветите пленку... Передайте в штаб!» За себя он не тревожился. Среди белорусских партизан пала в неравном бою кинооператор Мария Сухова. В Таллинской операции погибли на корабле кинооператоры Павел Лампрехт и Анатолий Знаменский. За несколько дней до конца войны был убит, когда снимал действия югославских партизан, Владимир Муромцев.

Всех невозможно перечислить — это отдельная книга о подвиге кинооператоров, стоявших во время Великой Отечественной войны рядом с солдатом, товарищем моих, чьим оружием была лишь кинокамера, которую они сжигали в руках до последней секунды — как винтовку.

Я иду по дороге памяти... Разве могли мы, фронтовые кинооператоры, снимая войну и радости победы, представить себе, что пройдет несколько десятков лет, и вновь наступит тревожное время, и снятые нами тогда кадры будут действенным оружием против новых войн. Оставленные нами запечатленные мгновения войны день за днем — три миллиона метров отснятой кинопленки, как «машина времени», дают возможность не только теперь нам, всем живущим на земле, вернуть историю назад — к любому из этапов войны, но и далеким потомкам нашим взглянуть на жизнь, которая так далеко осталась позади, и сделать единственно правильный вывод — никогда больше это не должно повториться.

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | <i>Стр.</i> |
|--|-------------|
| Предисловие . . . . .                      | 3           |
| Часть первая. Это только начало . . . . .  | 8           |
| Часть вторая. Севастополь в огне . . . . . | 51          |
| Часть третья. Через океаны . . . . .       | 116         |
| Часть четвертая. Освобождение . . . . .    | 172         |

*Владислав Владиславович Микоша*  
**РЯДОМ С СОЛДАТОМ**

Редактор *В. А. Откидач*  
Художественный редактор *Н. Б. Попова*  
Технический редактор *Т. Г. Пименова*  
Корректор *Н. М. Опрышко*

ИБ № 1331

Сдано в набор 1.11.82. Подписано в печать 10.03.83.  
Г-60255. Формат 84×108/32. Бумага тип. № 2.  
Печать высокая. Печ. л. 7. Усл. печ. л. 11,76 + вкл.—  
1/16 печ. л., 0,105 усл. печ. л. Усл. кр.-отт. 12,03.  
Уч.-изд. л. 13,42. Изд № 3/5304. Тираж Зак. 233.  
Цена 1 Р. 65 000 экз.

1-я типография Воениздата  
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3.  
Воениздат, 103160, Москва, К-160.